This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD UNIVERSITY LIBRARY

Elpat'evskiĭ, S. IA.

Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“ (СПБ., Невскій, 92).

С. Елпатьевскій.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

РАЗСКАЗЫ.

Цѣна 1 рубль.

HOOVER LIBRARY

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1904.

PG3460
E47A15
v.1

Типографія Монтвида. Конная ул.. домъ № 3—5.

Оглавленіе.

	стр.
До Томска	1
Отъ Томска	9
Жиганы	23
Уголовные дворяне	43
Маскарадъ въ Тайгинскѣ	59
„Отлетаетъ мой соколикъ“	73
Савелій	87
„Окаянный городъ“	127
Абаканская степь	145
Въ Туруханскомъ краѣ	149
Гекторъ	159
Снѣгурочка	189
Павелъ Павловичъ	215
Ѣдутъ	225

ОТЪ АВТОРА.

Первые 9 разсказовъ составляли отдѣльную книгу „Очерки Сибири“, теперь распроданную. Разсказы „Въ Туруханскомъ краѣ“, „Гекторъ“ и „Ѣдутъ“ входили въ книгу „Очерки и разсказы“. „Снѣгурочка“ была напечатана въ „Русскомъ Богатствѣ“ и „Павелъ Павловичъ“ въ газетѣ „Сибирь“.

ДО ТОМСКА.

...Дорога въ Сибирь оказалась менѣе интересна, чѣмъ я ожидалъ. Уральскія горы не произвели на меня особеннаго впечатлѣнія. Волнистая линія горъ, обросшихъ щетинистымъ лѣсомъ пихтъ и елей,—вотъ и все. Темно, пожалуй, мрачно, но однообразно, такъ что впечатлѣніе получается тусклое. Быть можетъ, въ этомъ виновато небо,—оно окутало горы хмурыми сентябрьскими тучами и моросить на нихъ мелкимъ унылымъ дождемъ. Только поѣздъ нашъ, словно черепаха, медленно взбирающійся по уклону горы, представляетъ, быть можетъ, нѣчто оригинальное на этой дикой картинѣ. Но я горю желаніемъ видѣть Сибирь, мнѣ хочется поскорѣе разстаться съ поѣздомъ, и меня раздражаетъ этотъ рѣзкій свистъ паровоза, какимъ-то дикимъ хохотомъ врывающійся въ чащу угрюмыхъ елей. Мнѣ нравится эта вѣковая тишина дикихъ горъ, мнѣ жаль эти важныя молчаливыя деревья. Я знаю, это гремящее, пронзительно и страшно свищущее чудовище убьетъ ихъ и сниметъ иглистую одежду съ туманныхъ горъ. Дальше и дальше, мимо расписанныхъ станцій, мимо Екатеринбурга,—хотя, къ слову сказать, очень хорошій и не шаблоннаго типа городъ,—мы за столбомъ, позади насъ Европа, впереди Азія. Я ждалъ какого-то особеннаго впечатлѣ-

нія отъ этого столба. Ничего интереснаго въ столбѣ не оказалось, да и за столбомъ пока еще мало любопытнаго. Тѣ же поля, та же рожь, тѣ же „рассейскія“,— я теперь довольно чисто выговариваю это слово съ надлежащимъ акцентомъ,—лица. Только громадныя деревни съ прекрасными постройками, какъ-то не гармонирующими съ понятіемъ о мужицкой деревнѣ, говорятъ тебѣ о сибирско-мужицкомъ царствѣ.

Въ Тюмени мы сѣли на пароходъ и двинулись по Турѣ. Ни Туры, ни Тобола, ни Иртыша я описывать не буду. Пусто, диковато, безлюдно—вотъ и все. Я, впрочемъ, не особенно занимался ими,—я ждалъ Оби. Меня чрезвычайно интересовала эта безбрежная рѣка, эта русская Амазонка, гдѣ бываютъ настоящія бури, разбивающія большія суда.

Мнѣ пришлось жестоко обмануться. Ничего печальнѣе, пустыннѣе и безпріютнѣе нельзя себѣ представить. Даже громадная масса воды не поражаетъ. Низкіе плоскіе берега, широкія песчаныя отмели, низкорослыя купы деревьевъ, какъ-то вдругъ вырѣзывающіяся изъ воды,— все это глушитъ и тушитъ широкую массу. Даже рѣки нѣтъ. Такъ не похожа эта разлившаяся масса воды безъ рѣзкихъ очертаній берега на то представленіе, какое имѣется у каждаго о рѣкѣ. Какъ будто пропитанная водой губка-почва вылила на поверхность избытокъ своей влаги, и эта болотная вода выступила безобразными пятнами, разливаясь по низинамъ, обходя еле-еле поднимающіяся плоскости и тихо катясь по уклону своими мутными волнами. Некрасива эта сибирская Амазонка съ вѣчно мутнымъ небомъ, съ однообразными унылыми лѣсами, съ восьмимѣсячною зимой, съ тусклымъ лѣтомъ.

Чѣмъ выше поднимались мы къ сѣверу, тѣмъ пустыннѣе и тоскливѣе казалась рѣка, тѣмъ ниже стано-

вились лѣса, тѣмъ унылѣе берега. Изрѣдка вырвется крутой пригорокъ съ пріютившеюся на немъ деревушкой, свѣтлою точкой промелькнетъ крестъ церкви—и опять безлюдье, опять пустыня, опять ѣдешь двѣнадцать-двадцать часовъ и не встрѣтишь признаковъ человѣческаго жилья. Подойдетъ къ пристани, посвищетъ пароходъ какимъ-то пустымъ звукомъ, который тотчасъ же и замретъ на этихъ пустынныхъ берегахъ; явятся откуда-то изъ лѣса 3—4 человѣка таскать дрова, подплывутъ 2—3 лодки съ остяками; опять печально посвищетъ пароходъ и опять рѣжетъ онъ мутныя волны широкой рѣки.

Гнетущее впечатлѣніе производятъ эти остяки. Представьте себѣ низкорослое существо съ большимъ животомъ, съ четырехугольною, какъ-то сдавленною головой, съ тонкими короткими ногами, на которыхъ раскачивается при ходьбѣ его неуклюжее тѣло. За мужемъ плетется полуодѣтая жена его, подставляя открытую грудь холодному осеннему вѣтру. За ея спиной—люлька изъ берестяной коры, откуда между лохмотьями выглядываетъ блѣдное и одутловатое дѣтское личико. Они предлагаютъ связку стерлядей и требуютъ непремѣнно „рупь“, разумѣя подъ этимъ обширнымъ словомъ и мѣдный пятакъ, и серебряный двугривенный, и кусокъ черстваго хлѣба, и рваную рубашку, сослужившую долгую службу на плечахъ матроса,—двѣ наиболѣе, послѣ водки, соблазнительныя для остяцкой души мѣновыя стоимости. Они сюсюкаютъ, шепелявятъ, говорятъ тонкимъ, разслабленнымъ голосомъ; ни одной мужественной ноты, ни одного сильнаго звука не услышите вы отъ нихъ.

И все это вмѣстѣ: эта громадная Обь, эти плоскіе берега, эти плоскія и жалкія фигуры съ голосомъ скрипучей березы,—все это удивительно гармонируетъ!

Я помню одинъ вечеръ. Мы стояли на пристани у Сургута. Надвигались сумерки: все было въ водѣ. Эта вода лилась съ неба мелкимъ сѣющимъ дождемъ, мутнымъ туманомъ поднималась съ широкой Оби, съ многочисленныхъ озеръ, болотъ и топей, раскиданныхъ по берегамъ, выползала изъ этой земли, кажется, вѣчно пропитанной влагою. И эти мутныя, ползучія полосы тумана тяжело стлались по землѣ, окутывали деревья и берега, и рѣку, и пароходъ, и землю, и небо, словно хотѣли превратить весь міръ въ туманное пятно. Еле-еле виднѣлась вдали церковь Сургута.

Пронизывающая сырость заставила меня сойти съ парохода и пройтись по берегу. На обрубкѣ дерева, противъ арестантской баржи, шедшей на буксирѣ за нашимъ пароходомъ и вмѣстѣ съ нами пережидавшей туманъ, сидѣлъ старикъ, сургутскій житель, и разговаривалъ съ какимъ-то пассажиромъ нашего парохода про свое сургутское житье.

— Вотъ тебѣ и лѣто! И все такъ, — доносились до меня время отъ времени отдѣльныя фразы.—Гдѣ-гдѣ солнышко проглянетъ, и опять дождь. И круглый годъ такъ: либо мерзлота, либо мокрота.

— Звѣрь обижаетъ, — слышится мнѣ далѣе.—Исправникамъ ужъ на что, кажись, не житье, и тѣ не выживаютъ. Повертится годикъ и—дралова, и отъ доходовъ отступается.

— Россійскій, россійскій, — слышится мнѣ отвѣтъ старика на вопросъ пассажира.—Данковскіе были, Рязанской губерніи. Тридцать годовъ таскаюсь здѣсь. Вотъ къ пароходу-то и выхожу,—думаю, съ своей стороны кого нѣтъ ли. Да вотъ ужъ годовъ пять, поди, никого не видалъ. Везли въ ту пору арестантика,—гуторилъ, внучку пропивали.

Долго молчали собесѣдники.

— Худо!—какъ глухой вздохъ послышался мнѣ голосъ старика. Старикъ дрожалъ и кутался въ свой дырявый азямъ. И опять, прерываемыя вздохами, медленно потянулись какія-то сырыя, зяблыя слова.

Старикъ подошелъ къ баржѣ и сталъ перекликаться съ арестантами, густо облѣпившими рѣшетку баржи.

— Такъ нѣту данковскихъ-то? — слышится мнѣ. — Земли-то? — снова слышится мнѣ голосъ старика, очевидно, отвѣтъ на вопросъ съ баржи,—вонъ ее земли-то, да толковъ-то что? Пропадать только...

И снова потянулась отрывистая рѣчь: оттуда — про россійскую печаль, съ берега—про сибирскую, сургутскую...

Мнѣ давно хотѣлось поближе заглянуть на арестантовъ; я воспользовался случаемъ и выпросилъ у конвойнаго офицера позволеніе взойти на арестантскую баржу.

Представьте себѣ длинную и узкую барку, два конца которой заняты больницей и помѣщеніемъ конвойнаго офицера, стѣны палубы огорожены проволочною рѣшеткой и такими же дверями съ висячимъ замкомъ, у котораго постоянно стоитъ часовой.

Вся эта палуба въ данную минуту была занята ходившими и лежавшими на полу арестантами. Единственный фонарь съ сальною свѣчкой спускался съ потолка и тусклымъ, расплывающимся въ туманѣ кольцомъ освѣщалъ всю эту огромную массу людей.

Арестанты пѣли; пѣсня обрывалась.

— Лисицу! — раздались голоса, — и Ганьку нужно позвать: безъ нихъ не выйдетъ.

Притащили изъ камеры, помѣщавшейся подъ палубой, Лисицу — громаднаго рыжаго еврея съ всклокоченною бородою и острымъ, круто загибавшимся носомъ; привели Ганьку — тщедушнаго, совсѣмъ еще

юнаго арестантика, съ длинною тонкою шеей; по требованію ихъ разыскали Мехмедку-черкеса и бродягу „Царя Македонскаго“; бразды правленія вручили „Дьякону“, какъ называли этого регента арестанты.

Пошли большіе споры, что пѣть. Въ концѣ-концовъ, запѣли „Гвадалквивиръ“. И вотъ стройная пѣсня полилась по огромной рѣкѣ.

„Гвадалквивиръ“ былъ настоящій, какъ слѣдуетъ: было здѣсь и „скинь мантилью, ангелъ милый“, и все, что полагается, хотя тутъ же было и „Ока не широка“, „Москва не глубока“. Еврей тянулъ высокой фистулой, Ганька пѣлъ нѣжнымъ дѣвичьимъ альтомъ, „Царь Македонскій“ гремѣлъ октавой, „Дьяконъ“ энергически встряхивалъ длинными космами русыхъ волосъ и высокимъ теноромъ, подымаясь на носкахъ, выводилъ верхнія ноты.

Этотъ „Гвадалквивиръ“, льющійся съ арестантской баржи около Сургута, этотъ „Лисица“, этотъ Мехмедка-черкесъ со страшными (я не иронизирую) глубокими глазами, этотъ „Царь Македонскій“ съ бронзовымъ лицомъ, перерѣзаннымъ шрамомъ, а кругомъ бритыя головы, сѣрые халаты, громыхающіе кандалы,—все это представляло такую картину, что мнѣ сдѣлалось жутко.

Спѣли еще два чувствительныхъ романса, — арестанты, оказывается, большіе любители романсовъ, сентиментальныхъ по преимуществу. Начали плясать. Плясали сперва подъ „барыню“, потомъ „барыню“ бросили, запѣли какого-то „барина“. Я слышалъ только: „выйди, сударь, выйди, баринъ, погулять“... Плясалъ сначала старикъ съ молодымъ каторжникомъ. Старикъ изображалъ молодую деревенскую дѣвицу и художественно передавалъ стыдливыя манеры деревенской прелестницы, чѣмъ возбудилъ всеобщій восторгъ публики. Все шло чинно и немножко вяло.

Но вдругъ, полунаклонившись и какъ-то вытянувши впередъ свои руки, ворвался молодой цыганъ въ освѣщенный фонаремъ кругъ... Онъ что-то крикнулъ пѣвчимъ, какъ-то гикнулъ горломъ и понесся. Интересно было смотрѣть, какъ моментально измѣнилось настроеніе арестантской массы. Толпа раздвинулась, пѣвшіе запѣли съ азартомъ учащеннымъ темпомъ, подхватили всѣ арестанты, загорѣлись лица. А цыганъ носился, запрокинувши голову назадъ и сверкая бѣлками своихъ широко-открытыхъ глазъ. Онъ кричалъ, взвизгивалъ, разводилъ руками, какъ бѣшеный, носился по палубѣ, вдругъ моментально остановился въ какомъ-то неправдоподобномъ положеніи и тихо, какъ-то истомленно-разнѣженно поводилъ плечами и перебиралъ каблуками сапоговъ.

Воодушевился и его компаніонъ—все тотъ же молодой каторжникъ, высокій и стройный, съ бритой головой. Онъ также началъ выдѣлывать хитрыя колѣнца, причемъ, очевидно, пользовался своими кандалами, какъ музыкальнымъ инструментомъ. То тихо топтался на одномъ мѣстѣ, перебирая ногами, причемъ кандалы мягко терлись другъ о друга и довольно мелодично перезванивали, то выдѣлывалъ дробь—и кандалы звенѣли подъ громъ его каблуковъ, то крупными движеніями передвигался навстрѣчу цыгану — и кандалы его громыхали. Одушевленіе толпы дошло до высочайшей степени, когда каторжникъ пустился въ присядку,— какъ онъ при этомъ не упалъ, тайна для меня,—а цыганъ какими-то неслышными движеніями, словно отдѣляясь отъ пола, началъ описывать круги около присѣдающаго.

И потомъ все замерло. И опять поползъ холодный туманъ черезъ желѣзную рѣшетку, окуталъ свѣтлое пятно фонаря и поползъ въ арестантскія души... По-

блѣднѣли и осунулись лица, потемнѣло смуглое лицо цыгана, сгорбился плясавшій каторжникъ, сѣрые халаты слились съ сырымъ туманомъ, несшимся съ рѣки...

Я вернулся на пароходъ. Вѣтеръ разогналъ мутный туманъ съ рѣки и сѣрыя облака, покрывавшія небо. Взошла луна, холодная, какъ-то оскорбительно свѣтлая, и бросила волны бѣлаго свѣта на пустынную рѣку. Задрожали свѣтлые лучи на рѣчной зыби, побѣжали по мутнымъ волнамъ и свѣтлою полосой протянулись до дальняго берега, — туда, гдѣ еле-видною точкою мерцалъ костеръ.

Такъ тихо, такъ пусто и холодно кругомъ... Мрачною стѣной угрюмо стоятъ прибрежныя ели, громадною массою, медленно и беззвучно, катитъ Обь свои тяжелыя волны.

Снова стучитъ пароходъ, снова лѣниво, словно нехотя, бьетъ своими колесами мутныя волны. Сырое, холодное утро. Мелкій, сѣющій дождь. Тусклое небо, тусклая рѣка, тусклые берега. Куда-то въ сѣрую, безграничную даль уходятъ за нами берега, откуда-то изъ тусклой, сѣрой дали выплываютъ навстрѣчу намъ все тѣ же низкіе, плоскіе берега. Куда мы идемъ? Зачѣмъ тянемъ за собой эту темную баржу, теперь молчаливую, какъ гробъ? Хотимъ ли мы лѣчить и оживить въ новой странѣ этихъ больныхъ, раненыхъ, искалѣченныхъ людей, или веземъ хоронить ихъ въ эту пустыню, гдѣ такъ скоро и такъ настойчиво является мысль о смерти? Что ждетъ этихъ пятьсотъ, запертыхъ въ желѣзной клѣткѣ, людей въ той развертывающейся передъ нами все шире и шире, необъятной, какъ море, холодной, сѣрой дали?..

ОТЪ ТОМСКА.

Мы за Томскомъ, на большомъ сибирскомъ трактѣ, въ тайгѣ,—той тайгѣ, которая ужъ самымъ названіемъ сулила мнѣ нѣчто новое, оригинальное.

Я и здѣсь обманулся. Правда, лѣсъ начинается отъ самаго Томска, но это даже не лѣсъ, а перелѣсокъ нашей Московской или Владимірской губерніи, и такимъ лѣсомъ я ѣхалъ болѣе сутокъ. Тѣ же жиденькія березки, та же осина, какіе-то неопредѣленнаго вида кусты; лишь изрѣдка встрѣтится ель или пихта—и все это спутанное, низкорослое, довольно рѣдкое, перерѣзанное топями и болотцами. Вырвется кусокъ овсянаго поля, промелькнетъ деревня и—опять этотъ скучный ни лѣсъ, ни кустарникъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ изъ этого тянущагося „ничто“ мало-по-малу начинаетъ вырисовываться незамѣтно для васъ какое-то смутное впечатлѣніе. Этотъ идущій безпрерывною полосой лѣсъ, это отсутствіе полей, эти рѣдкія, какъ-то прижавшіяся къ дорогѣ деревни—все это создаетъ впечатлѣніе чего-то огромнаго и пустого.

Какое-то царство лѣса, упорнаго, безпредѣльнаго и расплывающагося лѣса, чувствуется вами, и,—я не умѣю выразиться лучше,—стѣсняетъ васъ, сжимаетъ

ваши мысли и не даетъ имъ раскинуться шире, выйти изъ предѣловъ этого лѣса...

Между Маріинскомъ и Ачинскомъ нѣсколько измѣняется физіономія мѣстности, повышается тонъ, рѣзче краски, суровѣе и выпуклѣе очертанія. Деревья сдвигаются плотнѣе, вытѣсняютъ лиственныя породы и протягиваютъ къ самой дорогѣ свои иглистыя лапы. Тамъ, впереди, гдѣ-то далеко-далеко, на синевѣ неба начинаетъ вырисовываться волнистая голубая линія далекихъ горъ Восточной Сибири. Попадаются крутые холмы; дорога вьется между глубокими ложбинами.

Только между Ачинскомъ и Красноярскомъ предо мной встала настоящая тайга,—встала могучая, суровая, темная. По нашимъ московскимъ и владимірскимъ лѣсамъ трудно себѣ представить, что такое тайга.

Пышнымъ зеленымъ букетомъ поднимается отъ земли нашъ сосновый лѣсъ. Онъ будто только-что сошелъ съ картины моднаго живописца съ своими кудрявыми вершинами, голыми красными стволами, широкимъ просвѣтомъ, словно аллеей для гулянья, и стоитъ, любуясь на себя, важный, величественный и эффектный. Теменъ и угрюмъ нашъ еловый лѣсъ, когда войдешь въ чащу его; но пройдешь нѣсколько верстъ,—пусть десятковъ верстъ,—и выйдешь въ поле. Широкое кольцо зеленыхъ луговъ, колосистой ржи и свѣтлыхъ крестовъ деревенскихъ церквей опояшетъ угрюмый лѣсъ и смягчитъ его непривѣтный видъ. Я не говорю ужъ о южномъ лѣсѣ, съ его свѣтомъ, радостью и весельемъ. Словомъ, знакомый большинству насъ *лѣсъ*—нѣчто опредѣленное, законченное, окруженное полями и деревнями, охваченное *жильемъ*, покоренное человѣкомъ...

Въ этомъ смыслѣ тайга—не лѣсъ. Нужно представить себѣ, что мрачный, плотно сдвинувшійся лѣсъ

протянулся до тундры, до моря... на тысячи верстъ; нужно вообразить, что можно пройти сотни верстъ, не встрѣтивши человѣка, что въ глубинѣ тайги человѣческая нога не бывала. Все темное, мрачное. Мохнатый угрюмый кедръ, сумрачная пихта, стройная пирамида ели, таежная красавица, мрачная и печальная красавица – лиственница. Изрѣдка мелькнетъ бѣлый стволъ березы; протянетъ къ свѣту свою перистую вѣтвь кривая рябина, какъ тянется за подаяніемъ рука нищаго ребенка между локтями взрослыхъ; притаится въ ложбинѣ задумчивая черемуха, окруженная, какъ малыми дѣтьми, кустами смородины и ежевики, и снова непрерывною полосой потянутся темныя иглы. Кое-гдѣ тайга раздвинулась, чтобы пропустить рѣку, раздалась, чтобы дать мѣсто какой-нибудь сотнѣ, двумъ человѣческихъ жизней, и опять сомкнулась тѣснымъ кольцомъ, опять ревниво хранитъ свою тайну.

Именно тайна чувствуется въ глубинѣ тайги. Мнѣ пришлось, долго спустя по пріѣздѣ въ Сибирь, цѣлый день ѣхать верхомъ съ проводникомъ въ глухой тайгѣ. День погасъ, бѣлая сѣверная ночь спускалась съ неба, и полосы холоднаго, безжизненнаго свѣта вставали между деревьями. Въ тайгѣ ни звука,—тамъ не видно и не слышно птицъ, только изрѣдка коротко и глухо стучатъ копыта лошадей о древесные корни. Что-то загадочное, что-то таинственное и суровое чувствовалось въ этомъ странномъ колеблющемся свѣтѣ весеннихъ сумерекъ, въ этихъ неподвижныхъ молчаливыхъ деревьяхъ, строго и важно обступившихъ меня. Казалось, передо мной былъ храмъ,—суровый и мрачный храмъ,—гдѣ, какъ черезъ эти иглистыя вѣтви, медленно льется блѣдный свѣтъ сквозь узкія стрѣльчатыя окна, гдѣ человѣкъ придавленъ къ землѣ высокими стѣнами, темными сводами, молитвенною тишиной. и

только душа его, отрѣшенная отъ всего земного, возносится къ небу,—туда, куда несутся эти строгія линіи храма, эти острые шпили церковныхъ башенъ, эти темныя верхушки елей и пихтъ...

А бѣлая ночь широко простерлась надъ тайгой. Острый ароматъ пихтъ, кедровъ и лиственницъ, какъ чудный ѳиміамъ, стоитъ въ воздухѣ. Какъ блѣдные свѣтильники, мерцаютъ красные жарки и желтыя лиліи. Только нѣтъ молящихся,—храмъ пустъ и безмолвенъ, развѣ изрѣдка словно вздохъ пронесется по тайгѣ, выростетъ, разойдется и снова замретъ гдѣ-то далеко, далеко. Да кукушка вдали печально кричитъ свое „ку-ку", точно тамъ, въ глубинѣ храма, одинокій голосъ повторяетъ все одну и ту же односложную молитву—печальную, строгую, великопостную молитву.

Я не замѣтилъ, какъ чаще и чаще вздыхала тайга, и вздрогнулъ отъ неожиданности. Что-то громко охнуло вдали отъ меня, побѣжало по верхушкамъ, затрепетало надъ моею головой и понеслось дальше по тайгѣ. Глухимъ ропотомъ отозвался другой дальній уголъ. Словно огромный, настраивающійся оркестръ, все громче и громче носились звуки по тайгѣ; только около меня попрежнему молчаливо и грозно стояли деревья. Вотъ съ тяжелымъ стономъ зашатался огромный, цѣлою головой возвышающійся надъ тайгой кедръ, налетѣла буря и покрыла отдѣльные звуки,—тайга завыла. Я испытывалъ поистинѣ чувство страха... Вы слышите, какъ гнѣвно и мрачно шумятъ близъ васъ стоящія деревья, но вы скоро забываете ихъ; оттуда, изъ глубины тайги, какъ изъ громадной пасти чудовища, подымается глухой непрерывный шумъ: это—тайга воетъ. И день и ночь, и еще день и ночь ѣхалъ я, и тайга все выла своимъ страшнымъ, угрожающимъ воемъ, все ревѣлъ расходившійся, растревоженный звѣрь.

Подъ эту воющую пѣсню я не могу не думать о тайгѣ. Мнѣ невольно рисуется въ этой сибирской тайгѣ человѣкъ—первый пришелецъ изъ Русской земли. Онъ принесъ съ собой оживленный шумъ и вольный просторъ многоводной Волги, добродушную и широкую натуру русскаго человѣка, принесъ свои пѣсни, свои легенды и сказки.

Онъ—въ тайгѣ, куда ушелъ одинъ, безъ семьи, на звѣроловный промыселъ. Тайга должна покорить его. Онъ дѣлается молчаливъ и серьезенъ. Въ тайгѣ не хочется смѣяться, и пѣсня не идетъ съ губъ человѣка,—она такъ странна въ мертвой тишинѣ этого угрюмаго лѣса и такъ безсильно замираетъ въ ревущей таежной пѣснѣ. Онъ не видитъ восхода и захода солнца: свѣтлый шаръ встаетъ изъ-за одной щетинистой стѣны и закатывается за другую, такую же мрачную стѣну,—вотъ и все, что онъ видитъ. И вездѣ, куда ни глянетъ глазъ его, онъ натыкается на обросшіе мхомъ стволы, на иглы елей и пихтъ. Какъ его глазъ видитъ только деревья, такъ и его умственный взоръ суживается болѣе и болѣе, все труднѣе и труднѣе можетъ вырываться изъ предѣловъ этого сжимающаго кольца. Не поется пѣсня, не думается дума, не мечтается мечта. Глохнутъ старыя пѣсни, старыя легенды; тухнутъ старыя воспоминанія, глохнетъ даже голосъ.

Тайга—не храмъ для звѣролова, и онъ пришелъ не молиться. Кругомъ его борьба,—борьба не стихающая, непримиримая и неумолимая. Подстерегаетъ соболь зазѣвавшуюся птичку, падаетъ съ дерева кровожадная рысь на пробирающагося оленя и кабаргу, ломаетъ медвѣдь огромнаго сохатаго, а человѣкъ уничтожаетъ ихъ всѣхъ.

И этотъ борющійся человѣкъ долженъ быть вѣчно насторожѣ, вѣчно присматриваться и прислушиваться,—

не хрустнетъ ли вѣтка подъ тяжестью лапы медвѣдя, не мелькнетъ ли голубая спинка песца. По мѣрѣ того, какъ онъ забываетъ человѣческую рѣчь, онъ выучивается звѣриному языку,—учится безошибочно узнавать крикъ птицъ и ревъ звѣря, понимаетъ манеры ихъ и, какъ тунгусъ, начинаетъ опредѣлять по слѣду, сердитый ли медвѣдь прошелъ или смирный. По мѣрѣ того, какъ отвыкаетъ отъ нравовъ человѣческихъ, онъ больше и больше привыкаетъ жить нравами звѣриными. Онъ одинъ-одинешенекъ и долженъ полагаться только на себя. Съ него быстро сбѣгаютъ русское разгильдяйство и добродушная распущенность: онъ весь подбирается, подтягивается; его толстыя, расплывающіяся губы рѣзче складываются, крѣпче сжимаются; его глаза не смотрятъ открыто, а высматриваютъ исподлобья, выслѣживаютъ... Не дрогнетъ рука, не поблѣднѣетъ лицо, не забьется сердце отъ страха, когда неожиданно вылѣзетъ на него медвѣдь, и ужъ, конечно, не будетъ жалости къ этому медвѣдю.

Звѣроловъ вырывается, наконецъ, изъ тайги и съ добычей пришелъ къ себѣ въ семью, въ русскій поселокъ. Языкъ не такъ легко ворочается во рту, не такъ свободно слетаютъ съ губъ слова нѣжности и любви. Онъ встрѣчается со своими друзьями-односельцами,—ему непривычно, онъ отвыкъ отъ сколько-нибудь плавной рѣчи, и вотъ онъ говоритъ отрывочными предложеніями, на которыя его собесѣдники, такіе же только что вернувшіеся звѣроловы, отвѣчаютъ такими же односложными фразами.

Замѣчательно характеренъ для сибиряка этотъ отрывистый разговоръ. Не рѣчистъ, не ходокъ на плавную рѣчь и нашъ русскій крестьянинъ, но онъ краснорѣчивый ораторъ въ сравненіи со здѣшнимъ крестьяниномъ, несмотря на то, что послѣдній развитѣе

индивидуально, чѣмъ его зауральскій собратъ. И при томъ эта отрывистая форма разговора—не исключительная принадлежность крестьянства. Даже окончившіе въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ — и тѣ не мастера, не любители длинной рѣчи и предпочитаютъ обмѣниваться короткими и всегда посоленными острою солью сибирскаго юмора фразами. Поселенецъ, петербургскій лакей и франтъ, въ своемъ глубочайшемъ презрѣніи къ „челдону“ основывается, между прочимъ, и на томъ, что онъ, челдонъ, и говорить-то не умѣетъ, — „точно лаетъ по-собачьи“.

Звѣроловъ поживетъ извѣстное время дома, снова привыкнетъ къ людямъ и потомъ опять уйдетъ въ тайгу. И каждый разъ все большій и большій отпечатокъ будетъ класть тайга на человѣка. А пройдетъ пять, десять лѣтъ, — его уже будетъ тянуть въ тайгу, тайга заполонитъ его, онъ почувствуетъ на себѣ ту странную и могучую власть ея надъ человѣкомъ, которую я наблюдалъ здѣсь, въ Сибири, на бродягахъ, на старикахъ-крестьянахъ, по году не выѣзжающихъ изъ тайги даже къ роднымъ въ деревню. Я знаю культурнаго человѣка, видавшаго виды, который искренно говорилъ мнѣ, что не понимаетъ жизни безъ тайги.

Сынъ того звѣролова, о которомъ я говорилъ, ужъ только услышитъ про старыя мѣста и русскую жизнь Онъ юношей начинаетъ ходить съ отцомъ „бѣлковать“ и „соболевать“, и на него, еще юношу, тайга налагаетъ свою неизгладимую печать. А дѣти и внуки этого сына потеряютъ уже всякую связь съ Россіей, позабудутъ складъ ея жизни, ея вѣрованія, пѣсни, легенды, и будутъ думать, какъ думаютъ крестьяне въ Забайкальи, что Ермакъ завоевалъ ихъ предковъ, всегда жившихъ въ Сибири,—они превратятся въ сибиряковъ.

Не удивляйтесь, что я отвелъ такое большое мѣсто

тайгѣ и такъ много наговорилъ о своемъ звѣроловѣ. Въ сущности тѣ двѣ-три тысячи верстъ, которыя я проѣхалъ по Сибири, — сплошная тайга, и огромная масса населенія Сибири и теперь живетъ приблизительно въ тѣхъ же условіяхъ звѣроловнаго промысла. Здѣсь не человѣкъ царствуетъ надъ природою, а природа надъ нимъ, и тайга какъ будто только позволяетъ на своихъ полянахъ раскинуться городамъ, а по оврагамъ и рѣчкамъ вытянуться селамъ и деревнямъ.

Странное впечатлѣніе производятъ сибирскія деревни. Первое, что бросается въ глаза и рѣзко обособляетъ эти трактовыя селенія отъ русскихъ—полное отсутствіе полей около нихъ. Почти прямо изъ тайги въѣзжаешь въ деревню, проѣзжаешь длинную улицу и опять упираешься въ тайгу. Ни овиновъ, ни сараевъ, въ большинствѣ случаевъ даже огородовъ не видно. Все это гдѣ-то тамъ, въ тайгѣ, на заимкѣ,—за пятнадцать, двадцать верстъ,—куда лѣтомъ перебирается крестьянинъ. Сжатая двумя стѣнами тайги, деревня вытянулась длинною лентой, двумя рядами домовъ по бокамъ дороги, и словно боится раздаться шире, боится заглянуть въ эту темную массу. На краю или въ центрѣ, но всегда нѣсколько изолированно, словно помѣщичья усадьба въ русской деревнѣ, стоитъ этапъ. Это—огромное для села деревянное зданіе съ широкимъ дворомъ, обнесеннымъ стѣной врытыхъ въ землю и заостренныхъ кверху бревенъ. Этапъ господствуетъ надъ деревней и кладетъ какой-то особенный, если можно такъ выразиться, этапный характеръ на самую деревню. А если вспомнить при этомъ, что эти деревни встрѣчаются почти постоянно чрезъ одинаковыя разстоянія 20—30 верстъ и часто даже расположены на неудобныхъ мѣстахъ, то поневолѣ начинаешь думать, что самыя эти деревни — только необходимыя принадлежности къ этапу и суще-

ствуютъ для этапныхъ цѣлей. Кажется, впрочемъ, такъ и было въ дѣйствительности: трактовыя деревни были назначены и заселены въ цѣляхъ организаціи ссылки и препровожденія арестантовъ.

Этапъ, дѣйствительно, въ кровномъ родствѣ съ сибирскою деревней, до извѣстной степени отецъ ея. Оригинальный ростъ этихъ трактовыхъ селъ бросается въ глаза при первомъ поверхностномъ взглядѣ. Въ центрѣ деревни—большіе двухъэтажные и длинные, вытянувшіеся по улицѣ одноэтажные дома, — старые, почернѣвшіе отъ времени и дождей, съ лавками внизу, иногда съ каменными кладовыми, и всегда съ громадными крытыми дворами. Вездѣ широкое довольство, сытая обезпеченность,—полная чаша. Чѣмъ ближе къ краямъ, тѣмъ новѣе становятся дома, пока не закончатся низенькими избушками въ одно-два оконца, даже полуземлянками на концахъ деревни. Обитатели этихъ домишекъ—только-что покинувшіе этапъ питомцы его. Вы буквально видите, какъ годъ отъ году прибавляются новыя избушки поселенцевъ, какъ они шагъ за шагомъ отвоевываютъ мѣсто у тайги. И вотъ деревня вытянулась на семь верстъ, и кладбище, еще недавно бывшее за деревней, оказывается уже въ центрѣ ея.

Какъ разношерстны обитатели этапа, такъ же разнохарактерна и сибирская деревня. За оградой обточенныхъ бревенъ встрѣчается и еврей, и цыганъ, полякъ и малороссъ, кавказскій горецъ и нѣмецъ Остзейскихъ провинцій, и, наконецъ, русскіе всѣхъ губерній и всѣхъ сословій. Такая же разнохарактерность замѣчается и въ деревнѣ, и не въ составѣ только населенія,--она сказывается въ постройкѣ, въ костюмахъ, въ говорѣ. Бокъ-о-бокъ стоятъ и двухъэтажный, какъ фонарь свѣтящійся окнами, домъ сибиряка-старожила, и полуземлянка уфимскаго башкира съ очагомъ, вмѣсто печки, и затянутыми

пузыремъ, вмѣсто стеколъ, окнами. Вамъ встрѣтятся азямъ и бродни исконнаго сибиряка, и пиджакъ съ городскою шляпой, и татарскій бешметъ. И все это, очевидно, не слилось, не сжилось, не ассимилировалось вполнѣ. Всякій, очевидно, живетъ еще своею отдѣльною, особняковою жизнью,—онъ не сибирякъ, хотя, впрочемъ, онъ и не тотъ, чѣмъ былъ до этапа. Хохолъ надѣлъ азямъ и бродни, запустилъ бороду, но стоитъ ему открыть ротъ—и настоящая Малороссія встанетъ передъ вами. Цыганъ еще не умылъ своей физіономіи, полякъ не забылъ своего „панъ", но оба уже ругаются по-сибирски: „язви-те". Въ общемъ получается впечатлѣніе чего-то сборнаго, хаотическаго, еще не осѣвшаго.

Правда, когда проѣдешь подальше, побываешь во многихъ деревняхъ, поговоришь съ ямщиками, съ содержателями постоялыхъ дворовъ, гдѣ приходится останавливаться,—довольно скоро пуіучаешься отличать исконнаго сибиряка и истинно-сибирское. Но и тутъ, при всемъ вниманіи, вы не откроете никакихъ проявленій творческаго народнаго духа, поскольку онъ выражается въ пѣснѣ, въ костюмахъ, во всемъ житейскомъ обиходѣ. За все время дороги, да и потомъ, я не слыхалъ ни одной пѣсни, которая не была бы знакома мнѣ; незнакомыя же оказывались возмутительными продуктами этапно-поселенческой жизни.

Среди разнообразныхъ элементовъ, населяющихъ сибирскую деревню, нѣтъ только одного — русскаго. Этотъ выводъ не сразу явился у меня,—долго я чувствовалъ только, что чего-то недостаетъ въ Сибири; но когда этотъ выводъ явился, онъ поразилъ меня. „Русскаго" не видно и не слышно, Россіи не чувствуется въ Сибири. Среди разнокалиберныхъ построекъ вы не увидите только одного—обыкновенной русской избы средней лѣсной полосы Россіи; среди всякихъ костю-

мовъ вы не увидите поддевки и сарафана. Нѣтъ хороводовъ, нѣтъ русской пляски, нѣтъ говора русскаго, не слышно даже брани,—той брани, которая, я былъ увѣренъ, перейдетъ съ русскимъ человѣкомъ черезъ всякіе Уралы. Въ уличной толпѣ вамъ попадутся, очевидно, не туземныя, какія-то, такъ сказать, международныя, стертыя физіономіи, обыкновенно бритыя, съ приниженнымъ выраженіемъ глазъ, но такихъ, о которыхъ было бы можно прямо сказать: „вотъ это русскій",—вы встрѣтите очень рѣдко. Гдѣ же русскій? Куда дѣваются эти ежегодно льющіяся въ Сибирь волны русскихъ людей—ссыльныхъ и переселенцевъ, торговыхъ и служилыхъ людей? На этотъ вопросъ я могъ отвѣтить себѣ только долго спустя, поживши въ Сибири, и вопросъ этотъ настолько интересенъ во многихъ смыслахъ, что я поговорю о немъ впослѣдствіи особо.

Какъ ни любопытно всматриваться въ сибирскую деревню,—все-таки дорога скучна и тосклива. Чужая земля, чужой воздухъ, чужіе люди, чужія рѣчи... Встрѣчаются, впрочемъ, и свои люди, но мало вносятъ они веселья въ дорожныя впечатлѣнія. По ту и другую сторону грязнаго, изрытаго шоссе вьются многочисленныя тропинки,—то свои, русскіе люди проложили дорожки въ чужую сторону...

И вотъ узкою лентой далеко растянулась арестантская партія. Медленно плетутся сѣрые халаты, жалобно поскрипываютъ телѣги, на которыхъ сидятъ женщины съ грудными дѣтьми. Невесело встрѣчаетъ Сибирь своихъ гостей. Угрюмое, свинцовое небо тяжело повисло надъ головой; октябрьскій дождь холодными иглами сѣчетъ лицо и ледяною корой ложится на арестантскіе халаты; подъ ногами вязкая, полузастывшая грязь, изъ которой такъ тяжко вытаскивать кандальныя ноги;

справа и слѣва злобно воющая тайга, по краямъ которой мѣрно двигаются штыки конвойныхъ. Только ребята вносятъ нѣкоторое оживленіе въ эту печальную группу. Какъ только перемежится дождь, они спрыгиваютъ съ телѣгъ, бѣгаютъ взапуски, кувыркаются на встрѣчающихся лужайкахъ и съ веселымъ смѣхомъ ощипываютъ запоздалыя кисти рябины, красныя ягоды шиповника и боярышника...

Глубокая зима глянула на меня, когда я выѣхалъ изъ Ачинска. Какъ все измѣнилось кругомъ! Окутанная снѣгомъ тайга затихла и стоитъ недвижимо, покорная и кроткая; безшумно скользятъ, словно плывутъ, мои сани въ рыхломъ, еще не умятомъ снѣгу; мягко и какъ-то грустно звенитъ колокольчикъ; безчисленныя пушистыя снѣжинки кружатся въ воздухѣ и медленно, какъ будто въ какомъ-то раздумьи, ложатся на землю, словно колеблющійся бѣлый саванъ тихо спускается съ неба на умирающую землю.

Еще нѣсколько сотъ верстъ, и я пріѣхалъ на мѣсто. Засыпанный четырехъаршиннымъ слоемъ снѣга, окруженный тѣснымъ кольцомъ безпредѣльной тайги и окаймленный лишь съ одной стороны широкою пеленой Енисея, мой городокъ выглядѣлъ мирнымъ, уютнымъ, хотя и нѣсколько глухимъ уголкомъ.

Глубокая Сибирь чувствуется на каждомъ шагу. Вотъ лохматая собака въ упряжи, какъ истый рысакъ, лихо катитъ маленькія санки съ возсѣдающимъ на вязанкѣ дровъ мальчишкой. Дохи и дохи безъ конца, начиная отъ изящной изъ молодыхъ оленьихъ шкурокъ съ собольимъ воротникомъ дохи мѣстнаго богача и кончая мохнатыми, сохатиными и даже собачьими дохами, въ которыхъ ѣдутъ мужики и бабы на базаръ. Сіяющая сибирская зима въ полномъ разгарѣ. Мертвая

тишина въ воздухѣ. Прямыми, высокими столбами, играя въ солнечныхъ лучахъ, поднимается къ небу дымъ изъ трубъ. Снѣгъ не скрипитъ, а визжитъ подъ полозьями, какъ трущееся другъ о друга желѣзо. Сорокаградусный морозъ обжигаетъ лицо...

ЖИГАНЫ.

I.

Сегодня въ честь 1-го мая я выставилъ раму и открылъ окно. Какое чудное утро! Грудь не можетъ надышаться, глаза насмотрѣться. И лучше всего въ этомъ утрѣ красавецъ Енисей. Три дня бушевалъ онъ, три дня безобразныя льдины огромными горами, съ шумомъ и грохотомъ лѣзли на берега. Теперь эти горы стоятъ неподвижно, блестя на солнцѣ своимъ бѣлымъ снѣгомъ и синими льдинами. Какъ огромное синее небо, огромный и синій разлился Енисей и стоитъ—словно замеръ. Тамъ, высоко, среди синяго неба, медленно плыветъ длинная вереница бѣлыхъ, прозрачныхъ облаковъ; то, быть можетъ, они опрокинулись въ воду и бѣлыми блестящими льдинами беззвучно и тихо плывутъ по срединѣ рѣки—туда, въ уходящую синюю даль...

Что-то великое и могучее пробуждается кругомъ, будто дышитъ кто-то огромнымъ дыханіемъ. Зеленѣютъ свѣжими побѣгами темныя верхушки суровой тайги; вся свѣтлая, стоитъ и трепещетъ зелеными листочками бѣлая березка; тяжелымъ ароматомъ пахнетъ бѣлая отъ цвѣта черемуха. Стая за стаей, непрерывною вереницей тянутся утки, съ крикомъ летятъ черезъ рѣку

дикіе гуси; бѣлые лебеди, какъ снѣгомъ, покрыли полузатонувшій островъ. А огромное солнце встаетъ все выше, разгорается все ярче и радостнымъ свѣтомъ заливаетъ и бѣлый островъ, и синія льдины, и темную тайгу съ блестящими пятнами снѣга.

На солнопекѣ, у гостепріимныхъ дверей „Берегового" кабака, прямо противъ моихъ оконъ, сидятъ и лежатъ жиганы. Какъ сурки послѣ зимней спячки, они вылѣзли изъ своихъ норъ и въ первый разъ собрались на свой форумъ, съ котораго не сойдутъ все лѣто. Въ этомъ сіяющемъ свѣтѣ утра ихъ желтыя и зеленыя лица кажутся не такъ желты и зелены и ихъ рваная „лопоть" не такъ кажется грязна и несчастна. Почти весь прошлогодній парламентъ въ полномъ составѣ.

Вотъ знаменитый базарный юристъ съ сѣдою сократовскою бородой. Тутъ же въ „Береговомъ" его контора, и тамъ онъ пишетъ свои прошенія, которыя, по общему мнѣнію базарной публики, могутъ всякаго переселенца обратить въ „первобытное состояніе", т. е. возвратить ему права и родину. Вотъ базарный лѣкарь съ изрытымъ оспой лицомъ, серьгой въ ухѣ, лихими крашеными усами и выбритымъ по-солдатски затылкомъ. Онъ таксировалъ человѣческую кровь и выпускаетъ ее, по желанію паціентовъ, порціями — отъ гривенника до рубля, что даетъ ему хорошія деньги, а свиньямъ его квартирной хозяйки — большія лахани крови. Тутъ же „Копчикъ", душа жиганскаго общества, спеціалистъ по всѣмъ спеціальностямъ и литераторъ по части просительныхъ посланій къ обывателямъ, подвижная фигурка съ бѣгающими глазами и вороватымъ лицомъ. Тутъ вся жиганская знаменитость.

Безмолвные и неподвижные лежатъ и сидятъ жиганы и видимо блаженствуютъ. Только Ванька Безпечальный стоитъ. Я вижу его круглую, какъ шаръ,

словно точеную голову съ коротко подстриженными, черными съ сѣдиной, волосами. Грязные пальцы выглядываютъ изъ разорванныхъ резиновыхъ калошъ, правый рукавъ пиджака полуоторванъ, и красное иззябшее тѣло свѣтится на солнцѣ. Лица мнѣ не видно,—Ванька оборотился къ рѣкѣ и поетъ арію изъ „Трубадура". Надтреснутый и хриплый, но все еще сильный голосъ одиноко звенитъ въ безмолвномъ воздухѣ. Ванька прижимаетъ руки къ сердцу, становится въ гордую позу, протягиваетъ съ мольбой руки, — онъ, очевидно, на сценѣ и огромный Енисей съ синими льдинами—его публика. Вотъ онъ поетъ другую арію, поднимаетъ глаза къ небу и поетъ бѣлому облаку, какъ дамѣ своей. Трепетные и нѣжные звуки итальянскихъ арій такъ странно и потому, быть можетъ, такъ трогательно несутся по широкой поверхности рѣки. Хохотъ раздается въ кучкѣ жигановъ, — Ванька не вытянулъ высокой ноты и хрипло, какъ лопнувшая струна, оборвалъ свою арію. „Не выдюжилъ Ванька, — говорятъ кругомъ,—а ловко, подлецъ, поетъ! Ванька! А Ванькъ!" Но Ваньки не видно,—онъ въ кабакѣ. Его отсутствіе, впрочемъ, не долго продолжается. Дверь кабака шумно растворяется, и Ванька при содѣйствіи дружеской руки цѣловальника летитъ кубаремъ въ грязную лужу.

Онъ идетъ мимо моихъ оконъ, оборванный, грязный, и сердито бормочетъ себѣ подъ носъ. Скоро хохотъ и крики, раздавшіеся на берегу, привлекли мое вниманіе.

Проходя мимо набитаго лодками устья маленькой рѣчонки, тутъ же впадающей въ Енисей, Ванька увидѣлъ плававшій между лодокъ великолѣпный и почти вовсе новый ящикъ изъ-подъ карамели. Боясь, чтобы его не предупредили, Ванька бросается въ лодку, но пьяныя ноги не могутъ удержать его, и онъ падаетъ въ воду. Устье рѣчки глубоко, а Ванька не умѣетъ

плавать. Толпа мѣстныхъ жителей стоитъ на берегу и грохочетъ. Ванькина голова показывается надъ водой и руки судорожно схватываются за борта лодокъ, но легкія душегубки перевертываются, и Ванька снова погружается въ воду. Я бросаюсь внизъ и бѣгу на берегъ. Публика реветъ отъ хохота. Посинѣвшее, почти черное лицо Ваньки время отъ времени показывается надъ водой и безсмысленно ворочаетъ бѣлками глазъ. Руки уже не хватаютъ за борта, а безтолково бьютъ по водѣ.

— Вы чего стоите? — набрасываюсь я на толпу.— Вѣдь человѣкъ тонетъ!

— Это Ванька-то?... Что вы, баринъ, развѣ Ванька потонетъ?

Нѣсколько человѣкъ, тѣмъ не менѣе, кидаются за мной въ лодки и съ величайшими усиліями,—Ванька съ упрямою настойчивостью пьянаго не выпускаетъ ящика,—вытаскиваютъ его на берегъ. Грохотъ смѣха встрѣчаетъ его на берегу.

— Ахъ, будь ты проклятъ! Хо-о-рошъ! Ишь, язви его, не утопъ вѣдь!!!

Ванька съ синимъ лицомъ и льющимися потоками воды фыркаетъ и встряхивается, какъ селезень. Кто-то даетъ ему гривенникъ, и Ванька, сверкая пятками,— калоши остались въ рѣкѣ,—и не выпуская изъ рукъ драгоцѣннаго ящика, устремляется въ „Береговой“, преслѣдуемый гамомъ и хохотомъ расходящейся толпы.

Я не могу оторваться отъ окна. Рынокъ оживляется. Являются хозяйки, пріѣзжаютъ одноколки изъ окрестныхъ деревень. Устье рѣчки, единственно свободное отъ льда, все болѣе и болѣе наполняется лодками,—то рыбаки ведутъ на веревкахъ большихъ осетровъ, стерлядей, тайменей.

Плывутъ съ Ангары илимки *), кажущіяся издали, съ своими огромными парусами изъ синей дабы, темными птицами. Вотъ въ кучкѣ народа, цѣлый день толпящагося на берегу, замѣтно оживленіе. Изъ-за острова, какъ бѣлая бревенчатая изба, выплываетъ судно. Нелѣпая по своей неуклюжей постройкѣ, „посудина“ кажется даже красивою въ этотъ прекрасный день. Мнѣ слышно издали, какъ скрипятъ и бьютъ воду громадныя, неуклюжія весла подъ дюжими руками сплавщиковъ. Красныя рубашки должно быть россійскихъ людей мѣрно наклоняются и не то съ пѣсней, не то съ какимъ-то уханьемъ налегаютъ на весла и руль. Оживленіе на берегу растетъ.

Первая барка съ хлѣбомъ встрѣчается, какъ давно желанная гостья.

На берегу показываются экипажи, между ними снуютъ отрепанныя фигуры жигановъ,—работа наклевывается. Барка пристала, устраиваются сходни. Берегъ совсѣмъ оживаетъ,—начинается лѣтній береговой сезонъ Тайгинска.

Тихо спускается вечеръ на землю. Пламенное солнце медленно, словно нехотя, тонетъ въ широкой излучинѣ Енисея и долго еще расплавленнымъ золотомъ горитъ на огромной поверхности рѣки. Жиганы тамъ же, у „Берегового“. Они не кричатъ и не хохочутъ,—тихій говоръ несется изъ ихъ кучки.

Сонце низенько,
Вечеръ близенько...

доносится до меня. Поетъ, незнакомый мнѣ раньше, худой и высокій жиганъ въ арестантскомъ халатѣ, полуспущенномъ съ плеча. Противъ него на обрубкѣ

*) Крытыя большія лодки.

дерева сидитъ другой жиганъ и аккомпанируетъ на гитарѣ.

Солнце совсѣмъ потухло и унесло съ собою весь свѣтъ, всю радость и веселье дня. Потускнѣло синее небо, потемнѣла сіяющая рѣка, и темная тайга подошла ближе и стала еще темнѣе, а безобразные силуэты льдинъ выросли и обступили словно привидѣнія, стерегущія рѣку, — на меня глядѣла та дикая и суровая пустыня, отъ которой такъ тяжело, такъ жутко на душѣ.

А малороссійскія пѣсни, такія нѣжныя и грустныя, одна за другой дрожатъ въ воздухѣ:

Ты думаешь, моя мати, що я не журюся,
А якъ выйду за ворота, видъ вітру валюся.

Струны гитары звенятъ все тише, а мягкій, задушевный голосъ звучитъ все мягче и задушевнѣе:

Ты думаешь, моя ненько, що я и не плачу,
За дрибными слизоньками стежечки не бачу...

Зазвенѣла струна и замолчала, дрогнулъ и замеръ голосъ. Все тихо, безмолвно кругомъ, только молящіе и плачущіе звуки все еще звенятъ въ воздухѣ и, кажется мнѣ, съ мольбой и плачемъ несутся въ широкую пустыню.

Жиганы расходятся. Двѣ фигуры идутъ мимо моихъ оконъ къ устью рѣчки, гдѣ стоитъ барка.

— Гондольеръ, подавай мою гондолу! — слышится мнѣ голосъ одного.

Опрокинутая вверхъ дномъ гондола лежитъ на берегу, привѣтливо приподнимаетъ край и принимаетъ гостя подъ свой кровъ.

— „Я замокъ предковъ обрѣтаю вновь!“ — декламируетъ другой голосъ, и церковная паперть поглощаетъ его.

Все тихо и тускло кругомъ, только огонь на баркѣ разгорается все ярче и ярче. Сплавщики варятъ уху. Красныя рубашки, красныя лица ярко выступаютъ въ свѣтѣ костра. Все русскія лица. Только одинъ сойотъ съ бронзовымъ лицомъ и заплетенными въ мелкія косички черными, какъ смоль, волосами сидитъ въ кругу, обхвативши руками колѣна и мѣрно раскачиваясь въ тактъ пѣсни. Давно, давно не слышанная „Внизъ по матушкѣ по Волгѣ“ такъ чудно и прекрасно носится въ тишинѣ замолчавшей ночи.

Шесть человѣкъ поднимаются по сходнямъ на барку,—я знаю, это мѣстные жители, любители пѣнія, пришли попѣть съ „россійскими“ людьми. Поютъ все русскія пѣсни. Костеръ горитъ ярко, по рукамъ ходитъ фляга, принесенная гостями. Вотъ гости одни запѣли свою мѣстную пѣсню:

Я лечу подъ парусами,—

разбираю я отдѣльныя строфы,—

Между горъ и средь лѣсовъ,
Вслѣдъ за бурями и льдами.
Богъ—мой щитъ и мой покровъ.

—

Съ Ангары до устьевъ моря
Вижу дикія страны.
Нѣтъ тамъ радости, нѣтъ горя—
Образъ вѣчной тишины.

—

Въ тундрахъ нѣтъ зеленой сѣни,
Нѣтъ тамъ ночи, нѣтъ зари,
Лишь мелькаютъ тамъ, какъ тѣни,
По утесамъ дикари.

Долго, долго тянется оригинальный, унылый, церковнаго характера мотивъ и странно звучатъ одушевленные и сильные, но дикіе и рѣзкіе голоса. Мину-

тами мнѣ, право, кажется, то—ели скрипятъ и кедры гнутся.

Гости ушли, фляга пуста, костеръ еле мерцаетъ. Безсвязные, охрипшіе голоса поютъ разноголосыя пѣсни. Наконецъ, умолкаютъ и они, только сойотъ все въ той же позѣ, охвативши руками колѣна и мѣрно раскачиваясь, поетъ свою безконечную пѣсню. Дикіе, какіе-то ржавые' скрипучіе звуки вылетаютъ изъ горла и рѣзкимъ диссонансомъ будятъ воздухъ.

Я совсѣмъ засыпалъ, когда крики понеслись съ барки. При свѣтѣ снова вспыхнувшаго костра на баркѣ и сходняхъ виднѣлись бѣгавшія и преслѣдуемыя сплавщиками отрепанныя фигуры. То жиганы работаютъ...

II.

Глубокая зима. Уже вторая недѣля—морозъ за 40 градусовъ. Помню, рано утромъ меня разбудилъ шумъ изъ кухни. Я вышелъ. Прижавшись къ косяку двери, стоялъ Ванька. Онъ былъ ужасенъ. Налитое кровью, темно-багровое отъ мороза лицо, казалось, готово было лопнуть. Корки раньше отмороженныхъ мѣстъ и новыя бѣлыя пятна покрывали носъ, щеки и уши. Особенно были ужасны ноги—распухшія, почти голыя, въ рваныхъ резиновыхъ калошахъ. Онъ весь дрожалъ въ своей изодранной до послѣдней степени какой-то бабьей кацавейкѣ. Кухарка выталкивала его вонъ, а онъ продолжалъ дрожать, тупо озираясь на ея окрики и протягивая свои иззябшія руки къ пылавшему жерлу печки. Что-то безконечно жалкое и несчастное чувствовалось въ этой рваной, распухшей и дрожащей фигурѣ, въ тупомъ, одичаломъ взглядѣ безсмысленныхъ глазъ.

При моемъ входѣ, онъ торопливо, словно боясь,

чтобы его немедленно не выгнали, вынулъ изъ-за пазухи сложенную четвертушку бумаги и протянулъ мнѣ.

— Что это?—спрашиваю я.

Ванька молчитъ и только тычетъ пальцемъ въ бумагу.

„Всемилостивѣйшій покровитель! — читаю я посланіе.—Какъ будучи холодной судьбой заброшенъ въ этотъ негостепріимный край и притомъ обремененный въ пути недугами, обращаюсь къ вамъ, милостивый государь, какъ къ дворянину, не будете ли столь благосклонны оказать несчастному человѣку возможную по вашимъ средствамъ и доброму сердцу помощь. Мы писали въ свои мѣста нащетъ денегъ и какъ наши родные при своемъ состояніи вышлютъ, мы вамъ отвѣтствуемъ съ благодарностью.

„Потомственный почетный дворянинъ“... Вмѣсто подписи мудреный росчеркъ.

Я прочелъ письмо и взглядываю на Ваньку. Ванькины глаза безпокойно бѣгаютъ по кухнѣ.

— Что на сапоги буркалы-то пялишь?—огрызается кухарка.—Жиганье проклятое! Попадись только, — полѣномъ прошибу башку-то! И вы-то, баринъ,—укоризненно обращается она ко мнѣ,—всякую дрянь до себя допущаете!

Долженъ признаться, что Ванькины глаза особенно привлекаютъ стоящіе у двери только что вычищенные сапоги мои.

— Это Копчикъ писалъ? — спрашиваю я. Я знаю, что Копчикъ главный писатель той трущобы, въ которой живетъ по зимамъ Ванька.

Ванькины глаза силятся остановиться на мнѣ и губы хотятъ улыбнуться.

— Никакъ нѣтъ... — бормочетъ онъ.—Пріѣзжіе, изъ дворянъ будутъ... По несчастію...

Ванька снова лѣзетъ за пазуху, вынимаетъ новую четвертушку бумаги и протягиваетъ мнѣ.

— Постояльцу, — говоритъ онъ, — господину оператору.

У меня на квартирѣ жилъ знакомый врачъ-хирургъ, недавно пріѣхавшій изъ Россіи.

„Украшенному добродѣтелями купцу Іоанну Антоновичу Голыхъ“, читаю я адресъ и возвращаю письмо Ванькѣ.

— Это не постояльцу.

Ванькино лицо выражаетъ недоумѣніе, онъ вынимаетъ изъ-за пазухи пачку писемъ, долго роется и подаетъ новую бумажку. Письмо длинное, передаю его точную копію. Вверху значится:

Свобода! Равенство!

Братство!!!

„Многоуважаемый господинъ

Апираторъ!

„Прошу васъ помочь подателю сей записки, если позволитъ Вамъ Ваша наука и опытность. Ваша популярность ростетъ среди простова народа. Какъ видно ввасъ еще не потухла та искра котора заставила васъ какъ и многихъ другихъ покинуть родной край и уйти въ далекую и гостепріимную Сибирь. Обращаюсь квамъ спросьбой нетли у васъ газетъ и журналовъ или книгъ которыи вы могли бы послать навремя для прочтенія сподателемъ сей записки я ихъ по прочтеніи обращу квамъ за что я буду вамъ очень благодаренъ потому что живя вглуши Сибири я ужѣ болѣе четырехъ лѣтъ неимѣю возможности следить не только затемъ, что дѣлается въ мирѣ и на политическомъ Горизантѣ по даже и развлечи себя подумаю

Что!!!

„Заря свободы наступаетъ и издали ужѣ виденъ светъ угнетеннымъ Бробуждающаго утра Радостный разсветъ“...

Далѣе идутъ двѣ строчки многоточій съ восклицательнымъ знакомъ въ концѣ, затѣмъ длинная черта и продолженіе:

„И еще какъ вы признаете нащетъ діэты. Тоже и носильнаго белья и платья. Если вы вопще и Софья Александровна нащетъ рубашекъ и штаповъ и на пудъ муки сему бѣдному старику.

„Затемъ остаюсь навсегда доброжелательствующій вамъ вопще и Софье Александровне и готовый къ вашимъ услугамъ если будетъ надобность (послѣднія три слова подчеркнуты) навсегда скрывшійся отглазъ шумнаго света поселенецъ студентъ Кыевскаго математическаго университета“...

Опять вмѣсто подписи хитрый росчеркъ.

— Ты чѣмъ боленъ?—спрашиваю я Ваньку.

„Бѣдный старикъ“ былъ, очевидно, не приготовленъ къ вопросу и занимался разсматриваніемъ мѣдной полоскательной чашки, очень близко стоявшей отъ его локтя.

— Лежатъ они... — заговорилъ было онъ и сконфузился. Онъ старается смотрѣть мнѣ въ глаза, но чашка, очевидно, гипнотизируетъ его, и глаза упорно косятся въ ея сторону.

— Дай ему стаканъ водки, да закусить чего-нибудь, пусть обогрѣется. — Я предчувствую протестъ кухарки и говорю строгимъ, не терпящимъ возраженій голосомъ.—Докторъ спитъ,—говорю я Ванькѣ, — зайди въ другой разъ... Да, — вспоминаю я, — ты скажи Ивану Копчику, зачѣмъ онъ у меня коверъ стащилъ? — Я

отлично разсмотрѣлъ юркую фигуру Копчика, убѣгавшаго съ ковромъ въ рукахъ отъ моей кухарки.

Бѣлки Ванькиныхъ глазъ начинаютъ какъ-то странно вертѣться, вся фигура изображаетъ протестъ.

— Не наши...—бормочетъ онъ.—Чтобы мы да у вашего благородія...

Мнѣ скоро пришлось вернуться въ кухню, — тамъ поднялся страшный шумъ. Оказалось, Ванька упорно не хотѣлъ уходить. Иззябшій и голодный, онъ опьянѣлъ отъ стакана вина,—его лицо сіяло, какъ мѣдный шаръ, и весь онъ имѣлъ побѣдоносный видъ.

— Господинъ, стаканчикъ бѣдному артисту!—Ванька ласково подмигнулъ мнѣ, но тотчасъ лицо его приняло свирѣпое выраженіе.

— Варнакъ Копчикъ! Палъ Степанычъ полштофъ ему далъ за коверъ-то, одинъ вылокалъ — песъ! Мы ему еще шею накостыляемъ! Вы у насъ, можно сказать, первый господинъ въ городѣ, — я вотъ какъ понимаю.

Ванькино лицо снова приняло ласковое выраженіе.

— Келькъ шозъ аржану, господинъ, а?..—и неожиданно запѣлъ: „На землѣ весь родъ людской...“

— Што хайло-то растворилъ? Ребятъ перебудишь,— набросилась на него кухарка.—Ну, ну, проваливай!

— Съѣла?—съ торжествомъ остановился въ дверяхъ Ванька, показывая полученную отъ меня серебряную монету.—Господинъ понимаетъ благородное обхожденіе. А ты—мразь, челдонка желторылая!

Ванька сдѣлалъ неприличный жестъ и скрылся. Я слышалъ, какъ что-то загремѣло ему вслѣдъ по лѣстницѣ.

III.

Кто онъ? Онъ—Ванька Безпечальный. Даже и тогда, когда онъ былъ чѣмъ-то, онъ прежде всего былъ Ванькой Безпечальнымъ. Провинціальный артистъ опереточной трупы, 15 лѣтъ назадъ онъ сдѣлалъ какое-то уголовное преступленіе, за которое былъ сосланъ съ лишеніемъ правъ въ Восточную Сибирь. Его судьба опредѣлилась сразу,—съ того момента, какъ онъ попалъ въ острогъ.

Здѣсь не мѣсто останавливаться настолько подробно, какъ мнѣ хотѣлось бы, на томъ огромномъ вліяніи, которое имѣютъ на человѣка острогъ и арестантская партія. Все это вмѣстѣ взятое есть огромная, жестокая машина, острыя зубья которой безпощадно стираютъ въ человѣкѣ всякіе углы, все индивидуальное, обособленное,—національность, сословіе, религію, манеры, привычки, даже различіе пола. Это—среда, гдѣ первое мѣсто занимаетъ только сила характера или кулака и гдѣ не обладающіе ни тѣмъ, ни другимъ дѣлаются „шпанкой“, стадомъ овецъ, сѣрою толпой безличныхъ арестантскихъ халатовъ. Эта шпанка не имѣетъ воли,—надъ ней чужая, желѣзная воля; не имѣетъ желаній,—ей *нельзя* желать; не имѣетъ характера,—арестантская партія дисциплинируетъ массу и обезличиваетъ личность; она все оставила за собой и ничего не видитъ впереди. У такого арестанта нѣтъ стыда за свое преступленіе,—тамъ, гдѣ крупное или чѣмъ-нибудь особеннымъ выдающееся преступленіе окружаетъ человѣка ореоломъ, тамъ стыдятся ничтожности преступленія, за которое идутъ въ ссылку, и чтобы показаться хоть немного крупнѣе, лгутъ и наговариваютъ на себя преступленія, которыхъ не было,

У него гибнетъ всякая самодѣятельность, пропадаетъ привычка, охота къ труду за годъ тюремной жизни, да за годъ (иногда и два) странствованія по этапамъ; онъ по звонку встаетъ, по звонку ѣстъ, ложится спать ежедневно, получаетъ свой паекъ, лѣтомъ—лѣтнюю, зимой—зимнюю казенную одежду, и ничего, рѣшительно ничего не дѣлаетъ. За эти два-три года весь міръ заключается для арестанта на пространствѣ тюремнаго двора и всѣ его интересы—въ жизни бродящей тамъ толпы; и какъ крестьянинъ, прослужившій въ военной службѣ три года, остается на всю жизнь солдатомъ, такъ и тѣмъ болѣе человѣкъ, протолкавшійся два-три года по тюрьмамъ и этапамъ остается на всю жизнь арестантомъ.

Эта среда, эта суровая машина быстро стерла въ Ванькѣ все некрѣпко державшееся въ немъ, чѣмъ онъ жилъ раньше; она раздѣла его, сняла съ него видъ культурнаго человѣка, лишила его даже имени и дала ему бубновый тузъ и имя Ваньки Безпечальнаго, которое онъ только и знаетъ теперь. Впрочемъ, тюрьма дала ему еще водку. Свободному человѣку трудно представить себѣ, что̀ значитъ водка въ тюрьмѣ. Она даже не удовольствіе, она—жизнь. Въ ней все: и забвеніе прошлаго, и прекращеніе думы о томъ неизвѣстномъ и страшномъ, что ждетъ впереди; въ ней—воля, уголокъ счастья, за который можно отдать и отдаютъ все, все. Въ концѣ концовъ, этапъ выпустилъ Ваньку, въ числѣ прочихъ Ванекъ Безпечальныхъ, уже готовымъ и неизбѣжнымъ членомъ ассоціаціи Берегового кабака.

Впрочемъ, на первыхъ порахъ Ванька оказался даже счастливѣе другихъ Ванекъ и сдѣлалъ въ нѣкоторомъ родѣ карьеру. Его голосъ понравился мѣстному протоіерею, любителю хорошаго пѣнія и не жалѣвшему

церковныхъ денегъ на устройство хора. Ванька пропивалъ въ „Береговомъ“ платье, являлся на клиросъ пьянымъ, но хорошіе голоса въ Сибири рѣдки, а умѣющіе пѣть еще рѣже, и, вѣроятно, Ванька долго бы пѣлъ въ соборѣ, если бы протоіерея за какую-то провинность не перевели въ другой, худшій городъ: хоръ разстроился, и Ванька остался безъ занятій. Голосъ еще разъ сослужилъ ему службу. Какъ прикосновеннаго къ церкви и голосистаго человѣка, Ваньку пригласили къ себѣ зыряне чѣмъ-то въ родѣ причетника. Зырянскій поселокъ, не въ примѣръ сибирскимъ деревнямъ, находился въ глубокой тайгѣ, вдали отъ трактовъ и рѣкъ. Ближайшая церковь отстояла слишкомъ на 100 верстъ, и маленькая часовня удовлетворяла религіозныя нужды зырянъ. Люди, знавшіе Ваньку въ этотъ періодъ, говорили мнѣ, что онъ служилъ тамъ какія-то службы, надѣвалъ какія-то облаченія, и что—прости, Господи, грѣшную Ванькину душу! — нерѣдко бѣдная зырянская часовня оглашалась совсѣмъ не молитвенными гимнами пьянаго Ваньки, не забывшаго „Периколлу“ и „Корневильскіе колокола“...

Болота не всегда позволяли имѣть водку, и изъ-за этого Ванька часто ссорился со своими прихожанами; но жизнь у зырянъ была такъ правильна, что Ванька, быть можетъ, долго бы прожилъ у нихъ, если бы заглянувшій въ поселокъ засѣдатель, послѣ трехдневнаго пьянства съ Ванькой, не увезъ его къ себѣ въ качествѣ писаря, пѣвца и собутыльника. Отъ засѣдателя (скоро спасовавшаго на своей службѣ) онъ перешелъ въ волостное правленіе, потомъ еще куда-то; но это были уже кратковременныя остановки на пути къ „Береговому“, гдѣ Ванька вскорѣ и окончательно устроился.

Здѣсь завязались его тѣсныя отношенія съ Кончи-

комъ, явившимся въ нѣкоторомъ родѣ антрепренеромъ по отношенію къ Ванькѣ. Копчикъ отыскивалъ работу и отпускалъ Ваньку въ хоръ за разовыя,—деньги получалъ Копчикъ, водку пилъ и Ванька. Лѣтомъ, когда городъ пустѣлъ,—обыватели отправлялись на пріиски и на солку рыбы,—Копчикъ и Ванька ходили по деревнямъ. Въ одной они объявлялись печниками, въ другой—„по скотской части", въ третьей—малярами и красили ставни пѣтухами, а дуги — звѣздами и букетами. Иногда изобрѣтательный Копчикъ придумывалъ особенныя комбинаціи. Мой знакомый встрѣтилъ пьянаго Ваньку въ глухой деревнѣ, стучавшагося подъ окнами и предъявлявшаго всѣмъ свою „бумагу". Въ бумагѣ значилось, что предъявитель—поселенецъ, невинно осужденный и теперь возвращающійся на родину въ Одесскую губернію, въ Хвалынскій уѣздъ. Далѣе выходило, что Ванька (настоящій русскій) — еврей, обратившійся въ православіе, гонимый за это своими единовѣрцами и поэтому же нуждающійся въ помощи „всѣхъ истинныхъ христіанъ", къ каковой оные и приглашаются. Внизу значились подпись и печать якутскаго полицейскаго управленія (то и другое работы Копчика).

Эти лѣтнія прогулки были бы очень пріятны, если бы не приходилось возвращаться тѣми же деревнями, по которымъ шли впередъ (трактъ одинъ и обойти стороной нельзя). Ванька и Копчикъ знали свою работу: Ванькины печи трескались и дымили, „клади", изобрѣтенныя Копчикомъ, не помогали лошадямъ и коровамъ, а краски на дугахъ при первомъ дождѣ начинали расплываться, причемъ звѣзды превращались въ букеты, а букеты—въ звѣзды. Спутникамъ не всегда удавалось хорониться въ тайгѣ и ночью проскальзывать мимо деревень,—нерѣдко ихъ открывали и тогда

жестоко били; больше доставалось Ванькѣ, такъ какъ юркій Копчикъ въ большинствѣ случаевъ успѣвалъ ускользнуть. Въ концѣ концовъ, Ванька рѣшилъ, что въ деревнѣ сильнѣе бьютъ, чѣмъ въ городѣ, и отказался отъ дальнѣйшихъ путешествій.

Чѣмъ живетъ Ванька, — никому неизвѣстно, да и самъ онъ затруднился бы отвѣтить на этотъ вопросъ. По профессіи онъ—воръ, но едва ли кто воруетъ глупѣе и болѣе неумѣло, чѣмъ Ванька. На глазахъ у хозяина онъ схватываетъ съ лотка перваго попавшаго максуна и удаляется. Именно удаляется,—онъ даже не бѣжитъ. Конечно, Ваньку настигаютъ и Ваньку бьютъ. Бьютъ Ваньку всѣ и чѣмъ попало,—и тѣмъ же соленымъ максуномъ по лицу, и первымъ попавшимся подъ руку полѣномъ, и имъ же, Ванькой, украденнымъ кнутомъ. Сколько ударовъ принялъ онъ на голову и на плечи, и по лицу и подъ ребра, ни бьющіе его, ни самъ Ванька не считаютъ. Это битье до такой степени вошло, какъ необходимый элементъ, въ программу его жизни, что Ванька даже не пробуетъ сопротивляться и, какъ необходимую дозу, покорно и безропотно принимаетъ наносимые ему удары. Случается, что даже Ванькино воровство пройдетъ незамѣченнымъ, найдется сердобольная душа, которая побьетъ его и броситъ ему пятакъ,—тогда Ванька доволенъ и поетъ въ „Береговомъ“ свои аріи.

Даже барахольщики *) удивляются.

— Дуракъ ты, Ванька! Хоть бы воровалъ-то путно,— только зря лупку принимаешь...

Ванькиной выносливости много помогаетъ то обстоятельство, что онъ живетъ въ общественномъ смыслѣ,

---

*) Торговцы старымъ платьемъ, вѣрнѣе—всякимъ барахломъ, какъ называютъ сибиряки подержанную рухлядь.

слѣдовательно, и битъ бываетъ только четыре мѣсяца, т. е. отъ снѣга до снѣга, остальное же время онъ лежитъ въ жиганской трущобѣ,—длинномъ, какъ сарай, сколоченномъ изъ барочнаго лѣса зданіи, куда забираются на зиму такіе же несчастные жиганы, какъ Ванька, и пропившіеся рабочіе съ пріисковъ. Я видѣлъ ихъ днемъ. Они лежали на полу почти голые (нѣкоторые—буквально голые), тѣсно прижавшись другъ къ другу и взаимно согрѣваясь. Старое, измызганное песцовое одѣяло и такая же доха, составлявшія общественную собственность, переходили постепенно отъ стѣны къ стѣнѣ по голымъ плечамъ и возвращались обратно тѣмъ же путемъ. По своей крайней неловкости, Ванька не участвуетъ даже въ тѣхъ экскурсіяхъ, которыя предпринимаетъ по ночамъ трущоба на чердаки и въ кладовыя обывателей, и лишь изрѣдка посылается по обывателямъ съ жалостными письмами.

Какъ кончитъ Ванька, дѣло извѣстное... Переломаютъ ему ребра обыватели, убьетъ тотъ же Копчикъ въ дружеской свалкѣ, не разсчитавши удара. А скорѣе всего занесутъ Ваньку пьяныя ноги на широкую пелену Енисея, приляжетъ онъ на пушистую постель, покроетъ Ваньку снѣжкомъ и поплыветъ онъ съ вешнимъ льдомъ по широкой рѣкѣ, приставая къ попутнымъ деревнямъ, словно моля о погребеніи. Всегда помнящій о начальствѣ, сибирскій крестьянинъ оттолкнетъ багромъ отъ своего берега ненавистное тѣло, и поплыветъ оно далѣе, пока не найдетъ тихаго мѣста на желтомъ пескѣ широкой отмели, у опушки зеленой тайги, гдѣ нѣтъ ни крестьянъ, ни начальства. То будетъ „неизвѣстнаго званія мертвое тѣло“,—одно изъ тѣхъ, которыхъ такъ много плыветъ весной по Енисею и открывается изъ-подъ снѣга на таежныхъ тропинкахъ. При немъ не окажется даже того котелка, по которому опредѣляютъ,

что мертвый былъ бродяга. „По гнилости трупа причину смерти опредѣлить нельзя“,—вотъ все, что напишетъ о немъ докторъ въ своемъ протоколѣ.

Да и кто будетъ добиваться узнать, какой это Ванька и отчего онъ умеръ... Кому онъ нуженъ? Кто вспомнитъ о немъ?...

УГОЛОВНЫЕ ДВОРЯНЕ.

I.

У Иннокентія Ѳедоровича балъ. Онъ намылъ лишнихъ два пуда золота противъ смѣты и пируетъ. Три номера дрянненькой гостиницы, гдѣ остановился Иннокентій Ѳедоровичъ по выѣздѣ изъ тайги, биткомъ набиты народомъ. Все золотопромышленники, какъ я потомъ узналъ: тутъ была и тунгузская кровь, и татарская, и остяцкая, и бурятская; были поляки, малороссы, одинъ нѣмецъ. Одинъ управляющій пріисками—чистокровный киргизъ, другой — цыганъ. Было и двѣ-три русскихъ физіономіи. Преобладаютъ приземистыя, съ короткими ногами, крѣпко сколоченныя фигуры, съ бритыми лицами, широкими скулами, узкими глазами, съ рѣзкимъ голосомъ, громкимъ смѣхомъ и размашистыми движеніями. Пиръ въ полномъ разгарѣ. Хоръ пѣвчихъ помѣстился въ корридорѣ и поетъ залихватскія пѣсни; въ другихъ дверяхъ оркестръ играетъ вперемежку съ хоромъ. Цыганъ—управляющій пріисками и какой-то сѣдой золотопромышленникъ пляшутъ камаринскаго. Давно уже перешли къ шампанскому.

Я высматривалъ шапку и выжидалъ случая незамѣтно уйти. Въ это время въ открытыхъ дверяхъ

номера показалась высокая и стройная фигура господина въ черномъ сюртукѣ. Вошедшій поразилъ меня. У него было удивительное лицо, какого мнѣ не приходилось встрѣчать въ жизни,—классически прекрасное, тонкое и строгое. Высокій бѣлый лобъ, обрамленный короткими, курчавыми, черными волосами, прямой, съ легкою горбинкой носъ, красивый бритый подбородокъ и тонкія нервныя губы, опушенныя темными вьющимися усами.

Что-то изящное чувствовалось въ этой прямой и тонкой аристократической фигурѣ. Онъ вошелъ особенною, не гнущеюся походкой, высоко неся свою красивую голову, отыскалъ глазами хозяина и протянулъ ему руку.

— Давно имѣлъ желаніе...

Мнѣ не понравился голосъ—сиплый, дрожащій.

— Живемъ подъ одной кровлей!.. Холостые люди могутъ обойтись безъ визитовъ, не правда ли? Слышу снизу—такое веселье у васъ, не утерпѣлъ...

Онъ жалъ руку хозяину и говорилъ съ тою напускною развязностью прибитой и ластящейся собаки, за которую такъ жалко становится человѣка. Подгулявшій Иннокентій Ѳедоровичъ долго и недоумѣло смотрѣлъ въ лицо гостю, потомъ нехотя пожалъ руку, пробурчалъ что-то себѣ подъ носъ и отвернулся къ гостямъ.

По тому, какъ новый гость обводилъ глазами присутствующихъ, было видно, что онъ зналъ многихъ изъ нихъ, и тѣмъ не менѣе я не замѣтилъ ни у кого желанія протянуть ему руку. Онъ постоялъ нерѣшительно посреди комнаты и выбралъ стулъ, стоявшій въ сторонѣ отъ другихъ. Положеніе гостя было, видимо, неловкое, разговоры стихли, веселье разстроилось. Должно быть, не мнѣ одному было жалко его. Только

что плясавшій сѣдой золотопромышленникъ подсѣлъ къ нему и что-то заговорилъ. Я видѣлъ потомъ, какъ они вмѣстѣ пошли къ столу съ винами и закусками.

— Кто это? — спросилъ я у своего сосѣда. Онъ назвалъ мнѣ фамилію.

— Знаете?

Фамилію я слышалъ еще въ Россіи. Родовитый дворянинъ, кандидатъ правъ ...скаго университета, онъ былъ однимъ изъ главарей и юрисконсультомъ обширной шайки, занимавшейся мошенничествомъ, былъ судимъ и присужденъ къ ссылкѣ въ отдаленныя мѣста Сибири съ лишеніемъ правъ.

Я началъ пристальнѣе разсматривать Мещеринова, — такъ будемъ называть его.

При свѣтѣ лампы онъ выглядѣлъ хуже, чѣмъ показался мнѣ въ полутемныхъ дверяхъ номера. Какая-то особенная, тяжелая, землистая блѣдность лежала на лицѣ, а рѣзко-выпуклые глаза смотрѣли стекляннымъ наглымъ взглядомъ. Во всей его фигурѣ: въ не особенно чистомъ бѣльѣ, въ измятомъ платьѣ, въ морщинахъ блѣднаго лица — виднѣлось что-то истасканное, опустившееся, какая-то смѣсь наглости съ приниженностью. И все-таки это было замѣчательное, рѣзко выступавшее изъ общаго фона лицо. Когда я оглянулся кругомъ на эти далеко не аристократическія и не классическія лица въ жалкомъ номерѣ дрянной сибирской гостиницы, мнѣ невольно представилась другая картина: залитая яркимъ свѣтомъ бальная зала, кружева и бархатъ, черные фраки и блестящіе мундиры. Входитъ онъ, этотъ Печоринъ-Кречинскій, съ холоднымъ блескомъ надменныхъ глазъ, входитъ тою же, только болѣе молодою походкой, гордо неся, — именно неся, — свою великолѣпную курчавую голову. Мнѣ сразу представился этотъ не во-время родившійся, запоздалый

цвѣтокъ русскаго барства, вступившій въ жизнь съ огромными аппетитами и огромными имѣніями, заложенными еще его отцомъ и перезаложенными имъ самимъ,—этотъ блестящій левъ, умный и наглый, гордый и подлый. Я невольно оглянулся и почувствовалъ себя неловко, — на мнѣ лежалъ тяжелый, упорный взглядъ наглыхъ, стеклянныхъ глазъ.

Я скоро ушелъ съ вечера. На лѣстницѣ догналъ меня знакомый мелкій золотопромышленникъ, исконный сибирякъ.

— Нѣтъ, какъ вамъ это нравится? — кричалъ онъ мнѣ еще сверху.—Вѣдь лѣзетъ, нахалъ!.. „Давно имѣлъ желаніе...“—передразнилъ онъ.—Да мы-то не имѣемъ никакого желанія. Вѣдь знаетъ, мерзавецъ, а лѣзетъ...

— Да вы подумайте,—попробовалъ я заступиться за Мещеринова, — каково ему было внизу-то сидѣть въ пустомъ номерѣ, когда вы надъ головой его бѣситесь. Вы лучше разскажите про Мещеринова.

— А вотъ заѣдемте ко мнѣ, если у васъ есть время.

Я согласился. Маленькій иноходецъ быстро домчалъ насъ.

— Дѣло-то его вы знаете, — заговорилъ мой знакомый, когда мы усѣлись въ его чистенькомъ свѣтломъ домикѣ.—Пріѣхалъ онъ молодой, изъ себя красавецъ,—не такой облѣзлый,—просто картина! Одежа питерская, лощеная. По-французски, по-нѣмецки, по-всякому... Сейчасъ къ чиновникамъ, которые изъ россійскихъ. Письма привезъ. А тѣ и рады. „Тетка-то у него, говорятъ, вонъ какая! А двоюродный братъ-то вонъ кто!..“ А одинъ чиновникъ еще при дядѣ его въ Питерѣ маленькимъ человѣчкомъ, въ родѣ старшаго помощника младшаго кучера, состоялъ. У насъ-то онъ ужъ и не маленькій человѣкъ былъ. Такъ тотъ, какъ про фамилію услыхалъ, мундиръ надѣлъ да съ ви-

зитомъ. „Не родственникъ ли будете?“... Какъ же не родственникъ?—въ перепискѣ... А дядя-то отъ него давно и отказался ужъ, — прибавилъ разсказчикъ.— Про дамъ ихнихъ и говорить нечего, — помилуйте, ловкачъ такой! „Молодой человѣкъ, говорятъ, хорошей фамиліи“... У васъ вѣдь на это льстятся. Да узнали еще, что дуэль онъ имѣлъ въ молодости, — ну, ужъ тутъ и говорить нечего. У васъ вѣдь въ Россіи ежели человѣка по-парадному, да съ хорошо обдуманнымъ намѣреніемъ убить, такъ въ родѣ какъ доблесть оказать. Это вѣдь не то, что два варнака поругаются, да другъ дружку ножомъ пырнутъ, а?

Мой знакомый былъ ярый сибирскій патріотъ и любилъ подпускать шпильки по адресу Россіи.

— „Господинъ Мещериновъ, пожалуйте на чашку чаю!“—передразнивалъ онъ.—„Евгеній Александровичъ, повинтить!“ „Мосье Мещериновъ, мы спектакль устраиваемъ,—помогите!“ А онъ ходокъ былъ, на всѣ руки. И деньжонки сначала-то имѣлъ, — пошвыривалъ: то пикникъ на тройкахъ съ дамами и шампанскимъ, то холостой картежный вечеръ у себя устроитъ, охолоститъ дураковъ-то, да на ихъ же деньги ужинъ закатитъ, и опять съ шампанскимъ. Къ намъ сунулся — къ тому, другому. „Сойтись, — говоритъ,—желаю съ мѣстнымъ обществомъ“. Помалкиваютъ, — къ себѣ не зовутъ и визитовъ не отдаютъ; хорошей-то фамиліей насъ не удивишь: въ тайгѣ и теперь вонъ польскій графъ— отъ королей родъ-то ведетъ — въ конюхахъ служитъ. Тоже мошенникъ всеестественный, только въ лошадяхъ толкъ понимаетъ. До дуэлей мы, по нашему необразованію, еще не дошли, языковъ не знаемъ, а вотъ россійскихъ мошенниковъ такъ очень хорошо понимаемъ и съ какими хочешь фамиліями!... Повертѣлся, повертѣлся около насъ—и отсталъ.

Мой знакомый вдругъ громко разсмѣялся.

— У васъ вѣдь въ Россіи думаютъ: залетитъ этакій орелъ въ Сибирь, — сейчасъ сибирскихъ воронъ оплететъ! Не житье имъ, молъ, въ Сибири, а масленица. Такъ вѣдь?

Я долженъ былъ сознаться, что самъ думалъ приблизительно такъ.

— Ну, а я вамъ вотъ что скажу, - уже серьезно заговорилъ онъ: —въ прошломъ году въ клубѣ,—не въ нашемъ, впрочемъ, городѣ,—вотъ какой случай вышелъ. Знаете этого... — Онъ назвалъ фамилію извѣстнаго богача, уголовнаго ссыльнаго. — Такъ вотъ тоже чиновники привели его въ клубъ на членскій вечеръ играть въ карты *). Увидѣли его старшины и предложили тѣмъ, кто привелъ, увести его. Скандалъ огромный вышелъ! Чиновники распѣтушились: „это, говорятъ, не поселюга какая, а Терентій Егорычъ...“ А ужъ сколько этотъ Терентій Егорычъ насъ обихаживалъ, — жертвовать на что-то собирался. У васъ вотъ мужика считается неприличнымъ въ гостиную пустить, а у насъ— уголовнаго ссыльнаго. Такой поселенецъ, какъ Мещериновъ, долженъ долго -- ой, какъ долго! — прожить, чтобы къ нему присмотрѣлись и убѣдились, что путный. Ну, тогда, конечно, другой разговоръ. Такіе и женятся, и хорошими людьми выходятъ, только рѣдко.

— Ну, а дальше?

— Это вы про Мещеринова-то?... Да что же дальше? Чиновники кто поразъѣхался, — не заживаются они у насъ долго-то, — кто на своихъ бокахъ Мещеринова узналъ,—отстали отъ него. Да и деньжонки вышли. Теперь онъ у Степана Лукьяныча всѣ судебныя дѣла

*) По уставу сибирскихъ клубовъ, лишенные правъ не могутъ быть членами клуба и гостями, а слѣдовательно и посѣщать членскіе танцовальные и простые карточные вечера.

ведетъ, получаетъ отъ него номеръ въ гостиницѣ и столъ, а деньгами—смотря по усердію.

Онъ замолчалъ. Предо мной встало когда-то прекрасное, теперь испитое, преждевременно состарившееся лицо Мещеринова, и я невольно выговорилъ:

— А мнѣ все-таки жаль его.

— Жаль!—раздраженно и сердито заговорилъ мой знакомый. — Вамъ легко жалѣть, — поживете здѣсь и уѣдете къ себѣ въ Россію, а они у насъ вотъ гдѣ сидятъ!..—Онъ показалъ себѣ на шею.

— ...Вѣдь онъ какія штуки выдѣлываетъ! Со мной вотъ было,—спокойнѣе заговорилъ онъ:—судились мы съ Зимныхъ,—видѣли, старичекъ въ углу сидѣлъ?—долго судились изъ-за пріиска. Вотъ Мещериновъ и пріѣзжаетъ разъ ко мнѣ. „Я вамъ, говоритъ, документы привезъ, давайте пять сотенныхъ, пріискъ вашъ". Показываетъ... Зимныхъ — простодушный человѣкъ, Мещериновъ и научилъ его документъ такой сдѣлать. Долго разсказывать, въ чемъ тутъ дѣло, — въ родѣ подлога, прямо уголовщина... Я инда испугался. Къ Зимныхъ... „Ну, говорю, Кирилычъ, дѣло кончать надо,—вотъ, говорю, какой между нами человѣкъ всталъ!.." Въ два слова кончили. А Зимныхъ все-таки сто рублей за документъ-то заплатилъ.

— ...Жалко, жалко!... — снова раздраженно заговорилъ хозяинъ.—Тоже всякаго подлеца жалѣть... Вы вотъ послушайте, что онъ на-дняхъ устроилъ,—весь городъ возмутился... Надо вамъ сказать, что у насъ, не какъ въ Россіи, евреевъ любятъ. Народъ по-нашему хорошій, живемъ мы съ ними въ мирѣ, не ссоримся. Посылаетъ Мещериновъ за Перцевымъ — знаете? — и показываетъ статью: „Вотъ, говоритъ, посылаю въ редакцію, не знаю, ладно ли написана,—послушайте-ка". А статья-то про евреевъ, что вотъ, молъ, они то и

другое, винныя заведенія и прочее; а извѣстно, евреи всегда подъ закономъ ходятъ и всегда объ нихъ написать можно. „Ну какъ, говоритъ, нравится ли?“

Тотъ прослушалъ.

— Сколько?—говоритъ.

— Триста цѣлковыхъ.

...Задумался Перцевъ,—деньги большія,—да и соображаетъ, неужели такую пакость въ газетахъ печатать будутъ? А тотъ словно знаетъ о чемъ онъ думаетъ,—смѣется. „У меня, говоритъ, въ газетѣ-то все пріятели,—напиши я, что вы христіанскаго мальчика зарѣзали и на Пасху подъ соусомъ съѣли, и то напечатаютъ“. На двухъ стахъ сошлись.

— Ахъ, варнаки, варнаки!—Мой собесѣдникъ сердито зашагалъ по комнатѣ.—Вѣдь если вамъ разсказать, сколько они въ Сибири зла дѣлаютъ... Вы посмотрите въ деревню: волостной писарь—поселенецъ, письмоводитель у засѣдателя—поселенецъ... Загляните въ полицію: все поселенцы и поселенцы,—обманываютъ, пакостятъ, подбиваютъ на кляузы... И скоро ли вы перестанете свои помои-то на нашу улицу выливать?

На томъ и закончился нашъ разговоръ.

II.

Мещериновъ угощаетъ своихъ интимныхъ знакомыхъ. Къ нему пріѣхалъ гость—полковникъ, также уголовный ссыльный. Высокій, костистый, съ крупнымъ бритымъ подбородкомъ и сѣдоватыми нависшими бровями, молчаливая и суровая фигура, полковникъ былъ бы очень представителенъ, если бы не портило волчье выраженіе, которое принимало его лицо всякій разъ, когда онъ открывалъ ротъ и рѣдкіе большіе зубы съ гнилыми клыками выставлялъ изъ-подъ коротко под-

стриженныхъ, прямыхъ и жесткихъ усовъ. Это ссыльный особаго типа. Человѣкъ съ большими средствами, онъ, несмотря на недавнее пребываніе въ Сибири, успѣлъ завязать дѣловыя связи и теперь пріѣхалъ въ Тайгинскъ, въ качествѣ агента крупной торговой фирмы, устраивать компанію для аренды большой казенной дачи, гдѣ оказались желѣзная руда и каменный уголь.

Мещериновъ только что выигралъ большое дѣло, получилъ съ своего патрона порядочныя деньги и даетъ обѣдъ въ честь гостя въ интимномъ кружкѣ. Кромѣ нихъ, въ комнатѣ еще двое.

„Панъ", какъ его называютъ всѣ въ городѣ,—толстый, неподвижный господинъ, лѣтъ подъ шестьдесятъ, съ совершенно голымъ, блестящимъ черепомъ и огромными сѣдыми усами, пожелтѣвшими отъ табачнаго дыма на углахъ рта и спускавшимися далеко внизъ по отвислымъ щекамъ до засаленныхъ лацкановъ толстаго пиджака. У пана особенные глаза. Казалось, владѣлецъ ихъ разъ навсегда наѣлся до того, что глаза не могутъ ворочаться и потеряли возможность выражать какія-либо ощущенія, кромѣ чувства трудно совершающагося пищеваренія. Эти круглые, неподвижные и мутные глаза нѣсколько оживлялись только тогда, когда онъ ѣлъ, говорилъ или думалъ про ѣду. Въ общемъ это было необыкновенно гордое и столь же глупое лицо стараго пана. Онъ изъѣздилъ всю Европу и могъ подробнѣйшимъ образомъ разсказать, что подается самаго лучшаго за табль-д'отами Вѣны и Берлина, Парижа и Лондона, Ниццы и Неаполя,—единственныя, впрочемъ, свѣдѣнія, вывезенныя имъ изъ своихъ неоднократныхъ поѣздокъ. Могъ долго и даже съ нѣкоторымъ оживленіемъ разсказывать, какъ лаццарони ѣдятъ макароны, какъ продается ростбифъ въ

Англіи; но кончалась съѣстная тема—и лицо снова принимало свое обычное глупое и равнодушное выраженіе. Онъ проѣлъ, буквально проѣлъ, такъ какъ никогда не былъ любителемъ вина, нѣсколько имѣній на огромную сумму, а когда своихъ не хватило, проѣлъ имѣніе своихъ племянниковъ, опекуномъ которыхъ онъ состоялъ, за что и былъ сосланъ съ лишеніемъ правъ.

Теперь панъ живетъ на 30 р. въ мѣсяцъ, которые присылаетъ ему братъ—важный петербургскій сановникъ. Ѣда поглощаетъ все время и почти всѣ деньги его, такъ какъ живетъ онъ въ маленькой комнаткѣ, давно отказался отъ галстуковъ и чистаго бѣлья и лѣто и зиму ходитъ въ одномъ и томъ же засаленномъ, гороховаго цвѣта, пиджакѣ. Ѣстъ онъ съ какой-то неутолимою жадностью, и ѣстъ все, что попадется подъ руку, то-есть, на что хватаетъ денегъ: и красную икру, что продается по 15 коп. за фунтъ, и максуна съ душкомъ.

Другое лицо — бывшій предводитель дворянства одной изъ южныхъ губерній, кругленькій человѣкъ съ розовыми щеками, великолѣпными сѣдыми баками и маленькими, масляными, жмурящимися, какъ у кота, глазами. Онъ любитъ узенькіе штаны и коротенькіе, обтянутые пиджачки, имѣетъ палку съ кукишемъ и на часахъ брелокъ съ соблазнительною картинкой, которую онъ любитъ разсматривать, когда сидитъ одинъ въ своей комнаткѣ, и показываетъ только достойнымъ и понимающимъ людямъ. Когда-то предводитель гремѣлъ на цѣлую губернію своими обѣдами, но запутался по одному дѣлу съ Мещериновымъ и пошелъ съ нимъ въ Сибирь. Впрочемъ, несмотря на всѣ превратности судьбы, онъ успѣлъ сохранить невозмутимую ясность духа, и въ лѣтніе праздничные вечера, когда музыка играетъ на городскомъ бульварѣ, его всегда

можно видѣть въ кургузомъ пиджачкѣ и въ узенькихъ брючкахъ, съ его палкой и брелоками и розовыми щеками, съ моноклемъ въ глазу, весело насвистывающимъ аріи изъ оперетокъ и заглядывающимъ подъ шляпки дамъ. Его жизнь была бы полна и вполнѣ счастлива, если бъ онъ менѣе боялся Мещеринова, при которомъ онъ состоялъ чѣмъ-то въ родѣ помощника присяжнаго повѣреннаго, и если бы Мещериновъ не такъ скупо снабжалъ его пятишницами и трешницами. Звали его Валерьянъ Михайловичъ.

Большой пустой номеръ Мещеринова прибранъ. Обѣденный столъ, присланный хозяиномъ гостиницы изъ своей квартиры, накрытъ почти чистою скатертью. Красивыя, разноцвѣтныя бутылки, накрытый на 4 куверта столъ, отдѣльный столикъ въ углу, гдѣ водка и закуска, — ничего сибирскаго, — омары, страсбургскій пирогъ, какая-то рыба въ большой жестянкѣ — все это такъ странно и необычно выглядитъ въ темномъ, пустынномъ номерѣ Мещеринова.

Обстановка ли эта, рѣдкость ли такихъ праздниковъ, или присутствіе гостя, новаго человѣка, настраиваютъ всѣхъ важно и торжественно. Черный, наглухо застегнутый, сюртукъ красиво сидитъ на высокой крупной фигурѣ полковника; на предводителѣ даже бѣлый галстукъ, и сѣдыя баки безукоризненно расчесаны.

Даже Мещериновъ выглядитъ менѣе блѣднымъ и весело, оживленно разговариваетъ съ полковникомъ.

— Че-а-экъ, чистую салфетку! — говоритъ полковникъ, усаживаясь за столъ.

Стоящій у двери Спирька, очевидно, также проникается важностью момента. Эта обстановка, эти барскія ноты, этотъ „че-а-экъ“, почти забытый имъ и его господами, отнимаютъ у него память о томъ, что онъ—товарищъ ихъ, также сосланный за „качества“, какъ выра-

жаются арестанты, и даже за такія же, какъ и его господа, что они прошли одни и тѣ же тюрьмы и этапы,—заставляютъ забыть обычныя интимно-фамильярныя отношенія съ предводителемъ, рубли и полтинники, которыми онъ кредитуетъ пана, а иногда и самого Мещеринова,—Спирька сознаетъ себя „че-а-экомъ". И, какъ хорошая верховая лошадь сразу чувствуетъ на своей спинѣ настоящаго всадника, такъ лакей-Спирька сразу чувствуетъ въ полковникѣ настоящаго барина и особенно элегантно выгибаетъ спину и раздвигаетъ локти, когда служитъ ему.

Молча пьютъ и молча ѣдятъ первое блюдо. На столѣ появляется большая нельма, красиво гарнированная. Панъ не можетъ сохранить должнаго спокойствія, — трясущимися руками отдѣляетъ онъ себѣ огромный кусокъ лучшей части и начинаетъ ѣсть. При этомъ его губы выворачиваются,—большія, мясистыя, ноздреватыя, какъ губка; панъ всхлипываетъ, какъ-то странно присвистываетъ и обливаетъ соусомъ свои усы и жирный, лоснящійся подбородокъ. Послѣ нельмы и рейнвейна языки развязываются. Говорятъ про то, что составляетъ интимную, излюбленную тему кружка, когда онъ собирается вмѣстѣ, — про „челдона", какъ онъ не умѣетъ жить, какъ не умѣетъ ѣсть, какое онъ дикое, нецивилизованное животное.

— Знаете, полковникъ, самъ видѣлъ, — говоритъ предводитель съ порозовѣвшими болѣе обыкновеннаго щеками и сузившимися влажными глазами.—Возьметъ онъ изъ невода тугуна,—этакая маленькая рыбка (поясняетъ предводитель),—да такъ прямо живого и жуетъ, а тугунъ-то хвостомъ въ губахъ виляетъ....—Предводитель помахалъ пальцемъ предъ своимъ ртомъ, изображая, какъ виляетъ хвостомъ тугунъ.—Тоже стерлядь: отъ живой отрѣжетъ бокъ, обмакнетъ въ соль, да и

въ ротъ. Не мужикъ какой-нибудь,—образованный человѣкъ... Да-съ, а-а-бразованный!..

Предводитель заливается смѣхомъ и подбавляетъ въ свой стаканъ рейнвейну. Панъ управился съ нельмой и считаетъ нужнымъ вступиться за Сибирь.

— Вы зажарьте его, тугуна, безъ масла, въ собственномъ соку, — это блюдо! — Панъ оживляется.—Тугунъ это... это сардинка! Нѣтъ, въ Сибири... вы не пробовали, полковникъ, ростбифъ изъ сохатаго?

Полковникъ отрицательно машетъ головой.

— Не думаю, чтобъ это было вкусно,—замѣчаетъ онъ.

— Не-е-е думаете?

Панъ круто поворачивается на стулѣ, строго смотритъ на полковника и рѣшительно произноситъ:

— Вымачивайте его сутки въ молокѣ. Жарьте въ сметанѣ. Будетъ доходить, — облейте мадерой. Дайте ему немного вспотѣть въ мадерѣ... Пусть вздохнетъ только...

Смягчившійся было отъ созерцанія ростбифа, панъ снова дѣлается строгимъ, даже суровымъ.

— Тогда вы не будете не думать, полковникъ! Смѣю васъ увѣрить, полковникъ, не будете...

Панъ снова круто поворачивается на своемъ стулѣ.

Потомъ стали разспрашивать полковника о Россіи, объ общихъ знакомыхъ, стали вспоминать прошлое. Предводитель началъ разсказывать, какой у него былъ конскій заводъ и какъ ему давали пять тысячъ рублей за одного рысака, на которомъ онъ цѣлую станцію ѣхалъ рядомъ съ курьерскимъ поѣздомъ и обогналъ поѣздъ.

— Ну, Валерьянъ Михайлычъ, ты ужъ врать началъ!—сердито остановилъ его Мещериновъ.

— Вы моихъ лошадей не видали, а говорите: „врать!“—съ досадой отвѣчаетъ предводитель. Тѣмъ

не менѣе, онъ не продолжаетъ разсказа, съ неудовольствіемъ отворачивается и начинаетъ медленно прихлебывать ликеръ изъ маленькой рюмки. По мѣрѣ того, какъ онъ смакуетъ ликеръ, критически разсматривая рюмку на свѣтъ, его лицо постепенно проясняется, и мысли, очевидно, принимаютъ веселое направленіе. Онъ перегибается черезъ столъ и полушопотомъ говоритъ:

— Викентій Игнатьичъ! видѣли вы тутъ—шельмочка одна, вдова еще?..

Панъ поднимаетъ тяжелыя вѣки, пристально, своими круглыми глазами, смотритъ на предводителя и строго и укоризненно произноситъ:

— Вы говорите: тугунъ?

— Спите, батюшка, спите!—съ досадой машетъ на него рукой предводитель.—Экъ васъ разсиропило,—говоритъ онъ, съ любопытствомъ разсматривая покойное лицо пана, мирно сложившаго руки на животѣ и снова опустившаго вѣки.—Спирька!

Спирька только что стащилъ со стола недопитую бутылку мадеры и сконфузился было; но по тому, какъ предводитель подмигнулъ, онъ сразу успокоился и даже фамильярно облокотился на предводительскій стулъ, держа за спиной въ другой рукѣ свою бутылку.

— Былъ-съ,—быстро шепчетъ онъ.—На мази дѣло. „Мы, говоритъ, про Валерьянъ Михалыча довольно извѣстны. Я, говоритъ, благороднаго человѣка завсегда почитаю,—нечѣмъ, гритъ, челдонъ. Только, гритъ, и вы соотвѣтствуйте...“

Предводитель киваетъ головой, потягивается и сладко жмурится, какъ котъ, только что съѣвшій очень вкусную мышь.

Мещериновъ, поблѣднѣвшій отъ выпитаго вина, съ холодными блестящими глазами, оживленно разговари-

ваетъ съ полковникомъ. Онъ соглашается уговорить своего патрона вложить въ предпріятіе полковника крупную сумму, но ставитъ тяжелыя условія и хочетъ играть въ дѣлѣ активную роль. Полковникъ упирается. Спирька напрасно навастриваетъ уши,—разговоръ идетъ по-французски. А Спиркѣ очень любопытно.

— Опять нашъ-то фортель задумалъ, —соображаетъ онъ, знающій всѣ фортели Мещеринова. И онъ критически осматриваетъ собесѣдниковъ.

— Нашъ-то ловокъ, да и тотъ, должно, зубастый,— приходитъ къ заключенію Спирька, разсматривая молчаливую, суровую фигуру полковника.

— Вѣдь вы своихъ денегъ не вложили въ дѣло,— говоритъ Мещериновъ.—Вѣдь деньги этого,—онъ называетъ фамилію молодого купца въ томъ городѣ, гдѣ жилъ полковникъ, получившаго огромное наслѣдство и бросавшаго деньги направо и налѣво.

Полковникъ удивленно смотритъ на Мещеринова.

— И вашъ торговый домъ,—невозмутимо продолжаетъ тотъ,—тоже ни копейки не далъ, да и не дастъ, пока не убѣдятся, что предпріятіе—не мыльный пузырь...

Полковникъ, несмотря на свою сдержанность, шумно отодвигаетъ свой стулъ и съ полнымъ недоумѣніемъ смотритъ на своего собесѣдника.

— Откуда вы это знаете?—невольно вырывается у него.

Злая улыбка бродитъ на губахъ Мещеринова.

— Писали мнѣ о васъ...—уклончиво говоритъ онъ.

Полковникъ молчалъ и не продолжалъ разговора.

— Господа, а вѣдь сегодня маскарадъ,—заявляетъ предводитель.

— Въ Тайгинскѣ маскарадъ?—удивляется полковникъ.—Стоитъ идти?—спрашиваетъ онъ Мещеринова.

— Пожалуй,—нехотя говоритъ онъ.—Сразу всѣхъ монстровъ увидите.

Подаютъ самоваръ. Струя ласковаго, говорливаго смѣха врывается съ нимъ въ комнату, и мутный кофе, сдобренный коньякомъ, оживляетъ общество.

Что за дѣло, что лампа чадитъ, толстый слой льда покрываетъ оконныя стекла, грязные обои шевелятся на стѣнахъ отъ вѣтра, что буранъ стучитъ въ окна и напоминаетъ о сибирскомъ морозѣ, и холодъ, и сырость, и какая-то особенная пустота въ воздухѣ,—что за дѣло! Тутъ французскій языкъ и свое общество, ликеры и сигары, и рѣдкія вѣсти съ далекой родины—уголокъ прошлаго, картина давно минувшаго. Въ синихъ кольцахъ сигарнаго дыма развиваются воспоминанія о далекихъ мѣстахъ, встаютъ образы и картины того, что было и чего нѣтъ теперь, и безъ чего жизнь не въ жизнь, радость не въ радость этимъ четыремъ людямъ, сидящимъ въ убогой гостиницѣ дальняго сибирскаго городка.

Вѣроятно, оттого мягко и тепло звучатъ голоса и даже на злобное лицо Мещеринова легло какое-то умягченное, почти мирное выраженіе.

МАСКАРАДЪ ВЪ ТАЙГИНСКѢ.

I.

Маскарадъ удался какъ нельзя больше. Продано 700 входныхъ билетовъ—огромная сумма для маленькаго Тайгинска. Тутъ, впрочемъ, не одинъ городъ, — въ маскарадѣ собрались чуть не всѣ золотопромышленники, ихъ управляющіе, служащіе. Они задаютъ тонъ, они—цари вечера.

Широко и вольно пируетъ тайга *), вознаграждая себя за полугодовое сидѣнье въ темныхъ, сырыхъ долинахъ, среди лѣсистыхъ угрюмыхъ горъ за свою бѣшеную работу, за лихорадочную, вѣчно напряженную жизнь. Въ эту зиму имъ есть особенная причина веселиться.

Полуимперіалъ — 10 рублей, а слухи о войнѣ все настойчивѣе, и золото все лѣзетъ вверхъ. Первый выстрѣлъ за Варшавой дастъ имъ полтинникъ, а быть можетъ, и весь рубль на золотникъ...

Разнохарактерная гудящая толпа наполнила танцовальную залу и гостиную клуба и ложи, партеръ и сцену театра, помѣщающагося въ томъ же зданіи.

*) Тайгой въ этомъ смыслѣ называется система золотыхъ пріисковъ. Говорятъ: „сѣверная тайга“, „южная тайга“.

Острое заражающее веселье чувствуется въ смѣющихся, возбужденныхъ лицахъ, въ оригинальныхъ костюмахъ. Вотъ двѣнадцать птичекъ съ длинными картонными носами, въ балахонахъ, обсыпанныхъ перьями и развѣвающихся, какъ крылья, словно пугливая птичья стая, съ птичьимъ крикомъ и шумомъ врываются въ залу, расталкивая толпу и спасаясь отъ преслѣдованія тунгуса, натягивающаго стрѣлу на тугой тетивѣ тунгусскаго лука. Тутъ и остякъ, и юракъ, для своего и общаго удовольствія парящіеся въ мѣховыхъ инородческихъ костюмахъ. Китаянки въ настоящихъ китайскихъ костюмахъ, татарки, бурятки, цыганки, почи и зимы—идутъ въ пестрой толпѣ. Вотъ извѣстный всему городу и всѣмъ пріискамъ девятипудовой золотопромышленникъ, всегда играющій роль Голіаѳа въ живыхъ картинахъ, одѣтый кормилицей въ кокошникѣ, бусахъ и сарафанѣ, и, поднимаясь цѣлою головой надъ толпою въ семьсотъ человѣкъ, жеманясь проходитъ подъ руку съ кавалеромъ, чуть-чуть не доросшимъ до локтя своей дамы. Толпа золотопромышленниковъ съ хохотомъ и шутками провожаетъ пару чрезъ весь клубъ вплоть до буфета.

А въ углу цѣлое представленіе. Толпа масокъ, одѣтыхъ пріисковыми рабочими — въ бродняхъ *) и азямахъ, съ бобровыми шапками на головахъ, обступила милліонера-золопромышленника и проситъ поднести ей порцію **). Маски убѣждаютъ его, а равно собравшуюся кругомъ публику, что онъ заморилъ ихъ въ работѣ, что они цѣлыми днями стоятъ по колѣно въ водѣ и что отъ хозяйской тухлой солонины и гнилыхъ сухарей у нихъ животы подвело.

*) Сибирская обувь.

**) „Порція“—извѣстное количество спирта, выдаваемаго рабочимъ на пріискахъ.

Изъ публики, расталкивая рабочихъ, подходитъ мундирный человѣкъ съ мишурными эполетами, изображающій горнаго исправника.

— А пашпорты есть? — свирѣпо набрасывается онъ на рабочихъ. Онъ тотчасъ же, впрочемъ, переходитъ въ примирительный тонъ и соглашается, что „порцію“ поднести слѣдуетъ, такъ какъ и работа бываетъ „сверхъ положенія“, и мясо „припахиваетъ“, и мука „не вполнѣ правильная“.

Вмѣшивается публика, присоединяя свой голосъ за поднесеніе порціи, и вся толпа съ золотопромышленникомъ и исправникомъ во главѣ направляется въ буфетъ.

Обличительная нотка, присущая Сибири, носится въ воздухѣ. Вотъ снуетъ въ толпѣ юркая женская фигура почтальона, раздающаго письма по адресу. Надъ письмами хохочутъ, нѣкоторые сердятся, кое-кто бросается ловить почтальона, но юркій человѣчекъ исчезаетъ, а вниманіе публики отвлекается въ другую сторону. Въ толпѣ медленно двигается, постоянно останавливаемая, бумажная фигура, вся исписанная прозрачными, часто злыми объявленіями: „Ищутъ компаньона для сухой промывки золота“ *), гласитъ одно объявленіе. „Дешево продаются подержанныя мысли и почти новыя остроты“,—слѣдуетъ прозрачный адресъ. „Пропала совѣсть,—гласитъ третье объявленіе,—темная, небольшого роста, смирная,—просятъ возвратить въ сѣверную тайгу. Вознагражденія не будетъ“.

На спинѣ написано крупными буквами: „Въ городѣ Тайгинскѣ открывается литературное и юридическое бюро. Принимаются заказы на шантажъ, подлоги, кляуз-

*) „Сухою промывкой“ называется запрещенная закономъ скупка золота. Золото записывается въ книги, какъ выработанное на своемъ пріискѣ.

ныя и ябедныя дѣла и проч. Цѣны умѣренныя и не умѣренныя, съ запросомъ".

Были сенсаціонныя телеграммы,—одно извѣстіе даже политическаго характера: „На-дняхъ король Миланъ *) прислалъ Хворостину телеграмму,—просится въ винокуры на мѣсто Самуила Самсоныча. Спиридонъ Михайловичъ сомнѣвается..."

Вокругъ ходячей газеты толпа, читающая и комментирующая объявленія.

— Мысли! Мало подержанныя мысли! Кому надо мыслей?—обращается къ толпѣ Мефистофель, сопровождающій бумажную фигуру.

— По какому случаю дебошъ?—изъ толпы снова выступаетъ все тотъ же мундирный человѣкъ.—Гдѣ Мамрецовъ? Таш-шы!

— Да вѣдь подержанныя, ваше благородіе!—смиренно оправдывается Мефистофель.—Сами изволите вѣдать, какія у насъ мысли... такъ себѣ, плохонькія... для-ради обихода...

— Не допуш-шай!—сердится мундирный человѣкъ, но тотчасъ смягчается.—Развѣ что подержанныя... Ты у меня смотри!—грозитъ онъ Мефистофелю пальцемъ и потомъ киваетъ головой по направленію къ буфету!—Будетъ?

— Само собой...—отвѣчаетъ Мефистофель.— По положенію... Кто у васъ совѣсть потерялъ?—останавливаетъ онъ группу золотопромышленниковъ.

— Кумъ, не твоя ли?—отзывается одинъ изъ нихъ.—Коли что—лови!

— Охота тебѣ, парень, съ барахломъ-то путаться!—

---

*) Въ то время въ газеты въ первый разъ проникло извѣстіе, что Миланъ отказывается отъ престола. Хворостинъ — владѣлецъ винокуреннаго завода.

смѣется другой.—А еще чортъ, по людямъ совѣсть разыскиваешь!..

А звуки „Невозвратнаго“ вальса—грустные, тоскующіе—рѣзкимъ диссонансомъ врываются въ толпу и потому, быть можетъ, такъ странно увлекаютъ, возбуждаютъ ее. Они куда-то зовутъ, говорятъ о чемъ-то, чего нѣтъ въ этой, полной силы и здоровья, смѣющейся, скептической толпѣ.

Въ центрѣ маленькаго оркестра сидитъ и играетъ на віолончели старикъ-еврей съ длинною и волнистою, какъ рисуютъ Авраама, бѣлою, какъ снѣгъ, бородою. Рядомъ съ нимъ вторая скрипка, его старшій сынъ. Впереди оркестра играетъ первую скрипку и дирижируетъ его младшій сынъ, съ блѣднымъ и чахоточнымъ лицомъ. Онъ только что вернулся изъ петербургской консерваторіи, которую оставилъ по болѣзни, и привезъ съ собой, какъ новинку, „Невозвратный“ вальсъ. Большіе, печальные глаза пристально всматриваются въ толпу, и грустный вальсъ какою-то особенною жалобой звучитъ подъ еврейскимъ смычкомъ.

— Вы знаете, какія слова на этотъ вальсъ?

— Я не знаю, чьи они,—говоритъ господинъ въ черномъ сюртукѣ своей дамѣ:—„Неужели все забывается, неужели всѣ утѣшаются...“

Молодая женщина вздрагиваетъ и широко открываетъ свои испуганные глаза.

— А дальше?—спрашиваетъ она.

— Дальше?...—Дальше идутъ глупости: „другъ вѣрный, счастье вѣчное...“

Пара проходитъ дальше. Время отъ времени дама пожимается, какъ отъ холода, и тихо шепчетъ про себя: „Неужели все забывается, неужели всѣ утѣшаются...“

Вотъ протяжно вздохнула первая скрипка, и крикливые пьяные звуки „камаринскаго“, звеня и гремя

прыгая и расталкивая толпу, понеслись по залѣ, разлетѣлись по всему зданію клуба и потянули къ себѣ толпу изъ буфета, изъ-за карточныхъ столовъ. Въ раздавшемся кругѣ танцуютъ двое замаскированныхъ русскими: кавалеръ—въ поддевкѣ, сапогахъ бураками и съ приклеепною бородой-лопатой, дама—въ сарафанѣ и кокошникѣ. Кругъ раздается все шире, является другая пара танцующихъ, третья. Входитъ остякъ и топчется на мѣстѣ, мѣрно раскачиваясь въ тактъ „камаринскаго". Шумные апплодисменты громомъ стоятъ въ залѣ.

Такіе же апплодисменты и такая же толпа въ партерѣ: тамъ четверо замаскированныхъ евреями, присѣдая и хлопая въ ладоши, танцуютъ еврейскій танецъ.

И опять тоскуетъ первая скрипка, опять грустный вальсъ носится надъ веселою, возбужденною толпой, какъ печальная пѣсня на веселомъ пиру, какъ ссыльное русское горе въ сибирской жизни...

Жарко и душно становится въ тѣсномъ помѣщеніи, тускло горятъ огни, громче звучатъ разговоры, разгораются снявшія маски, оживленныя, смѣющіяся лица. Клубы дыма, звонъ стакановъ, рѣзкіе взрывы хохота вырываются изъ буфета. Тамъ составилось пари. Сухой, жилистый золотопромышленникъ взялся выпить въ продолженіе двухъ часовъ 70 рюмокъ водки,—настоящихъ клубскихъ рюмокъ, приспособленныхъ для сибирскаго горла. Онъ допиваетъ послѣднія рюмки и не пьянъ, только суровое лицо сдѣлалось добрѣе, да покраснѣла шея до самыхъ волосъ. Большая толпа участниковъ пари внимательно слѣдитъ за количествомъ выпитыхъ имъ рюмокъ *).

*) Къ слову сказать, я не помню скандаловъ въ сибирскихъ клубахъ, какіе сплошь и рядомъ бываютъ въ нашихъ провинціальныхъ клубахъ. Думаю, значительную роль въ этомъ случаѣ

Такая же толпа около одного изъ карточныхъ столовъ, гдѣ устроился крупный даже для Сибири винтъ „по пятачку“.

II.

Въ дверяхъ танцовальной залы стоятъ „уголовные дворяне“, рѣзко выдѣляясь съ своими усталыми лицами и тусклыми глазами на фонѣ этой разнокалиберной оживленной толпы. Мещериновъ прочиталъ объявленіе о бюро,—бумажная фигура долго стояла оборотившись къ нему спиной,—и злобными глазами, презрительно и вызывающе-нагло смотритъ на толпу. Онъ умышленно громко сообщаетъ полковнику краткія біографіи и ѣдкія характеристики проходящихъ мимо тайгинскихъ тузовъ, иронизируетъ надъ стрижеными, не модно одѣтыми, не умѣющими кокетничать барышнями, надъ кавалерами, танцующими вальсъ въ сѣрыхъ пиджакахъ, надъ вульгарнымъ тономъ маскарада.

— Сегодня tout Paris въ маскарадѣ. Всѣ горничныя и кухарки... Вѣроятно, и мой Спирька здѣсь отличается, — говоритъ онъ полковнику. — Нашъ jeune premier,—указываетъ онъ на дирижирующаго телеграфиста,—какъ есть французъ. Обыкновенно у насъ по простотѣ дирижируютъ: „Дамы, въ середку!.. Кавалеры, разбирайте своимъ дамъ!..“

Только при видѣ высокаго старика съ сѣдою, тургеневскаго типа, головой, въ глазахъ Мещеринова снова появляется льстивое, ластящееся выраженіе и губы складываются въ любезную улыбку.

— Вотъ этотъ...— коротко шепчетъ онъ полковнику и пожимаетъ протянутые ему два пальца.

играетъ чувство собственнаго достоинства, гораздо болѣе развитое въ Сибири, чѣмъ у насъ въ Россіи.

— Прошу позволенія познакомиться!— громко отчеканиваетъ полковникъ.— У меня есть письмо къ вамъ отъ Василья Михайловича,—онъ называетъ фамилію.

— Василья Михайловича?—удивленно спрашиваетъ высокій старикъ.—Вы знакомы?

— У меня есть дѣла съ нимъ. —Полковникъ говоритъ съ импонирующею серьезностью дѣлового человѣка.—Когда я могу имѣть удовольствіе застать васъ дома?..

Холодные сѣрые глаза расматриваютъ изъ-подъ очковъ солидную фигуру полковника.

— Завтра, въ 9 часовъ утра,—старикъ киваетъ головой и проходитъ въ залу.

„Панъ“ никѣмъ не интересуется и никому не протягиваетъ руки. Словно застывшій, стоитъ онъ съ своимъ гордымъ и глупымъ лицомъ и оловянными, выпученными глазами, важный и сосредоточенный. Панъ переживаетъ важнѣйшія минуты своей жизни, — онъ перевариваетъ.

А гудящая толпа оживленною волной идетъ мимо, прижимая ихъ къ стѣнѣ... Такъ вся сибирская жизнь, сильная и шумная, бѣжитъ мимо этихъ отбросовъ русскаго общества, равнодушная къ ихъ горю и радости, симпатіямъ и антипатіямъ, къ ихъ насмѣшкамъ и ихъ лести...

Только маска-цыганка на минуту останавливается и шепчетъ предводителю: „Паночка, миленькій, что пріунылъ?“ Сонная фигура предводителя встряхивается, онъ выпячиваетъ грудь и раздвигаетъ локти, какъ распускающій хвостъ индѣйскій пѣтухъ, и, семеня ножками, въ своемъ кургузомъ пиджачкѣ, внимательно разсматривая бусы на полной шеѣ цыганки, вмѣшивается въ толпу,

4 часа ночи. Маскарадъ конченъ, клубъ пустъ, огни

потушены. Дымъ и какой-то чадъ синими волнами носится по залѣ. Мутными, желтыми пятнами мигаютъ свѣчи въ одной изъ ложъ, на столѣ запоздалыхъ игроковъ. Только въ маленькой гостиной, гдѣ стоялъ рояль, широкая полоса свѣта тянется черезъ пустую и темную танцовальную залу. Тамъ устроился импровизированный концертъ. Въ небольшомъ кружкѣ, сгруппировавшемся около рояля, видны старики-поляки, есть и молодыя лица, тутъ же и дама съ испуганными глазами. Молодой еврей, дирижировавшій оркестромъ, играетъ на скрипкѣ, ему аккомпанируетъ на роялѣ старая польская дама, высокая и худая, съ сѣдыми, по-старинному зачесанными волосами.

Въ столовой ужинаютъ „уголовные дворяне", сердитые, унылые. Все, что ни подаютъ имъ — гадко и скверно; они швыряютъ тарелки и сердито кричатъ на сонныхъ лакеевъ. Предводитель огорченъ. Маска заставляла его танцовать, водила за собой весь вечеръ и въ концѣ концовъ, на его глазахъ, уѣхала съ одною изъ бобровыхъ шапокъ. Онъ вяло тычетъ вилкой въ поданную ему рыбу и выглядитъ совсѣмъ старикомъ съ своими осовѣлыми глазами, измятыми бакенбардами и потускнѣвшимъ, морщинистымъ лицомъ. Мещериновъ не дотрогивается до своего ужина и рюмку за рюмкой пьетъ коньякъ. Его лицо становится все блѣднѣе и блѣднѣе и огромные выпуклые глаза странно горятъ. Онъ смотритъ въ темную залу и слушаетъ, какъ играютъ полонезъ Огинскаго.

Глухо и жалобно, какъ будто откуда-то издалека, словно воспоминаніе далекаго прошлаго, носятся звуки по опустѣлымъ, затихшимъ комнатамъ. Они говорятъ о томъ свѣтломъ и радостномъ, дорогомъ и миломъ, что было и чего нѣтъ теперь,—говорятъ, что то свѣтлое потемнѣло, а милое потеряно, и нѣтъ къ нему воз-

врата никогда, никогда... Врываются побѣдные звуки марша, какъ вспыхнувшая надежда, какъ ожившая радость; но радость гибнетъ, погасъ побѣдный маршъ— и опять тоскуетъ рояль, снова рыдаетъ скрипка и снова говорятъ они, что надежда напрасна, что то, что было, уже не будетъ, и что прошло, то не воротится, не воротится...

И опять льются звуки. Кто-то жалуется, кто-то молитъ...

И въ холодной, темной душѣ Мещеринова становится еще темнѣе, еще холоднѣе.

Изъ сосѣдней со столовою комнаты мимо уголовныхъ дворянъ проходятъ послѣдніе изъ ужинавшихъ: выигравшій пари господинъ, отрезвившійся отъ выпитаго шампанскаго, и проигравшій, толстый сѣдой золотопромышленникъ, — тотъ самый, который приласкалъ Мещеринова, когда я увидѣлъ его первый разъ. Старикъ совсѣмъ опьянѣлъ и размякъ, и его сердце полно расположенія ко всему міру, и онъ не можетъ пройти мимо, не приласкавши этихъ чужихъ людей— такихъ одинокихъ, унылыхъ.

— Что, панъ, покушалъ? Набилъ пузенцо-то? — ласково и любовно говоритъ онъ, усаживаясь между паномъ и полковникомъ.—Кушай, родимый, кушай!

Отъ избытка чувствъ пьяные глаза наполняются слезами.

— Ты не поѣшь ли еще пельмешковъ, а?.. Не хочешь? Поѣлъ, значитъ? Ну, и слава Царю небесному... А то, можетъ, еще чего? Въ этомъ, братъ, зла никому нѣтъ...

Панъ уже переварилъ и съ своимъ обычнымъ важнымъ и сосредоточеннымъ видомъ запасается матеріаломъ для новаго пищеваренія. Онъ скушалъ пельмени, покушалъ куропатокъ, кончилъ ростбифъ, отъ котораго

отказался Мещериновъ. Теперь онъ доканчиваетъ двойную порцію налимьихъ печенокъ и молчитъ.

— Ну, жуй, жуй!.. — успокаиваетъ его старикъ и обращается къ Мещеринову:

— Чего нахохлился?

Мещериновъ медленно поворачиваетъ голову и останавливаетъ на старикѣ свои неподвижные глаза, видимо не понимая, что ему говорятъ, и отъ этого холоднаго, тяжелаго взгляда старикъ останавливается и умолкаетъ

Онъ обиженъ и нѣкоторое время сидитъ неподвижно и что-то бормочетъ. Онъ даже порывается встать и уйти, но остается, такъ какъ чувствуетъ, что не допилъ и не наговорился съ людьми, какъ слѣдуетъ, по душамъ.

— Что, полковникъ, война будетъ!—говоритъ онъ.— Чай, сосетъ у тебя подъ ложечкой-то...—Онъ подмигиваетъ и толкаетъ полковника въ бокъ.—Зудитъ, а? А ты, парень, не будь жаденъ... Куснулъ малость—и къ сторонѣ, дай другимъ щецъ похлебать...—благодушно и наставительно добавляетъ онъ. — Чать у васъ, въ Россіи, голоднаго да жаднаго-то народа конца краю нѣтъ! Небось ждутъ—не дождутся... Тому—сухарь, тому спиртъ, тому подметка...—Старикъ на минуту останавливается и на лицѣ его появляется дѣловое выраженіе.— А что, полковникъ, взять теперь бомбу... Даетъ она пользу, али нѣтъ?

Насторожившійся полковникъ поднимается съ мѣста, и съ губъ его хочетъ сорваться гнѣвное восклицаніе, но онъ не желаетъ ссориться со старикомъ и въ тонъ ему говоритъ:

— Что бомба!.. Вы вотъ скажите, какъ сухая промывка... Это не вы компаньона-то ищете?

Потное, расплывшееся лицо старика наливается

кровью, онъ грузно поднимается и ударяетъ кулакомъ по столу, отчего рюмки прыгаютъ и звенятъ.

— Кто говоритъ—сухая промывка? Двадцать лѣтъ мою,—вся тайга знаетъ! Сами — подлецы,— думаете, и въ Сибири такіе же, какъ и вы, жиганье? Будьте вы прокляты...

Онъ нахлобучиваетъ свою соболью шапку и, покачиваясь, медленно удаляется изъ столовой.

Мещериновъ срывается съ мѣста, но тотчасъ почти падаетъ на стулъ. Съ нимъ дурно и на побѣлѣвшихъ губахъ выступаетъ кровь. Полковникъ словно застылъ, наклонившись надъ столомъ.

— М-мерзавецъ!..—цѣдятъ его стиснутые зубы.

Медленно двигается, спотыкаясь и увязая въ сугробахъ, высокая, темная фигура по пустымъ улицамъ глубоко спящаго города. Время отъ времени Мещериновъ останавливается, оглядывается кругомъ и къ чему-то прислушивается. Злобными глазами смотритъ съ неба высоко поднявшаяся надъ землей блѣдная, страшная луна; синеватыми огнями смутно мерцаетъ бѣлый тяжелый саванъ Енисея; занесеннымъ снѣгомъ кладбищемъ и, какъ кладбище, пустыннымъ и безмолвнымъ выглядитъ городъ.

Темно и холодно, какъ въ могилѣ, въ душѣ Мещеринова. Онъ страшенъ съ своимъ мертвенно-блѣднымъ лицомъ, огромными безжизненными, какъ-то остановившимися глазами и запекшеюся кровью на посинѣлыхъ губахъ. Пьяный Спирька забылъ истопить печь, и въ номерѣ холодно, какъ на улицѣ. Мещериновъ сидитъ въ шубѣ на своей кровати и тупо смотритъ на колыхающееся пламя свѣчи, на шевелящіеся отъ вѣтра обои на стѣнѣ, на висящій на ней револьверъ. Онъ запрокидываетъ голову и медленно пьетъ водку изъ

бутылки: ее только онъ и могъ найти,—вина допиты Спирькой, вода замерзла въ графинѣ.

Что увидѣлъ онъ въ шевелящихся на стѣнѣ обояхъ? Отчего бутылка выскальзываетъ изъ рукъ и со звономъ падаетъ на полъ, и поднимается онъ съ выраженіемъ ужаса на лицѣ, тотчасъ падаетъ, и снова алая кровь показывается на губахъ? Что это: злобный ли крикъ безсильной ярости, или заглушенный стонъ человѣка, почувствовавшаго, что впереди у него только то, что такъ страшно глянуло ему въ лицо? Что происходитъ въ этомъ бьющемся на постели и глухо хрипящемъ тѣлѣ?

Въ дверяхъ номера показывается испитая, съ всклокоченными волосами, голова Спирьки, проснувшагося отъ звона разбитой бутылки. Спирька долго смотритъ, какъ все тише и тише вздрагиваетъ Мещериновъ.

— Евгеній Александрычъ! — Спирька медленно и осторожно вынимаетъ бумажникъ изъ кармана заснувшаго Мещеринова, суетъ себѣ въ карманъ одну изъ десятирублевыхъ бумажекъ, тихо вкладываетъ бумажникъ обратно въ сюртукъ, гаситъ свѣчку и на цыпочкахъ выходитъ изъ номера.

— Запилъ! Теперь опять на мѣсяцъ...—соображаетъ укладывающійся на своемъ ларѣ Спирька.—Какъ бы еще не померъ,—думаетъ онъ, вспоминая кровь, выступившую на губахъ Мещеринова, и ему становится жалко, что онъ взялъ одну бумажку.—Живущій онъ...—рѣшаетъ Спирька, давно знающій своего барина. Мысли Спирьки принимаютъ веселое направленіе.—Ну, теперь держись, Копчикъ! Теперь не по-намеднешнему... — Спирька увѣренъ, что съ десятью рублями онъ возьметъ конъ и воротитъ свои три рубля, проигранные въ трынку Копчику только потому, что онъ, Спирька, не могъ „замирить“ и „идти въ гору“.

Спирька засыпаетъ. Все тихо въ пустой гостиницѣ, только изрѣдка полузадавленные стоны и хрипѣнье слышатся изъ большого холоднаго номера.

„ОТЛЕТАЕТЪ МОЙ СОКОЛИКЪ“

Разъ, — дѣло было глухою зимой въ одномъ изъ дальнихъ угловъ Восточной Сибири, — мнѣ пришлось вмѣстѣ съ исправникомъ отправиться въ округъ по дѣламъ службы. Ѣхали мы въ самый дальній уголъ округа, около девятисотъ верстъ въ одинъ конецъ. Дорога была очень скучная. Окутанная толстымъ слоемъ снѣга, пяти - семиверстная пелена рѣки, по которой почти все время приходилось намъ ѣхать, да по бокамъ двѣ гряды каменныхъ утесовъ, тоскливыхъ и дикихъ въ своемъ зимнемъ уборѣ,—вотъ и все, что приходилось видѣть. Населеніе здѣсь—полу-русскіе, полу-тунгусы; деревни рѣдкія и словно вымершія. Мужиковъ вовсе не видно: кто ушелъ въ тайгу бѣлковать и соболевать, кто уѣхалъ въ извозъ на пріиски. Баба надѣваетъ бляху и въ качествѣ десятскаго является встрѣчать начальство; бабы перепрягаютъ лошадей; двѣ бабы вмѣсто форейторовъ взбираются верхомъ на лошадей (мы ѣхали шестеркой, гусемъ), третья, какая-нибудь лихая дѣвка, одѣтая по-ямщицки, залѣзаетъ на облучокъ нашего возка и, съ гиканьемъ, длиннымъ кнутомъ подхлестываетъ лошадей, а иногда своихъ пріятельницъ, болтающихъ ногами на переднихъ гусевикахъ.

У меня, впрочемъ, былъ интересный собесѣдникъ. Старикъ огромнаго роста, съ коротко остриженными волосами, солидныхъ размѣровъ краснымъ носомъ и сѣдою клочковатою бородой, онъ имѣлъ очень суровый видъ, хотя въ дѣйствительности былъ добродушнѣйшимъ человѣкомъ. Жилъ онъ бобылемъ, одинъ-одинешенекъ, былъ большой хлѣбосолъ, взятки бралъ съ кого слѣдуетъ и за что слѣдуетъ, чѣмъ и заслужилъ всеобщую пріязнь и уваженіе. Онъ имѣлъ три слабости: медвѣдей бить, пѣсни пѣть и говорить про Сибирь. Въ послѣдней онъ особенно повиненъ былъ. Какъ большинство туземцевъ - чиновниковъ, это былъ страстный патріотъ и, когда говорилъ о Сибири и красотахъ ея, впадалъ даже въ поэзію. О Россіи же, наоборотъ, былъ весьма прискорбнаго мнѣнія. По его понятію, хотя онъ за Ураломъ никогда и не бывалъ, Россія—страна, гдѣ живетъ смѣсь жуликовъ съ проходимцами и гдѣ люди занимаются только тасканіемъ носовыхъ платковъ и кошельковъ другъ у друга. Изъ россійскихъ людей онъ любилъ только каторжниковъ и бродягъ, поселенцевъ же и русскихъ чиновниковъ, пріѣзжавшихъ на службу въ Сибирь, терпѣть не могъ.

Я дразнилъ его, что Сибирь только русскіе зады повторяетъ, что она даже ни одной своей пѣсни не выдумала и что родителемъ и учителемъ Сибири—этапъ. Мой собесѣдникъ неистовствовалъ въ возкѣ, особенно по поводу обвиненія въ отсутствіи пѣсенъ, и въ опроверженіе клеветы очень не дурно, хриплымъ старческимъ баскомъ, спѣлъ нѣсколько старинныхъ русскихъ пѣсенъ, искренно убѣждая меня, что это ихнія, собственныя, сибирскія. Наконецъ, и это скучно стало. Пробовали разговаривать съ лихою дѣвицей, сидѣвшею на облучкѣ, но она только скалила свои бѣлые зубы, да смѣялась узенькими тунгусскими глазками.

Помню, выдался особенно скучный станокъ. За ночь дорогу завалило снѣгомъ, и хотя впереди ѣхало двое саней,—чтобы протоптать дорогу исправнику, тѣмъ не менѣе тяжелый возокъ глубоко уходилъ въ снѣгъ и подвигался почти шагомъ. Пробовалъ исправникъ ругаться, но дѣвица-ямщикъ такъ обезоруживающе-весело смотрѣла на него, что онъ и ругаться пересталъ. Закусили въ возкѣ, соснули и, проснувшись, увидѣли опять занесенную дорогу и тѣ же двое саней, плетущихся впереди насъ.

— А знаете, — вдругъ заговорилъ исправникъ: — я вамъ разскажу одну исторію, истинное происшествіе, вотъ вы и узнаете, какія пѣсни поютъ у насъ. Хоть въ каторгѣ, а все-таки въ Сибири,—добавилъ онъ.

Мы усѣлись поудобнѣе, и я приготовился слушать.

Постараюсь передать разсказъ исправника въ точности, въ томъ видѣ, какъ онъ удержался у меня въ памяти:

„...Это было еще въ молодыхъ годахъ моихъ. Службу я началъ на родинѣ, въ Забайкальи. Былъ я въ то время засѣдателемъ недалеко отъ Кары и частенько туда заглядывалъ. Комендантъ—человѣкъ добрый былъ, товарищъ хорошій, и выпить не дуракъ, и повеселиться. Къ тому же двѣ дочки у него были, барышни въ возрастѣ,—ну, сами понимаете, не рѣдко гащивалъ. Можно сказать, почти каждаго арестанта въ лицо тогда зналъ, и исторія эта чуть не при мнѣ случилась.

„Былъ на Карѣ каторжникъ одинъ, изъ серьезныхъ,—на вѣчную осужденъ былъ. За какія дѣла, доподлинно не умѣю вамъ сказать, только ужъ, конечно, не за пустяки. Помню я его. Русый изъ себя, чуточку сѣдиной по бородѣ прошло, высокій да тонкій, глаза большущіе, неласковые такіе; ходилъ сугорбившись и все словно думаетъ что про себя. Строгій былъ такой, особнякомъ

жилъ, словно хоронился отъ кого. Ни въ какія исторіи ни съ начальствомъ, ни съ арестантами не путался; да и его не задирали,—побаивались-таки. Шесть лѣтъ ужъ на Карѣ жилъ, по положенію скоро бы ему въ испытуемые перейти слѣдовало. Дивились многіе потомъ, что не бѣжалъ столько лѣтъ. И теперь дѣло это не очень мудреное, а въ тѣ времена только лѣнивый не бѣгалъ, да кому неохота, кто на маленькіе сроки присланъ. Ну, конечно, за нимъ мало смотрѣли.— увѣрились.

„Былъ у него голосъ. Мало ли я голосовъ въ жизнь свою слышалъ, да и самъ смолоду ладно пѣвалъ,—ну, а у этого голосъ не какъ у другихъ. Тоже и на Карѣ всегда голоса хорошіе подбираются, любятъ тамъ пѣть и пѣвуновъ любятъ; а какъ запоетъ Василій Семенычъ—всѣ его такъ звали, и арестанты, и солдаты,— такъ всѣ и бросятся слушать. Майданъ у нихъ, знаете, картишки—это первое удовольствіе,—и одежу арестантскую и паекъ проигрываютъ,—ну, и водчонку по грѣшности потягиваютъ. Такъ тутъ и майданъ бросятъ, и карты, и водку, и всякія игры. Муха не пролетитъ, особенно если запоетъ „Отлетаетъ мой соколикъ",—такая была у него любимая пѣсня. А въ дверяхъ солдаты набьются, надзиратели, — потому Василій Семенычъ поетъ... Пѣлъ онъ рѣдко и то когда самъ захочетъ. Потомъ это мнѣ солдаты разсказывали: бывало, бродяги обступятъ, страсть они любятъ слушать пѣсни про каторжное, да бродяжное житье,—просятъ, просятъ: ни за что! Иной разъ мѣсяцъ, и два, и больше не поетъ, а ужъ распоется, — весь вечеръ пѣть будетъ, пока не охрипнетъ, и ужъ тутъ никто съ мѣста не тронется.

„Помню, въ первый разъ привелось мнѣ его слушать. Былъ я разъ у коменданта и пошли мы съ нимъ прогуляться вечеромъ. Погода была распроклятая, ок-

тябрь мѣсяцъ,—не то дождикъ, не то снѣгъ съ неба сыплется. Ужъ смерклось. Идемъ мы мимо казармы, а онъ запѣлъ. Какъ-то я сразу остановился,—необыкновенное что-то было у него въ голосѣ. Пѣлъ онъ тюремную пѣсню, протяжную, да грустную. Не могу вотъ вамъ и сказать теперь, какой у него голосъ былъ: какъ будто и баритонъ огромный, и теноръ высоты и чистоты необыкновенной. Но не въ томъ дѣло. Покорилъ онъ меня. Словно вотъ схватилъ и держитъ, а ты стоишь и не дышишь. Да я вамъ прямо скажу: исходи я всю землю, а такого голоса ужъ не услышу. И странное дѣло, помню вотъ какъ сейчасъ: поетъ ровно, плавно, просто такъ кажется, по обыкновенному, а у тебя словно по сердцу ножомъ водятъ. Потомъ вдругъ загремитъ голосомъ, и страхъ тебя, ужасъ возьметъ, съежишься весь, словно къ землѣ кто давитъ, а волоса на головѣ, чувствуешь, поднимаются, поднимаются... И потомъ словно устанетъ, запоетъ такъ тихо, ласково, душевно, и ты оживешь, какъ будто вздохнешь, подниметься... Словно въ немъ разные люди сидятъ и разныя души имѣютъ. Да нѣтъ, сколько бы я ни разсказывалъ вамъ, все равно ничего не выйдетъ!.. Только тутъ я, какъ дуракъ, битый часъ простоялъ, пока онъ не оборвалъ пѣсни.

„Кончилъ онъ, очнулся и я, смотрю—лицо мокрое, и не отъ дождя,—слезы бѣгутъ. И комендантъ, вижу, стоитъ, голову опустилъ,—тоже, видно, и ему не по себѣ. Взглянулъ я вверхъ,—фонарь тутъ наискосокъ стоялъ,—смотрю, заплелъ онъ руки и ноги въ рѣшетку и половину лица просунулъ. Можетъ отъ фонаря, лицо бѣлое-бѣлое, какъ воскъ, а глаза большущіе, черные, недобрые на меня смотрятъ. Не весело смотрѣлъ Василій Семенычъ.

„Вотъ и пѣлъ онъ такъ, и пѣлъ все одинъ,—под-

голоска найти не могъ. Были и хорошіе голоса, да какъ-то не подходили, спѣться съ нимъ не могли.

„Привели однажды изъ партіи каторжанина,—такъ, плюгавый мужичонка, грошъ цѣна, хилый да слабенькій, словно ребенокъ-подростокъ. Жену, что ли, убилъ или любовника ея,—что-то въ этомъ родѣ сдѣлалъ. Тоже любопытный человѣкъ былъ, потѣшный. Все смѣется, бывало, штуки да фокусы разные арестантамъ показываетъ, только бороденка трясется, — въ родѣ шута былъ или юродиваго какого. А все-таки арестанты любили его, – больно ужъ добрый былъ, безобидный да безотвѣтный. Ну, и за то любили, что пѣсенъ много зналъ, а зналъ онъ ихъ, кажется, столько, сколько вся Кара не знала. Голосъ у него не изъ важныхъ былъ, слабенькій, да и дрожалъ какъ-то, только грустный очень, нѣжный, сердечный такой.

„Василій Семенычъ сразу облюбовалъ его въ подголоски, и скоро спѣлись они. Тотъ гремитъ, а этотъ подпѣваетъ, голосомъ водитъ, словно плачетъ кто потихоньку, а слышно. Одинъ замолчитъ, другой тянетъ; тотъ опять подхватитъ,—еще лучше выходило.

„Ну-съ, такъ вотъ какая оказія случилась.

„Весна была. Тайга эта только что проснулась, оживать стала. Я вамъ разскажу, впрочемъ, какая тайга весной бываетъ, а то вы не поймете. Вы вотъ не смотрите на нее теперь, когда она снѣгомъ засыпана, морозомъ закована,—однимъ словомъ, мертвая.—Онъ указалъ на темные силуэты кедровъ и пихтъ, обрамлявшихъ гребни каменныхъ утесовъ.

„Ѣдешь это весной, игла-мгла еще зимняя, темная, а ужъ на каждой вѣткѣ зеленый пучокъ. Совсѣмъ еще зима, снѣгъ вездѣ, только на проталинахъ трава еле-еле изъ земли показывается: дудки сладкія, черемша, лопушнякъ, какъ-бишь это... піоны по вашему,

а ужъ чувствуешь, что сила-то въ ней, въ тайгѣ, проснулась, что все ужъ налилось, напружилось, ждетъ—вотъ, вотъ... У насъ вѣдь весна, не какъ у васъ—все вдругъ. Только что вотъ земляника зацвѣла, а ужъ кислица и черная смородина цвѣсть начинаютъ, и малина, и княженика, и всякая таежная ягода. Тутъ зима, а пошатаешься по тайгѣ двѣ-три недѣли, воротишься на старое мѣсто,—не узнаешь. Трава въ ростъ человѣческій, голубые колокольчики качаются, желтая лилія, какъ стрѣла, поднялась, жарки какъ огонь горятъ. Голые утесы бѣлымъ оленьимъ мохомъ одѣлись, красными піонами изукрасились; а въ долинахъ черемуха какъ облитая цвѣтомъ, рябина перья свои между иглами протянула, березка одѣлась, игла позеленѣла. И все это цвѣтетъ, зеленѣетъ, пахнетъ, наливается, и все разомъ, словно въ перегонку другъ передъ другомъ старается. А на горахъ еще снѣгъ блеститъ, да и въ тайгѣ, гдѣ поглуше, лѣшинами лежитъ, между цвѣтами-то. Эхъ, благодать, благодать!!!"

Мой собесѣдникъ оживился и, поправивши подушки, сѣлъ полуоборотившись ко мнѣ.

„...Самое, знаете, для меня первое удовольствіе,—снова заговорилъ онъ,—ѣздить по тайгѣ ночью вотъ въ такое время, когда весна только еще идетъ, развернуться собирается. Звенитъ все это въ тайгѣ, играетъ, шумъ идетъ, голоса веселые... Подъ ногами у тебя и не видать, гдѣ ручеекъ звенитъ, булькаетъ, словно маленькій ребенокъ смѣется. Тутъ же, гдѣ-нибудь изъ-подъ корней взялся, между мхомъ вьется; а тамъ дальше съ другимъ сойдется, громче заговоритъ, шумливѣе. Станешь съ горы спускаться, разбѣгутся эти ручьи да ключики въ разныя стороны, свѣтлые да холодные, гремятъ по камнямъ, на солнышкѣ играютъ, пѣнятся, разными голосами говорятъ. А впереди-то ужъ рѣчка

реветъ-бурлитъ. Лѣтомъ въ нее плюнуть некуда, а тутъ посмотри—звѣрь-звѣремъ, только пѣна да брызги. Съ утеса на утесъ, изъ ущелья въ ущелье летитъ-скачетъ, камни ворочаетъ, деревья ломаетъ, а реветъ такъ, что ѣдешь рядомъ съ конюхомъ, на ухо кричишь—не слыхать. Выбѣжитъ она изъ утеса въ долину этакую зеленую, разбѣжится, разыграется, утихнетъ. А въ долинѣ костеръ, огонекъ разложенъ, чай въ котелкѣ варится и бродяжки кругомъ. Дымъ отъ котла голубой-голубой, словно пелена какая по долинѣ стелется, языками въ ущелья протянется, въ тайгу заберется, словно повиснетъ на лапахъ... Пахнетъ на тебя дымомъ,—не надышешься; пихтарникъ да листвяжникъ жгутъ, смолой этой ароматной чудесно пахнетъ!

„А ужъ ночь близко, холодкомъ потянетъ изъ ущелья, морозцемъ станетъ землю прихватывать. Сначала маленькіе ручейки замолчатъ, а потомъ и покрупнѣе затихнутъ, только рѣчка еще глухо бурлитъ, словно шепчетъ что, засыпая. Потомъ и она замолчитъ. И настанетъ тишь по тайгѣ, безмолвіе.

„И вотъ тутъ-то кукушка закукуетъ...

„А знаете ли,—грузная туша исправника вся повернулась ко мнѣ,—вотъ говорятъ, у васъ, въ Россіи, соловьи хорошо поютъ. Не слыхалъ-съ! А только хуже,—не смѣйтесь—хуже-съ! Да и не подойдутъ они къ нашей тайгѣ... Велики ли у ней пѣсни, у кукушки-то: „ку-ку, да ку-ку“—только и всего, а заслушаешься. Ѣдешь по тайгѣ ночью, слушаешь, слушаешь, чего-чего не передумаешь? А сердце щемитъ такъ... А то вотъ еще голубь дикій... Этотъ еще страшнѣе: „гу-у-урлъ, гу-у-урлъ!“—глухо такъ, словно и не вѣсть откуда, а по всей тайгѣ раздается. Такъ и видишь: сидитъ это онъ въ такомъ чортовомъ ущельи, куда ни звѣрь, ни человѣкъ не проберется, забрался въ тре-

щину скалы и гурлычетъ: гурлъ, гурлъ!--словно сама тайга вздыхаетъ глухо и звонко охаетъ.

„...А тайга-то затихла вся, деревья-то въ сумерки огромныя станутъ, лапы мохнатыя, длинныя и ти-ишь, тишь непробудная! Развѣ медвѣдь фыркнетъ въ сторонѣ, да затрещитъ сучьями. Прозрачно такъ все. Какія ночи весной? Нѣтъ ночей,—заря зарю зоветъ. Не успѣешь оглянуться, какъ и утро настанетъ. Загорится какая-нибудь сопка бѣлою шапкой своей, а потомъ и солнышко изъ-за нея выйдетъ, блеснетъ на снѣгу и въ долины проберется. Взглянешь съ горы внизъ, а тамъ туманъ виситъ, какъ бѣлое полотно протянулся отъ скалы къ скалѣ, изъ ущелья въ ущелье. Потянетъ опять холодкомъ изъ долинъ и запахомъ этимъ ароматнымъ обдастъ тебя. Эхъ, славно береза весной на зарѣ пахнетъ! Горькій такой ароматъ, особенный... А туманъ ужъ поднимается выше и выше, а подъ туманомъ-то опять оживаетъ тайга; заговорили, какъ колокольчики, маленькіе ключики, зазвенѣли и запѣли покрупнѣе ручьи, заревѣла рѣчка и—опять звонъ и громъ, веселье и радость по тайгѣ на цѣлый день начинается...

„Знаете ли, я вамъ скажу,—снова исправникъ обратился ко мнѣ,—я вотъ старый человѣкъ, а не могу весной въ городѣ сидѣть,— такъ тебя и тянетъ. Дѣла нѣтъ,—выдумаю, а ужъ на цѣлый мѣсяцъ въ округъ уѣду. Не доѣшь, не доспишь и иззябнешь, и промокнешь, всѣ кости на сѣдлѣ растрясешь, а вернешься въ городъ—словно на десять лѣтъ помолодѣешь. А каково ему, каторжнику-то, за рѣшеткой всю зиму сидѣть? Закукуетъ весной кукушка,—вся красота эта и встанетъ передъ нимъ, духомъ этимъ таежнымъ обдастъ его...“

Исправникъ замолчалъ и долго пыхтѣлъ папироской.

„Далеконько уѣхали мы отъ нашей-то исторіи,— снова заговорилъ онъ,—да не могу удержаться, какъ вспомню про тайгу.

„... Ну-съ, такъ вотъ изволите ли видѣть, дѣло вышло такимъ манеромъ. Была весна и такое же утро, какъ я вамъ разсказывалъ, теплое да свѣтлое, настоящее весеннее. Снѣгъ еще не совсѣмъ сошелъ, а на проталинахъ трава ужъ показалась. Вывели раненько каторжниковъ на работу. Ну, какъ всегда, старшой тутъ и солдаты съ ружьями цѣпью окружили.

„Вотъ Василій Семенычъ и запѣлъ свою любимую „Отлетаетъ мой соколикъ". Запѣлъ да скоро и оборвалъ. А ужъ всѣ уши распустили, — слушать приготовились.

„Къ нему: „Спой!" да „спой!" Старшой самъ подошелъ.

„— Спой, говоритъ, ради Христа, Василій Семенычъ, эту пѣсню, а то раздразнилъ только.

„Тотъ отнѣкивался, отнѣкивался, а потомъ и говоритъ старшому-то:

„ — Вотъ что, говоритъ, Ѳедоръ Васильичъ, ты меня лучше не проси. Ежели я теперь эту пѣсню запою— сбѣгу!

„Тотъ смѣется. Да какъ и не смѣяться: человѣкъ шесть лѣтъ въ каторгѣ выжилъ, сто разъ имѣлъ случай бѣжать,—не убѣгъ, а тутъ вслухъ напередъ говоритъ при солдатахъ. За шутку принялъ. Смѣется.

„— Ну, говоритъ, ладно, бѣги, только сначала спой.

„А тотъ опять за свое.

„— Я, говоритъ, не шутки шучу, а прямо тебѣ сказываю—сбѣгу. Полоса такая. Спѣть я тебѣ спою, только

уговоръ держи: пулей бери, а штыкомъ не касайся, чтобы безъ увѣчья...

„Старшой все смѣется.

„— Ладно, говоритъ, пулей-то и намъ сходнѣе. Она тебя живой рукой догонитъ, нечѣмъ штыкъ!

„Пока они тутъ разговаривали, разрѣзъ ужъ не далеко. Это, изволите видѣть, въ родѣ корридора въ землѣ ведутъ, вотъ какъ золото добываютъ,—можетъ, видали? Длинный разрѣзъ былъ, да глубокій, и подходилъ онъ къ утесу. А на утесъ взойти—тутъ сейчасъ и тайга пойдетъ.

„Ну-съ, такъ вотъ подозвалъ этотъ Василій Семенычъ подголоска своего, и ужъ что тутъ между ними было, неизвѣстно. Сговорились, что ли, они, или такъ, безъ уговору вышло, не умѣю вамъ сказать. Запѣли. Идутъ и поютъ. И арестанты идутъ, солдаты идутъ и всѣ слушаютъ.

„Всегда хорошо онъ пѣлъ, а въ этотъ разъ, говорятъ, какъ никогда не пѣвалъ.

„Подошли къ разрѣзу, спустились, каторжники—остановились, наземь сѣли; по краямъ разрѣза солдаты цѣпью встали,—ружья въ рукахъ, штыки привинчены, все какъ слѣдуетъ. Смотрятъ въ разрѣзъ, слушаютъ. А тѣ двое идутъ себѣ по разрѣзу тихонько, идутъ и поютъ.

„Василій Семенычъ залетитъ, занесется голосомъ неизвѣстно куда, а подголосокъ ведетъ свою ноту. Одинъ замолчитъ, а другой ведетъ; другой замолчитъ, этотъ подхватитъ. И такъ это они спѣлись, что иной разъ и не замѣтно, гдѣ одинъ, гдѣ другой, словно одинъ поетъ. Подошли къ концу разрѣза, стали подниматься, и пѣсня съ ними поднимается. Подголосокъ въ одинъ уголъ, а Василій Семенычъ въ другой. Подголосокъ поднимается потихоньку, скоро и вовсе сѣлъ,

а тотъ все шибче да шибче... Вотъ ужъ и пѣть пересталъ, вотъ побѣжалъ наконецъ, такъ-таки прямо на виду у всѣхъ бѣжитъ по утесу вверхъ... Вбѣжалъ, наконецъ, на самую вершину, а кандалы-то ужъ въ рукахъ у него очутились. Взмахнулъ онъ какъ-то руками надъ головой, бросилъ кандалы внизъ и закричалъ не своимъ голосомъ: „Отле-тѣлъ!“

„Тутъ только, какъ кандалы загремѣли по камнямъ, да какъ крикнулъ онъ, и очнулись всѣ. Конечно, бросились, стрѣлять начали. Да гдѣ ужъ тутъ,—ищи вѣтра въ полѣ!

— Вотъ-съ какія исторіи бываютъ! — промолвилъ исправникъ и замолчалъ.

— Какъ же это солдаты-то?—заговорилъ было я.

— Вотъ это-то и удивительно!—тотчасъ же прервалъ онъ меня.—Я пріѣхалъ на другой же день, какъ разъ комендантъ старшого допрашивалъ:

„— Да вѣдь вы же всѣ видѣли, осина ты этакая!

„— Такъ точно, ваше благородіе.

„— Ну, и вѣдь бѣжалъ же онъ? Прямо ужъ видно было, что бѣжитъ?

„— Такъ точно, ваше благородіе!

„— Такъ вы-то что же?

„— Не могу знать, ваше благородіе! Обошелъ онъ насъ, затменіе напустилъ.

„— Тьфу, дуракъ!“

„Комендантъ красный весь былъ, въ поту,—видно, долго ужъ маялся. Разсказалъ онъ мнѣ всю эту исторію.

„— Вотъ не угодно ли полюбоваться? Всѣ такъ. Второй день бьюсь, только и словъ, что „обошелъ“, да „затменіе“. Пѣсню, изволите ли видѣть, спѣлъ, а они нюни распустили“.

„Старшой былъ бравый молодецъ и не дуракъ,—я его зналъ,—а тутъ дѣйствительно стоитъ дуракъ-дуракомъ, глаза на коменданта вылупилъ. Комендантъ нарочно при мнѣ призывалъ остальныхъ солдатъ и всѣ они говорили одно и то же.

— Вотъ, батюшка, какіе голоса на Карѣ бываютъ!— закончилъ свой разсказъ исправникъ.

САВЕЛІЙ.

I.

— Ваше благородіе, дозвольте газетку!

Я вздрогнулъ отъ неожиданности и оборотился къ двери.

Въ дверяхъ моей камеры стоялъ арестантъ, держась одною рукой за скобку и запахивая другою расходившіяся полы халата. Я часто видалъ Савелья и никогда не обращалъ особеннаго вниманія на сутуловатую, сухощавую фигуру, со впалою грудью и длинными, какъ плети висѣвшими руками, одиноко бродившую по двору и ничѣмъ не выдѣлявшуюся изъ общей сѣрой арестантской массы.

Это было обыкновенное, не красивое и не безобразное русское лицо, съ неправильною линіей рта, съ небольшими усами, маленькою рѣдкою бородкой и мягкими русыми волосами, волнистыми прядями сбѣгавшими на лобъ, — одно изъ тѣхъ задумчиво-печальныхъ и молчаливо-сосредоточенныхъ лицъ, которыя такъ часто приходилось мнѣ встрѣчать между крестьянами черноземныхъ губерній.

Помню, поразили меня въ этотъ разъ его глаза. Голубые, удивительно ясные, словно прозрачные, они

смотрѣли особеннымъ,—я не умѣю выразиться лучше,—долгимъ взглядомъ. Они смотрѣли на меня и, казалось, меня не видѣли, а видѣли что-то стоящее за мной.

Какъ-то сразу вспомнилась мнѣ манера Савелья держаться одиноко, особнякомъ отъ арестантовъ, его любовь къ дѣтямъ, отношеніе къ нему остальныхъ арестантовъ. Все это пронеслось быстро въ головѣ.

— Дозвольте, ваше благородіе, газетку!—повторилъ Савелій.

Я далъ ему нѣсколько нумеровъ. Раньше Савелій вовсе не замѣчалъ меня, хотя я жилъ въ острогѣ уже второй мѣсяцъ,—вотъ почему я особенно удивился его приходу.

— Зачѣмъ это вамъ газета?—полюбопытствовалъ я.

Одну минуту, казалось, онъ задумался, но тотчасъ спокойно выговорилъ:

— Насчетъ воли...

— То-есть какъ это?—удивился я.

— Намъ, арестантамъ, увольненіе... сказываютъ писано въ газетахъ.

Я на него взглянулъ. Савелій смотрѣлъ тѣмъ же сосредоточеннымъ взглядомъ и говорилъ совершенно спокойно, какъ будто дѣло идетъ о самой обыкновенной вещи.

— Про волю здѣсь ничего нѣтъ. Я всѣ эти газеты читалъ,—выговорилъ я.

Теперь онъ уставился на меня и, немного подумавъ, повторилъ:

— Дозвольте газетку!

Черезъ два часа Савелій съ благодарностью принесъ газету и повернулся, чтобы уйти.

— Ну, что же, вычитали что-нибудь? — остановилъ я его.

— Разыскали!—спокойно отвѣтилъ онъ. — Какъ же это вы, ваше благородіе, — онъ подозрительно взглянулъ на меня, — вѣдь и васъ касающее... А вы говорите: ничего!

Я заинтересовался и прочиталъ указанное Савельемъ мѣсто:

„Реформа по тюремному дѣлу,—извѣщала короткая замѣтка, — близится къ концу и въ непродолжительномъ времени будетъ представлена въ государственный совѣтъ“.

— Гдѣ же тутъ про волю-то?—недоумѣвалъ я.

— Какъ гдѣ? — въ свою очередь вскипулъ на меня глазами Савелій.—Реформа къ концу... И даже въ самомъ непродолжительномъ времени... Извольте читать!—онъ переступилъ съ ноги на ногу.—Ужъ министеремъ представлена, а тамъ и до Государя Императора близко...

Савелій говорилъ учащенно, слегка повышеннымъ тономъ, и тыкалъ пальцемъ въ указанное мѣсто газеты.

— Да вѣдь это реформа по устройству тюремъ ссылки и препровожденія арестантовъ, — попробовалъ я вставить свое слово.

— То-есть это какъ же, въ родѣ какъ по слесарной части... какіе замки крѣпче? — Савелій презрительно улыбнулся.—Невозможно,—съ увѣренностью произнесъ онъ:—одна намъ реформа—увольненіе,—ну, по крайности, срока сбавятъ. А вы говорите: насчетъ ссылки.. Каждую пустяковину въ газетахъ печатать... А впрочемъ, извините за безпокойство. Подождемъ—увидимъ!

Онъ какъ-то загадочно улыбнулся и тихо вышелъ изъ камеры.

Наше знакомство продолжалось. Каждый день Савелій являлся въ мою камеру, молча бралъ газету и

черезъ два часа молча отдавалъ ее. Разспрашивать его мнѣ не хотѣлось.

Однажды, отдавая газету, онъ не тотчасъ вышелъ. Я видѣлъ, что ему очень хотѣлось что-то сообщить мнѣ.

— Ну, что, Савелій Потапычъ, нашли что-нибудь?— равнодушно спросилъ я.

— Есть немножко, – также равнодушно отвѣтилъ онъ, но тотчасъ оживился и добавилъ:—это покрѣпче будетъ! Извольте-ка прочитать.

Онъ развернулъ газету и на третьей страницѣ, въ отдѣлѣ хроники по иностраннымъ дѣламъ, указалъ на пять строкъ, приблизительно гласившихъ, что въ Испаніи собрались кортесы и большинствомъ голосовъ высказались за амнистію. Только тутъ я понялъ все. Понялъ, что это—страстная, неотвязная дума о волѣ, тоска сердца, двадцать лѣтъ закованнаго въ желѣзо, истомившагося въ тюремной и каторжной неволѣ, изстрадавшагося въ бродяжьей жизни,—сердца, страстно потянувшагося къ волѣ, къ теплу и уюту *своего* угла, *своего* вольнаго мѣста.

А онъ, между тѣмъ, съ лихорадочною поспѣшностью выкладывалъ передо мной свои доводы.

– Амнистія!.. Это мы понимаемъ. Всѣ сенаторы подписали... Оно, можетъ, и были которые несогласные, а все-таки по правдѣ рѣшено. И каторжанамъ, и бродягамъ—всѣмъ увольненіе!

Мнѣ было ужасно горько и больно разочаровывать его, тѣмъ не менѣе я рѣшилъ осторожно предупредить:

— Вы не очень полагайтесь, Савелій Потапычъ, это до насъ не касается. Это, вѣдь, въ Испаніи, да и не о простыхъ арестантахъ рѣчь-то идетъ...

Савелій недовѣрчиво посмотрѣлъ на меня и задумался было; но это продолжалось одну минуту, и онъ

тотчасъ же съ прежнею увѣренностью и даже нѣсколько обиженно заговорилъ:

— Знаемъ, что въ Испаніи,—читали! Только какъ вы полагаете однимъ тяжело, а другимъ легко?.. Вотъ то-то. Люди—вездѣ люди. И тюрьма тоже... Можетъ, у нихъ другая, а все на замкѣ. Почнется въ одной землѣ и по другимъ пойдетъ, и мы волю увидимъ. Оно, конечно, подольше,—ну, да ждали,—подождемъ!

И онъ ждалъ,—ждалъ упорно, сосредоточенно, ждалъ какъ человѣкъ, у котораго весь мозгъ, вся душа наполнены однимъ и не имѣютъ ни времени, ни желанія выходить изъ круга этой одной идеи. И утромъ, и днемъ, и вечеромъ можно было видѣть отмѣривающую шаги на узкомъ тюремномъ дворикѣ сутуловатую фигуру съ понурою головой и голубыми глазами, смотрящими на всѣхъ и не видящими никого.

Мало-по-малу мы познакомились. Савелій пересталъ сторониться меня и все чаще и чаще засиживался въ моей камерѣ.

Однажды онъ вошелъ ко мнѣ не въ урочное время, раннимъ утромъ. Уже по одному лицу его, по тому, какъ онъ вошелъ и какъ плотнѣе обыкновеннаго затворилъ за собою дверь, я понялъ, что случилось что-то особенное, необычное.

— Что я тебѣ скажу, Иванъ Иванычъ,—началъ онъ съ таинственнымъ видомъ, усаживаясь рядомъ со мною на койку.

Незамѣтно для себя, да и для меня, впрочемъ, онъ перешелъ на „ты“. Складка кожи прыгала у него подъ глазами и ему, видимо, трудно было сдерживать свое волненіе.

— Сонъ мнѣ привидился... особенный. Теперь ужъ вѣрно!..

Онъ оглянулся во всѣ стороны, совсѣмъ близко

наклонился ко мнѣ и тронулъ меня за плечо, очевидно, приглашая тоже придвинуться. Заговорилъ онъ совсѣмъ тихимъ шопотомъ:

— Видишь... Будто праздникъ какой у насъ и входитъ смотритель, Иванъ Ѳомичъ, не какъ всегда,—въ мундирѣ и при шпагѣ, ордена тутъ,—Савелій ткнулъ себя въ грудь, — одно слово, какъ слѣдуетъ, во всей формѣ. Мы стоимъ, смотримъ, что, молъ, такое. И вижу я, взялъ онъ метлу,—знаешь, за кухней стоитъ,—взошелъ наверхъ и зачалъ мести. Спервопачалу въ общую зашелъ, вымелъ всю ее на-чисто, весь соръ въ корридоръ. Потомъ въ другую, потомъ по одиночкамъ пошелъ,—къ намъ, значитъ. И въ твоей былъ,—добавилъ онъ, посмотрѣвъ на меня сіяющимъ, ободрительнымъ взглядомъ.—Изъ корридора на лѣстницу все это вымелъ. Эвона какая куча сору-то! — съ радостнымъ видомъ протянулъ руку Савелій. — Спустился внизъ, въ женскую зашелъ и оттуда все вымелъ. И дворъ, и кухню — все какъ есть на-чисто. И за двери, и въ каждый уголокъ заглянулъ, не осталась ли гдѣ соринка какая.

Савелій остановился и передохнулъ, какъ будто собираясь съ силами.

— Потомъ это... вижу я... ворота-то наши желѣзныя растворяются, — не калитка, а какъ есть всѣ настежь...

Его возбужденіе дошло до крайней степени. Прерывающимся, почти неслышнымъ шопотомъ, такъ что я больше понялъ по движенію его блѣдныхъ и дрожащихъ губъ, онъ выговорилъ:

— Соръ-то этотъ... весь... на улицу... за ворота!

Савелій сразу отодвинулся и посмотрѣлъ на меня широко открытыми, словно испуганными глазами.

Я не сразу догадался.

— И все? - машинально выговорилъ я.

Его возбужденное счастливое лицо слегка затуманилось.

— Какъ это ты... право... Соръ-то вѣдь, это мы, арестанты! И ворота настежь на улицу—воля, значитъ, всѣмъ намъ!..

Мнѣ опять стало больно за него, за эту слѣпую, страстную вѣру, которой долженъ же когда-нибудь придти конецъ, и конецъ тѣмъ ужаснѣе, чѣмъ страстнѣе была въ него вѣра.

— Оно бы на что лучше, — осторожно и нерѣшительно замѣтилъ я,—да вѣдь сны-то разные бываютъ.

— Разные, это ты вѣрно говоришь, разные, — немедленно согласился Савелій.—Бываютъ глупые сны, нестоющіе, бываютъ и умные. Ну, а этотъ совсѣмъ особенный... безпримѣнно сбудется. Ты ужъ и не говори,— остановилъ онъ меня.—Этакіе сны у меня всегда сбывались. Тоже вотъ снилось мнѣ разъ... —Его волненіе нѣсколько улеглось, онъ заговорилъ спокойнѣе.—Иду я, братецъ ты мой, по льду, будто черезъ Енисей рѣку, и какая причина - не помню, только, какъ-никакъ, нужно мнѣ на тотъ берегъ попасть. А ужъ полыньи. Ну, иду, ничего. Ледъ потрескиваетъ, черезъ полыньи прыгаю. И прошелъ ужь будто, прыгнулъ на берегъ, а берегъ-то и обвались, и я въ воду подъ ледъ. Проснулся и спрашиваю у своего старца, что, молъ, это означаетъ. А онъ и говоритъ: „увидишь ты, говоритъ, свою долю и опять потеряешь“. Такъ вотъ оно и вышло: совсѣмъ было на свою сторону пришелъ, а вотъ—видишь опять въ острогѣ.

Его лицо снова затуманилось.

Мы молчали.

— Какой это старецъ?—заинтересовался я.

— По бродяжеству знались. Такой божій человѣкъ.

Бродяга одинъ мнѣ сказывалъ: много народу старца-то этого знало, изъ важныхъ былъ, старецъ-то, изъ сенаторовъ, на всякихъ языкахъ понималъ. Освободиться бы, — бродяга сказывалъ, — могъ, да открыться не хотѣлъ, въ родѣ какъ крестъ на себя принялъ. Истинно божій человѣкъ. Бывало это спишь въ землянкѣ, проснешься ночью, а онъ поклоны кладетъ, да веригами гремитъ,—изъ кандаловъ, да изъ наручниковъ были сдѣланы.

— Какъ же вы познакомились?—спросилъ я.

— А жилъ онъ, видишь, въ одномъ мѣстѣ, около Нижнеудинскова города,—въ тайгѣ земляночку соорудилъ. Ну, и народъ зачалъ къ нему похаживать. Засѣдатель и позавидствовалъ, думалъ—денежный человѣкъ, хабара хотѣлъ. Притѣснять сталъ насчетъ вида. Онъ и снялся съ мѣста. А я въ ту пору съ каторги брелъ--и встрѣтились. Такъ онъ мнѣ полюбился, я и дальше не пошелъ. Смастерили земляночку,—думалъ и вѣкъ съ нимъ скоротать. Только сердце не стерпѣло,—видно, молодъ еще былъ. Ну, однако, гляди, съ полгода вмѣстѣ прожили.

Савелій помолчалъ.

— Ахъ, и человѣкъ былъ! Что, то-есть, онъ зналъ—уму непостижимо. Кажется, и на небѣ что, и на землѣ, и подъ землей-то... все онъ зналъ.

Савелій долго молчалъ и сосредоточенно смотрѣлъ въ полъ.

— Про волю сказывалъ,—снова заговорилъ онъ:—„придетъ, говоритъ, время, когда не будетъ ни елина, ни іудея, ни раба, ни господина, ни богатаго, ни бѣднаго, ни стража, ни узника; будетъ, говоритъ, всяческая, то-есть,—пояснилъ Савелій,—всѣ подъ одно и во всѣхъ Христосъ,—ну, и всѣ во Христѣ, въ правдѣ,

значитъ, не въ обидѣ... Только мы съ тобой, Савельюшка, этого не увидимъ...“ Вотъ какъ онъ сказывалъ!

Съ потемнѣвшимъ лицомъ и какъ-то опустившимися углами рта Савелій долго и грустно молчалъ, потомъ снова оживился:

— Всего-то мы не увидимъ, это точно, а кое-что и при насъ сбудется. Вотъ уже по закону было равненіе, теперь по землѣ ждать нужно, а тамъ и прочее.

Онъ смотрѣлъ своимъ долгимъ взглядомъ куда-то далеко-далеко, какъ будто тамъ, за моею спиной, въ безконечной дали, вставали передъ нимъ всякія прочія равненія.

II.

Городъ, гдѣ находился нашъ острогъ, былъ однимъ изъ уѣздныхъ городовъ средней полосы Россіи, той пограничной межи, гдѣ уже чувствуется дыханіе Малороссіи, гдѣ слышится „Хведоръ“ и „хвунтъ“ вмѣсто „Ѳедоръ“ и „фунтъ“, и гдѣ лукъ уже не лукъ, а „цыбуля“. Лица тамъ красивѣе и тоньше, фигуры стройнѣе, голоса и мотивы пѣсенъ мягче и нѣжнѣе, чѣмъ въ настоящей Великороссіи.

Когда я пробую вспомнить тѣ мѣста, мнѣ представляется прежде всего солома. Она была вездѣ и была все. Солому ѣли, соломой окутывали избы, солома же испоконъ вѣковъ составляла главное содержаніе жизни ряда поколѣній. Отъ самаго города волнующеюся ратью шла она, взбираясь на плоскіе бугры, спускаясь въ лощины, переползая маленькія и рѣдкія рѣчонки, тѣснымъ кольцомъ облегая темныя пятна чахлыхъ лѣсковъ и годъ отъ году вытѣсняя эти тусклыя пятна, расходясь все шире, разливаясь какъ море.

Въ этомъ морѣ соломы деревни казались хлѣбными

кладушками, да и самый городъ, окованный этимъ огромнымъ кольцомъ, какъ-то не по-городскому выглядѣлъ съ десяткомъ своихъ лавченокъ и съ своими мѣщанами, какъ и мужики, выѣзжавшими на страду соломенной жизни. Таковъ же былъ и нашъ острогъ. Если не считать нѣсколькихъ гуслицкихъ мошенниковъ, одного еврея чиновника, 3 — 4 мѣщанъ,—почти вся арестантская масса состояла изъ крестьянъ того же уѣзда, не успѣвшихъ еще потерять своего, такъ сказать, соломеннаго характера и принять настоящій, арестантскій обликъ. Бабы ходили въ своихъ деревенскихъ паневахъ, и единственное производство, которымъ занимались арестанты, было плетеніе лаптей, которыхъ острогъ и выпускалъ несмѣтное количество.

Три лица особенно живо встаютъ въ моемъ воспоминаніи. Стоитъ мнѣ закрыть глаза—и предо мной является бряцающій кандалами Огузковъ, съ своимъ огромнымъ, рыхлымъ тѣломъ, краснымъ и всегда потнымъ лицомъ, ярко-рыжею бородой и глазами - одинъ на Кавказъ, другой въ Арзамасъ, тюремный щеголь въ красной рубашкѣ, засаленной атласной жилеткѣ, съ мѣдною цѣпочкой, густо унизанною брелоками. И неизбѣжно вспоминается онъ мнѣ или бунтующимъ противъ начальства, или разсказывающимъ ужасныя исторіи изъ своего прошлаго. Онъ былъ всегда въ оппозиціи, вѣчно ругался съ смотрителемъ и надзирателями, солдатами, устраивалъ всякія исторіи, даже дрался, пока не добивался чести быть закованнымъ въ кандалы. Тогда онъ успокаивался и гордо ходилъ по двору мимо оконъ нижняго этажа, громыхая кандалами и подпуская тонкія экивоки тюремнымъ дамамъ, къ которымъ питалъ большую склонность. Проходило время; добродушный Иванъ Ѳомичъ съ приличнымъ внушеніемъ снималъ кандалы, и Огузковъ, смотришь, черезъ не-

дѣльку, черезъ двѣ—снова бунтуетъ. Исторій у него всегда было множество, и всѣ исторіи ужасныя. Тамъ онъ кокнулъ того-то топоромъ, онъ же задушилъ барыню въ вагонѣ („сорокъ тыщъ цопнулъ"), тамъ вырѣзалъ семью помѣщика (опять десятки тысячъ!). Онъ же былъ купцомъ, помѣщикомъ, полковникомъ, водилъ компанію съ московскими купцами (все первой гильдіи), съ князьями и графами, и, не посади его въ острогъ, совсѣмъ было женился на милліонщицѣ, которая втюрилась въ него даже до ужасти. Исторіи эти разсказывались у тѣхъ же оконъ нижняго этажа или въ средѣ молодыхъ арестантовъ-новичковъ, гдѣ и имѣли большой успѣхъ. Лавры перваго джентльмена острога не давали ему спать. Для этого онъ добивался карцера и кандаловъ (кромѣ случайныхъ гостей, пересылавшихся этапомъ, Огузковъ былъ единственный кандальщикъ въ нашемъ острогѣ), для этого разсказывалъ свои кровавыя исторіи, поэтому же онъ терпѣть не могъ Савелья, единственнаго человѣка въ острогѣ, стоявшаго выше его въ арестантской іерархіи.

Вспоминается мнѣ и другое лицо, и всякій разъ грусть, боль за человѣка, за загубленную молодую жизнь поднимается во мнѣ. Это была небольшого роста, тонкая и нервная фигура съ подвижнымъ лицомъ и какими-то блестящими, словно свѣтящимися глазами. Звали его Волчкомъ. Другого имени я не слыхалъ за все время моей жизни въ острогѣ, да и самъ онъ, кажется, забылъ свое настоящее имя и всегда отзывался на это. Онъ удивительно вылъ по-волчьи. Да и кромѣ этого, весь онъ--дикій, отчаянно-смѣлый со своими странными глазами и угрюмыми, хоронящимися манерами—дѣйствительно походилъ на молодого волченка.

Савелій разсказалъ мнѣ его короткую и грустную исторію: „Солдаткинъ сынъ, Волчокъ на второмъ году

сдѣлался круглымъ сиротой и мірскимъ ребенкомъ. Все свое дѣтство онъ пасъ мірское стадо, пока восемнадцати-лѣтнимъ парнемъ не былъ принятъ въ домъ и не женился на дочери зажиточнаго крестьянина. Его жена „гуляла“ дѣвушкой, продолжала погуливать и сдѣлавшись женой. Въ одну темную, осеннюю ночь Волчокъ выслѣдилъ ее въ сосѣдней ригѣ и ударомъ топора убилъ ее и ея любовника. Говорятъ, на другой день на мѣстѣ нашли только кучу искрошеннаго въ куски человѣческаго мяса“.—Когда я пришелъ въ острогъ, Волчокъ былъ уже осужденъ на двадцать лѣтъ въ каторжныя работы и ждалъ весны, чтобъ отправиться на Сахалинъ. Держался онъ одиноко и, обыкновенно, съ угрюмымъ лицомъ и сдвинутыми бровями ходилъ въ дальнихъ углахъ тюремнаго двора. Во всемъ острогѣ не было такого смѣльчака, который захотѣлъ бы задѣть его въ такія минуты. Я всегда удивлялся, какъ въ такомъ худенькомъ и, повидимому, слабомъ тѣлѣ могла быть такая огромная сила. Помню одну сцену. Жены пришли на свиданіе къ мужьямъ; арестанты, какъ всегда, толпой окружили ворота, черезъ полуотворенную калитку которыхъ переговаривались приходившія.

— А вотъ ваша супруга, чать, ужъ не придетъ къ вамъ,—обратился Огузковъ къ Волчку,—потому укомплектовали вы ее, можно сказать, въ полной мѣрѣ.

— Отстань, дьяволъ!—оборвалъ его Волчокъ.

— Теперь, значитъ, — не унимался Огузковъ, — лежитъ съ миленькимъ, обнявшись, и васъ...

Какъ это случилось, ни я, ни остальные, бывшіе тутъ не успѣли замѣтить: огромное тѣло Огузкова болтнулось и грузно шлепнулось на камни тюремнаго двора. Надъ лежавшимъ стоялъ Волчокъ съ горящими глазами и раздувающимися ноздрями и злобно хрипѣлъ:

— Слышь, дьяволъ, убью другой разъ.

Огузковъ, кряхтя и охая, прижимая въ кровь разбитый високъ, поплелся въ камеру при общемъ хохотѣ довольныхъ арестантовъ.

Несмотря на свою угрюмость и замкнутость, Волчокъ былъ любимцемъ всего острога. Временами на него находили полосы какого-то безумнаго веселья. Его дикая и угрюмая фигура преображалась,—онъ бѣсился, какъ разыгравшійся ребенокъ, представлялъ, какъ молодые бараны бодаются, какъ телята прыгаютъ весной по полю, какъ дятелъ долбитъ дерево, передразнивалъ птицъ и животныхъ. Жизнь животнаго міра онъ зналъ въ совершенствѣ и, мнѣ кажется, лучше, чѣмъ людскую жизнь. И столько задушевнаго было въ его смѣхѣ, такимъ незлобивымъ весельемъ и юморомъ свѣтились глаза, такимъ ребенкомъ, кроткимъ и нѣжнымъ становился онъ весь, что его невозможно было не любить въ такія минуты. Острогъ собирался тогда на ступенькахъ кухоннаго крыльца, и, казалось, веселье Волчка свѣтилось на сѣрыхъ и тусклыхъ арестантскихъ лицахъ. Иногда онъ начиналъ разсказывать сказки, и его черные глаза расширялись, а лицо принимало мечтательное, задумчивое выраженіе, или пѣлъ пѣсни тихимъ дѣвичьимъ голосомъ, — протяжныя, грустныя пѣсни. И вдругъ, въ самый разгаръ общаго смѣха или въ срединѣ своей сказки, Волчокъ закидывалъ назадъ голову и начиналъ протяжно и жалобно выть. Его лицо темнѣло при этомъ, брови сдвигались и глаза уходили внутрь. Мнѣ всегда слышалось въ этомъ воѣ нѣчто большее простого подражанія, и я всегда торопливо уходилъ отъ окна, чтобы не видѣть исказившагося отъ внутренней боли лица. Арестанты тоже расходились—угрюмые, недовольные. Такія минуты веселья рѣдко приходили у Волчка, и послѣ нихъ онъ всегда по нѣскольку дней

болѣе обыкновеннаго замыкался въ себя, дѣлался унылъ и необщителенъ.

У Волчка была еще одна особенность: онъ не могъ выносить острожныхъ женщинъ. Не было такихъ ругательствъ, которыхъ онъ не изливалъ бы на головы дамъ нижняго этажа. Онъ не давалъ прохода своими насмѣшками даже острожнымъ ухаживателямъ, въ особенности Огузкову. Потому ли, что Волчокъ былъ самый красивый кавалеръ въ нашемъ острогѣ, или острожныхъ дамъ обижало его презрительное отношеніе къ нимъ,—только любимымъ развлеченіемъ этихъ дамъ было дразнить Волчка. Онѣ знали больное мѣсто Волчка, и если онъ въ отвѣтъ на ихъ заигрыванья и ругательства угрюмо молчалъ, одна изъ нихъ непремѣнно говорила какую-нибудь фразу въ родѣ: „отъ этакого ирода кажная жена гулять почнетъ“. Эта фраза всегда мѣтко и больно попадала въ цѣль, — разъяренный Волчокъ хваталъ первый попавшійся камень и пускалъ его въ ненавистное окно. Стекла звенѣли, и Волчка уводили въ карцеръ.

Въ одной камерѣ съ Савельемъ жилъ еще бродяга, объявившійся гдѣ-то въ Пермской губерніи уроженцемъ нашего уѣзда. Это былъ глубокій старикъ съ трясущеюся сѣдою и косматою головой. Онъ давно уже сидѣлъ въ нашемъ острогѣ и также все ждалъ воли въ видѣ какой-то „настоящей гумаги“, какого-то „рассейскаго бялета“, который, по его словамъ, вотъ-вотъ долженъ выйти ему отъ высшаго начальства. Объ этой „гумагѣ“ онъ постоянно твердилъ арестантамъ, съ просьбой о „рассейскомъ бялетѣ“ (у старика былъ какой-то сибирскій выговоръ), онъ приставалъ къ каждому начальству, являвшемуся въ острогъ. Повидимому, начальство само не знало, что дѣлать съ нимъ, такъ какъ сверстники старика въ той деревнѣ, уроженцемъ которой онъ на-

звался, всѣ перемерли, и никто не могъ признать его. Лѣто и зиму бродилъ онъ по двору шатающеюся походкой, съ трясущеюся непокрытою косматою головой, бормоча безсвязныя рѣчи, понятныя, кажется, одному Савелью, за которымъ старикъ ходилъ, какъ тѣнь.

— За что тебя сослали, дѣдушка Софронъ?—какъ-то разъ полюбопытствовалъ я.

— За барина, милый, за барина... Ляксандра Иваныча... Ольховскій прозывался, можетъ слышалъ? Ну, во!.. Важный баринъ-то былъ, при Царицѣ состоялъ... И вышла тутъ сумятица промежъ народа...—Старикъ гудѣлъ старческимъ хриплымъ басомъ и часто останавливался.—А чанъ былъ агромаднѣющій,—заводъ у барина-то былъ винной,—баринъ-то и оплошалъ...

— Какъ оплошалъ? — въ недоумѣніи спросилъ я, когда старикъ остановился и замолчалъ.

Сѣдыя косматыя брови поднялись, и мутные старческіе глаза остановились на мнѣ.

— Сварился баринъ-то... въ чану-те.—Онъ снова помолчалъ.—Гораздо народу въ тѣ поры зацапило.

— Ну, а ты-то?

— А мы въ родѣ какъ клюшникомъ при баринѣ состояли... и тутъ при немъ быдто... у чана-те...

Я смотрѣлъ на могучія плечи старика и громадную сѣдую, показавшеюся мнѣ страшною, голову.

— Что народу-то, народу-то!—бормоталъ онъ, — все кнутомъ, все кнутомъ... Важный баринъ-то былъ, при Царицѣ состоялъ... Такъ-то, родимый, гумагу, вишь ты, охлопатываю,—перешелъ онъ на любимую тему, — настояшшу, сорокъ лѣтъ выправляю,—не выходитъ...

За этими тремя фигурами идетъ безличная толпа. Тутъ было нѣсколько убійцъ, были воры и воришки, были конокрады, было нѣсколько семей, ссылавшихся въ Сибирь по приговору обществъ, полдеревни сидѣло

за увозъ помѣщичьяго хлѣба и поджогъ господской риги. Былъ сѣденькій, благообразный и богобоязненный старичокъ съ слезящимися глазами, читавшій постоянно божественныя книги и разсуждавшій со мной о Писаніи, извѣстный полъуѣзду грабитель и кулакъ, сидѣвшій за растрату и другія беззаконія, которыя онъ натворилъ за десять лѣтъ своей службы старшиной. Когда я вспоминаю эту пеструю, уже далеко ушедшую отъ меня въ прошлое толпу, мой взглядъ больше всего останавливается на задумчивой, сутуловатой фигурѣ съ пепельными, волнистыми волосами и сосредоточеннымъ, долгимъ взглядомъ голубыхъ глазъ.

Я не понимаю теперь, почему арестанты съ такимъ уваженіемъ относились къ Савелью, никогда не разсказывавшему своихъ подвиговъ, не стремившемуся занять первое мѣсто. За все время моей жизни въ острогѣ я не помню ни одного случая, гдѣ бы Савелья чѣмъ-нибудь задѣли, оскорбили, посмѣялись. И это было тѣмъ болѣе странно, что Савеліи почти ни съ кѣмъ не сходился. Впрочемъ, исключеніе для него составляли новички. Въ нихъ, мнѣ казалось, Савеліи видѣлъ уголокъ воли, отъ нихъ пахло еще пашней, избой, хлѣвомъ, волей. Вотъ почему Савеліи былъ первый человѣкъ, съ которымъ знакомились новички и отъ кого встрѣчали ласку и привѣтъ. Онъ же, впрочемъ, всегда и провожалъ освободившихся, причемъ всякому говорилъ приблизительно въ однихъ и тѣхъ же выраженіяхъ:

— Ну, дай тебѣ Господи! Коли Богъ приведетъ... въ случаѣ чего... (подразумѣвается: воли) можетъ и свидимся. Ну, съ Богомъ! Назадъ не ворочайся!

Изъ остальныхъ арестантовъ Савеліи сходился только съ Волчкомъ. Онъ любилъ его какою-то отеческою любовью и сильно жалѣлъ его.

— Пропалъ парнишка!—говорилъ онъ о Волчкѣ.— Вѣдь добрый какой, рубашку отдастъ, а звѣрь выйдетъ—и лютый звѣрь. Не чета Огузкову! Огузковъ-то вѣдь здѣсь кандалами бахвалится, а попадетъ въ партію—живой рукой сократятъ. Овца будетъ! Ну, а Волчка не сократишь, нѣтъ!

Поражало меня въ Савельѣ то тихое спокойствіе, которое было разлито во всей фигурѣ его и такъ рѣзко противорѣчило его вѣчно мятущемуся сердцу, вѣчно напряженному и взволнованному душевному міру. Не менѣе поражала въ немъ его удивительно сохранившаяся натура. Когда я слушалъ Савелья, „гуторящаго“ рязанскимъ говоромъ съ другими арестантами, обсуждавшаго хозяйственныя и общественныя крестьянскія дѣла, мнѣ казалось, что онъ только что взятъ отъ сохи; казалось, что вся двадцатилѣтняя бродяжья и каторжная жизнь, вся мощная сибирская жизнь, кладущая такъ быстро печать на русскаго человѣка,—что все это былъ сонъ, разлетѣвшійся при пробужденіи и не оставившій на Савельѣ никакого слѣда. Если бъ я не зналъ положительно его прошлаго, я не повѣрилъ бы, что это—бродяга, двадцать лѣтъ скитавшійся въ Сибири.

Помню любимыя развлеченья Савелья. Тускло ползетъ зимній вечеръ въ острогѣ. Медленно и тускло тянется острожная пѣсня: „а... а... а...“, какъ короткія всхлипыванья плачущаго человѣка, слышится изъ одиночной камеры, несется изъ общихъ и глухо гудитъ снизу, изъ женскихъ камеръ. Пѣсня наростаетъ, ширится, растягивается... „А-а-ахъ...“ долгимъ стономъ стоитъ въ острогѣ, и снова пѣсня спадаетъ, только короткія всхлипыванья раздаются по одиночкамъ. Замолкаютъ и они. „А... а... а...“ глухо и жалобно слышатся черезъ полъ тихія всхлипыванья женскихъ голо-

совъ. Они поднимаются кверху, наполняютъ корридоръ, разносятся по камерамъ, и снова долгимъ стономъ стонетъ острогъ. Словъ не слышно, да и были ли они? Временами, когда въ полудремотѣ, съ закрытыми глазами, лежу въ своей камерѣ, мнѣ даже кажется, что это поютъ уже и не арестанты, а поютъ тяжелые замки камеръ, ржавыя рѣшетки старыхъ оконъ, толстыя грязныя стѣны, что самый острогъ поетъ и плачетъ и кому-то жалуется туда, на волю... Жалуется, какъ медленно тянутся скучные дни арестантовъ, какъ изо дня въ день, и днемъ и ночью, цѣлыми годами, тоскуетъ арестантское сердце...

А на волѣ, кругомъ острога, вьется вьюга; съ жалобнымъ воемъ и причитаньями стучится она въ окна и также плачетъ, также жалуется, что тамъ, на волѣ, грустно, холодно, сиротливо... Въ дремотѣ, все болѣе окутывающей меня, мнѣ начинаетъ казаться, что острогъ съ кѣмъ-то разговариваетъ, плачущіе звуки сплетаются, перепутываются, куда-то уходятъ отъ меня, и остается одинъ тихій голосъ, ужасно жалобный, молящій, тоскующій...

Вдругъ раздается лай собаки, и я просыпаюсь. Острогъ замолкаетъ. Сигналъ поданъ, представленіе начинается. Тревожно, тихо и коротко ржетъ лошадь; какъ будто только-что проснувшійся пѣтухъ кричитъ хриплое „ку-ка-ре-ку“; промычитъ корова, заблеетъ овца, ягненокъ жалобно пропищитъ, а собака лаетъ отрывистыми, пугливыми взрывами лая. И вдругъ изъ одиночной камеры, помѣщавшейся въ дальнемъ углу корридора, раздается протяжный вой волка. Я десятки разъ слышалъ голосовыя упражненія Волчка, но этотъ вой до такой степени былъ дикъ и страшенъ и такъ неподражаемо походилъ на тяжелый вой голоднаго волка, что я всякій разъ вздрагивалъ въ испугѣ. Не-

вообразимый хаосъ начинался въ хлѣву. Лошади бѣшено ржали, отчаянно мычали коровы и телята, жалобно, разными голосами блеяли испуганныя овцы и ягнята, кудахтали куры, визжала свинья, собака выла и хрипла, надрываясь отъ лая. А волкъ вылъ все тоскливѣе, все ужаснѣе, терзая душу своимъ не то стономъ, не то воемъ...

Я разъ видѣлъ Волчка въ ту минуту, когда онъ вылъ. Онъ стоялъ у оконца своей запертой камеры; тонкія, цѣпкія руки словно впились въ прутья рѣшетки; закинувши голову, какъ настоящій волкъ, онъ выводилъ свои раздирающія ноты. Лица не было видно, только бѣлки глазъ какъ-то странно свѣтились въ полутьмѣ.

Ужасъ хлѣва доходилъ до своего апогея. Кто-то въ ярости рычалъ, кто-то въ ужасѣ жалобно блеялъ. Потомъ все начинало успокаиваться. Слышался удаляющійся, словно замирающій и еще болѣе тоскливый вой волка, рѣже лаяла собака, затихали голоса. Только куры еще долго кудахтали, пока пѣтухъ не кричалъ успокоительно „ку-ка-ре-ку", что обозначало, что волкъ прогнанъ и хлѣвъ засыпаетъ.

— Иванъ Иванычъ, не спишь? — слышу я изъ сосѣдней камеры голосъ Савелья.

Я знаю, онъ, какъ и я, сидитъ у двери и слушаетъ.

— Не сплю,—отвѣчаю я.

— Мураевня наша, а? Волкъ-то какъ!

— Да,—соглашаюсь я.

Долженъ признаться, что я не меньше Савелья увлекался этими представленіями,—иллюзія была слишкомъ полная. Особенно въ такіе зимніе вечера, когда вьюга жалобно выла кругомъ, снѣгомъ и холодомъ вѣяло въ гнилыя рамы острога,—въ такихъ представленіяхъ вставала цѣлая картина. Крестьянская изба,

занесенная снѣгомъ, хлѣвъ, огороженный жалкимъ плетнемъ и... голодный волкъ, несчастный, полуживой волкъ, подъ страхомъ смерти приближающійся къ этому хлѣву... Очевидно, то же чувство, та же иллюзія поднималась и въ актерахъ-исполнителяхъ, такъ вполнѣ входили они въ свою роль.

Только для Волчка, повидимому, не было иллюзіи. Это была уже не игра, не представленіе: то волчьимъ голосомъ вылъ и стоналъ человѣкъ, почувствовавшій себя волкомъ между людьми, — человѣкъ, плачущій о своемъ прошломъ, о своей погибшей жизни и видящій въ будущемъ только Соколій островъ,—тотъ ужасный Соколій островъ, который тогда, десять лѣтъ назадъ, казался запертою въ далекомъ морѣ человѣческою могилой, откуда ни для кого нѣтъ возврата и гдѣ только черное воронье клюетъ бѣлыя каторжныя косточки...

III.

— Ну, а дальше?

— Дальше—опять лѣсъ.

— А рѣка еще будетъ?

— И рѣка будетъ?

— А за рѣкой опять лѣсъ?

— Опять. Горы ужъ тутъ пойдутъ.

— Го-о-ры? Это, дядюшка Савелій, гдѣ, ты сказывалъ, снѣгъ-то все лежитъ? Большія?

— Во-о... большія! День идешь, два идешь,—все не перейдешь.

— Какъ же это снѣгъ-то на нихъ не таетъ, ужели все зима?

— Зима,—отвѣчаетъ Савелій.

— А народъ-то есть?

— И народъ есть. Мало только.

Савелій десятый разъ разсказываетъ своимъ слушателямъ про Сибирь одну и ту же исторію, и Сенька, его главный слушатель — семилѣтній пузатый мальчишка, неизмѣнно задаетъ одни и тѣ же вопросы. Сенькинъ отецъ ссылается въ Сибирь по приговору общества, и потому Сенька очень интересуется сибирскою дорогой и сибирскими чудесами. Теперь онъ молчитъ, подавленный неумѣщающимися въ дѣтской головѣ размѣрами лѣсовъ и рѣкъ, и опять лѣсовъ, опять рѣкъ и горъ, что въ два дня не перейдешь и гдѣ снѣгъ никогда не таетъ...

— А какъ медвѣдь-то, дядюшка Савелій?

— Медвѣдь? — словно просыпается задумавшійся Савелій.

— Даве-то сказывалъ!

— Извѣстно какъ: всталъ на заднія лапы да на меня.

— Ну, а ты его?

— А я его и нырнулъ.

— А онъ тебя?

— А онъ меня—хамъ!...

— А ты его?—Сенька нетерпѣливо теребитъ Савелья за рукавъ.

— И я его—хамъ!...

Сенька умолкаетъ и кладетъ палецъ въ ротъ, что знаменуетъ усиленную работу Сенькиной головы. Савелій поднимаетъ голову и тоже серьезно смотритъ на Сеньку,—только одни глаза смѣются.

— Глупый ты парнишка, Сенька! — разрѣшаетъ Савелій недоумѣніе слушателя.— Его, братъ, не схамкаешь! Кишки я ему выпустилъ.— Сенька долго молчитъ.

— Ножикомъ?—снова спрашиваетъ онъ.

— Ножикомъ,—отвѣчаетъ Савелій.

— Покажь, гдѣ у тебя?...

Савелій наклоняетъ голову и показываетъ широкій и гладкій рубецъ, идущій отъ затылка.

Аниска, пятилѣтняя Сенькина сестра, взбирается на колѣни Савелья и тоже разсматриваетъ его голову.

— Ну, а какъ не угодишь подъ девято-то ребро?— спрашиваетъ Сенька, очевидно, знающій во всѣхъ подробностяхъ исторію съ медвѣдемъ.

— А ты посчитай: разъ, молъ, два,—нащупаешь девятое ребро, тутъ и тыкай.

Проницательный Сенька не поддается на обманъ и заливается хохотомъ.

— Онъ-те нащупаетъ,—говоритъ Сенька.

Савелій откладываетъ шило и съ удовольствіемъ разсматриваетъ только что оконченный дѣтскій лапоть. Сплетенный изъ тоненькихъ, разноцвѣтныхъ и искусно подобранныхъ полосокъ коры, лапоть вышелъ хоть куда и уже давно дразнитъ завистливые Анискины глазки.

— Дядюшка Савелій, сплети экій лапотокъ!—умильно ластится Аниска.

— Пряникъ-то, небось, не дала даве!—укоряетъ Савелій Аниску.— Ну, да ужъ ладно. Вотъ погоди—ужо.

Савелій—большой пріятель со всѣми острожными ребятами. Каждый день острожный подвалъ, куда свѣтъ проникалъ только въ открытую дверь и который носилъ, тѣмъ не менѣе, громкое названіе арестантскихъ мастерскихъ,—оглашался веселымъ дѣтскимъ хохотомъ и безконечными разсказами Савелья.

— Савелья къ воротамъ!—раздается со двора.

Савелій торопливо сбрасываетъ лыко, которымъ обвязана его голова, и прячетъ подъ халатъ маленькіе лапти и коробочку, разукрашенную разноцвѣтными бумажками, фольгой и узорами изъ наклеенной соломы. Онъ знаетъ, что пришла жена, и волнуется.

Было что-то трогательное въ этой ожившей послѣ двадцатилѣтней разлуки супружеской любви. Окно моей камеры было первое отъ воротъ, и я до мельчайшихъ подробностей помню эти короткія свиданія. При видѣ Савелья осунувшееся, но все еще красивое лицо Матрены покрывается румянцемъ. Зоветъ она его: „Савелій Потапычъ“; Савелій ее—„Матрена Александровна“. Встрѣчаются всегда очень любовно, здороваются за руку и съ какою-то торопливою застѣнчивостью разспрашиваютъ другъ друга. Въ рукахъ у Матрены непремѣнно узелокъ съ деревенскими гостинцами. Савелій отказывается, Матрена настаиваетъ. Въ узелкѣ пирогъ съ начинкой, или курица, рѣпа, брюква. Разъ даже оказалась бутылочка водки, запеченная въ каравай хлѣба, тутъ же, впрочемъ, открытая коварнымъ надзирателемъ. Савелій въ свою очередь всегда что-нибудь припасетъ для Матрены—или дешевенькій платокъ, или, какъ въ этотъ разъ, лапти, а коробочку для Ѳеклуши, десятилѣтней дѣвочки, тутъ же пугливо жмущейся у воротъ.

Повторяю, было что-то до такой степени трогательное въ этихъ свиданіяхъ, что даже арестанты, всегда, какъ на любимое развлеченіе, собиравшіеся у воротъ во время свиданія съ женами,—отходили и оставляли однихъ Савелья и Матрену.

— Какъ же это, Савелій,—пробовалъ я однажды спросить его,—развѣ ты не сердишься на Матрену? Вѣдь она тебя выдала?

— Чего сердиться-то! Это всякому доведись... Двадцать годовъ не видались. Къ тому же каторжникъ, бѣглый,—самъ знаешь, какъ объ насъ въ Россіи-то понимаютъ...

— Теперь-то вотъ ходитъ же!

— Старое вспомянула. Хоть всего-то два годика

вмѣстѣ прожили, а ладно жили, согласно. Люди-то на насъ любовались,—вотъ какъ!

Мнѣ показалось, что Савелій увлекся воспоминаніями о прошломъ. Я воспользовался случаемъ и попросилъ его разсказать, какъ его сослали, какъ онъ жилъ въ Сибири и воротился на родину. Я и прежде заговаривалъ объ этомъ, но Савелій постоянно отмалчивался. Теперь онъ въ раздумьи сидѣлъ противъ меня, видимо, собираясь съ мыслями.

— Сказывать-то долго! — нерѣшительно замѣтилъ было онъ, но тотчасъ прибавилъ:

— Ну, да ужъ коли тебѣ такая охота,—скажу.

„Какъ и за какое дѣло въ Сибирь пошелъ,—началъ Савелій,—нечего разсказывать. Что сухое-то сѣно ворошить! Одно скажу: не было моей вины. Кабы теперешнимъ судомъ,—оправили бы, прямо бы на свѣтъ Божій выпустили! Настоящаго-то виноватаго вся деревня знала. Покойникъ уже теперь. Ну и пошелъ. Жену разговорила родня, да добрые люди. И больна къ тому же лежала. Прямо еще въ партіи положилъ—бѣжать изъ каторги. На первую же весну и убѣгъ. До Красноярска не дошелъ,—воротили. Опять убѣгъ. Разовъ пять такъ-то бѣгалъ, да все незадачливо. Въ Сибири еще пымаютъ, да опять въ ту же казарму. Въ послѣдній разъ хорошихъ товарищей подобралъ, бывалыхъ,—ужъ въ Оханскомъ уѣздѣ попался, да и то по случаю. Тутъ на поселеніе отправили. И такъ мнѣ въ этотъ разъ пофартило: пришелъ на мѣсто, – прямо къ хорошему человѣку попалъ въ работники, на заимку. Мужикъ очестливый, хоть и челдонъ... Что я тебѣ скажу! – Савелій вдругъ оживился.—Вѣдь совсѣмъ было прижился. Семь лѣтъ на одномъ мѣстѣ прожилъ,—не трогался. И жизнь-то бродяжья надоѣла. Какая жизнь въ нашемъ-то сословіи? Прямо надо сказать—волчья:

знаешь, зубы оскалитъ, а хвостъ подожметъ. Думаю, поколь шататься-то?.. Нашелъ добрыхъ людей и ладно. Хозяинъ ужъ подговариваться сталъ. Дочь, видишь у него овдовѣла, такъ вотъ за меня выдать наровилъ. Ну, и я ничего. И ужъ совсѣмъ было...“

Савелій помолчалъ.

„...Какъ оно пришло,—продолжалъ онъ,—и не знаю. Тайга тамъ кругомъ, темное мѣсто,—прямо, надо сказать, медвѣжій уголъ. На самой этой заимкѣ старуху медвѣдь въ избѣ съѣлъ. Онъ же и меня-то пощупалъ,—Савелій указалъ на голову. — И вотъ вдругъ тайга эта самая опостылѣла мнѣ. Вспомнишь наше-то здѣшнее приволье, да благодать;—не смотрѣлъ бы. А тутъ еще выть она примется,—тоска! Забываться сталъ, голоса разные слышать. Помню, разъ наяву въ родѣ сна было. Разгудѣлась это тайга и слышится мнѣ звонъ въ ней,—то-есть вотъ какъ есть нашъ деревенскій колоколъ... Я его никогда не забывалъ, маленькій на Святой любилъ звонить. Ну, такъ вотъ. А тайга-то чудно шумитъ,—иной разъ и взаправду словно звонъ изъ нея идетъ. Тутъ слушаю,—пѣтъ, какъ есть нашъ деревенскій колоколъ къ обѣднѣ благовѣститъ Все-то мнѣ опостылѣло, работа изъ рукъ валится, на невѣсту не смотрѣлъ бы. Сны сталъ видѣть. Сижу я, будто, у себя въ Мураевнѣ, хозяйка при мнѣ и все какъ есть на старомъ мѣстѣ, ровно и не уходилъ никуда. И разъ, и два, и три сонъ вижу—и все одно и то же. Тутъ въ скорости и случилось... во снѣ... Приходитъ будто старецъ мой, беретъ за руку. „Вставай, говоритъ, Савельюшка, часъ твой пришелъ“. Помолчалъ, а потомъ вдругорядь: „хозяйка ждетъ, — домой пора“. И такъ это явственно! утромъ проснулся, словно кто за руку держитъ, словно все еще старца вижу. Ну, ужъ тутъ я ни минуточки и не думалъ. Прямо къ хозяину,—такъ,

молъ, и такъ. Ну, ничего. Добрый былъ, не какъ прочіе челдоны. Честь-честью простились. Наградилъ онъ меня, не обидѣлъ".

Савелій передохнулъ.

„...И пошелъ я. Пошелъ не какъ всегда, то-есть никакого страху, чтобы, напримѣръ, хорониться отъ кого, опаску какую соблюдать. Такъ на душѣ держу: коли Господь благословилъ въ свое мѣсто идти—доведетъ... Такъ и иду напроломъ. И что жъ ты думаешь? Прошелъ, хоть бы разъ кто опросилъ. Къ товарищамъ не приставалъ,—иду себѣ одинъ. До Москвы добрался. А раньше я зарокъ далъ—къ Троицѣ-Сергію зайти. Ну, зашелъ, исповѣдался, причастился, все какъ слѣдуетъ, а потомъ, благословясь, и въ свою губернію перешагнулъ"...

„Ахъ, братецъ ты мой!—съ просвѣтлѣвшимъ лицомъ, какимъ-то умягченнымъ голосомъ заговорилъ Савелій.—Скажу я тебѣ, иду по своимъ-то мѣстамъ, ровно крылья несутъ. Больно ужъ у насъ мѣста-то хороши: свѣтло такъ, просторно... Ни устатку, ни заботы,—можно сказать, всякая жилка въ тебѣ играетъ. Подъ вечеръ въ свою Мураевню потрафилъ. Двадцать годовъ, скажемъ, прошло, а все, думаю, признать могутъ. Ну, пока смерклось, въ конопляхъ просидѣлъ у себя же, на задворкахъ,—думаю, хозяйка не пойдетъ ли за какимъ дѣломъ. Только вотъ тутъ-то, какъ въ коноплѣ-то сидѣлъ, и раздумался. Ну, а какъ хозяйка померла, либо за другимъ замужемъ, либо не приметъ?.. И дальше-то что? Какъ-то мнѣ это раньше въ голову не приходило, — больно ужъ въ сонъ увѣрился. Смотрю кругомъ: плетень поломанъ, дворъ видно, клѣтушка, самъ еще и рубилъ, старенькая, на бокъ скосило. Видать, призору не было. И все строеніе темное, ветхое,—сирота-сиротой. А тутъ еще роса холодная пала,—

сознобился я. Такъ-то ли жутко стало. Ну, дѣлать нечего. Прокрался я къ хибаркѣ своей, — на задахъ мы жили, въ передней-то братья. Стукнулъ въ оконце разъ, другой, слышу — идутъ. „Чего, говорятъ, надо?“...

„...И-и, братецъ ты мой! Стою истуканъ-истуканомъ. Хозяйка, вѣдь! Голосъ-то у меня перехватило, слезы бѣгутъ, а отвѣчать надо.

„— Прохожій, — говорю. — Ночевать, молъ, Христа ради...

„Помолчала она,—не признала. Боится, видно.

„— Одна я,—говоритъ.—Мужиковъ-то нѣтъ.

„— Христа ради,—говорю.—Не опасайся.

„Впустила. Огонь вздула. Стоимъ другъ противъ дружки въ избѣ-то. Признавать стала. Господи, Боже мой!..“

Савелій замолчалъ. Онъ наклонилъ голову и весь какъ-то опустился и съежился. Я отвернулся и не видѣлъ его лица.

„...Другъ ты мой, другъ! Вѣришь ли, не помню, что тутъ было. Помню только, сидимъ мы на лавкѣ, другъ на дружку смотримъ, а какія слова говоримъ — не знаемъ. Дѣвчонка тутъ ея проснулась, Ѳеклушка-то. „Чей это, говоритъ, мамка, мужикъ-то?“—Я жду, не дышу, что скажетъ... А она это не сразу: „мой“,—говоритъ. Такъ она меня этимъ словомъ утѣшила... и у меня языкъ воротился. Смотрю я на дѣвчонку и не знаю, моя ли, нѣтъ ли. Осталась у меня въ тѣ поры дѣвчонка, мѣсяцу; ну, да вижу—больно мала по тѣмъ годамъ.

„— Чья, молъ, будетъ?

„— Отъ хозяина, отъ покойника, говоритъ. Больше ничего.

„Уложила она спать дѣвчонку, говорить стали.

„— Твоя, молъ, воля, Матрена Александровна. Не

хозяинъ я теперь тебѣ, — что хочешь, то со мной и дѣлай. Хочешь—выгонь, хочешь—у себя оставь!

„— Что ты, говоритъ, Савелій Потапычъ, Христосъ съ тобой!

„Ничего, оставила. Винца еще разстаралась. Поѣсть собрала. Коротаемъ это ночь-то...“

— Вотъ ты снамъ-то, не вѣришь? — вдругъ обратился ко мнѣ Савелій.

„...Посижу, посижу, взгляну кругомъ, — все, какъ есть что во снѣ въ Сибири-то видѣлъ. Тутъ и хозяйка сидитъ, столъ тотъ же, скамейка; кажись, и лоханка старая на старомъ мѣстѣ стоитъ, — ну, одно слово, все по-старому. На зарѣ ужъ легли“.

Савелій остановился и замолчалъ.

— Ну, а дальше-то что?

— Ты про что это?—словно очнулся онъ.

— Да какъ же она объявила, ежели хорошо принимала?

„...Такъ и объявила. Проснулась утромъ и раздумалась. Да и какъ, самъ ты подумай, этакое дѣло бабьимъ умомъ обсудить? Сказалъ вѣдь я ей, что бѣглый! Ну, думала, думала,—къ попу посовѣтоваться. А батюшка-то и притакнулъ къ уряднику. Просыпаюсь я, ужъ тутъ народъ и урядникъ. „Вяжи!“—говоритъ. Ну, точно, въ ту пору осердился я, шибко осердился. „Лучше бы, говорю, ты ножикъ мнѣ ночью въ горло всунула, нечѣмъ на такое дѣло идти. Не принимала бы ужъ“, говорю. Что же ты думаешь? Плачетъ, въ ногахъ валяется. „Прости, говоритъ, Савелій Потапычъ, не своимъ я умомъ“... Ну, и отошло у меня отъ сердца. А тутъ праздникъ въ тотъ день былъ, второй Спасъ,—въ скорости къ обѣднѣ заблаговѣстили; звонъ-то, что въ тайгѣ слышалъ, привелъ Господь въ своемъ селѣ услыхать. Вотъ какъ предъ истиннымъ Богомъ, сразу все отошло.

Легко стало, радостно. „Ну, говорю, здравствуйте, православные!“ Братъ тутъ подошелъ, старикъ ужъ,—другой-то померъ. Поцѣловались мы съ нимъ. Хрестьяне подошли, которые помнили. И такъ это хорошо поговорили мы тутъ полденечка, урядника угостили, а къ вечеру и въ становую квартиру проводили меня.

„А ты говоришь—сердиться!—снова заговорилъ Савелій.—Было сердце, вѣрно, а только скажи мнѣ въ ту пору, въ Сибири-то, что все вотъ такъ и выйдетъ,—пошелъ бы, съ превеликой радостью пошелъ бы!“

Савелій долго молчалъ и сидѣлъ, понуривъ голову. Я не хотѣлъ мѣшать ему.

— Вотъ что скажи ты мнѣ,—снова заговорилъ онъ:—жена мнѣ теперь Матрена, или нѣтъ? Въ толкъ я не возьму. Теперь она вдова, Карасева пишется, а я Телѣгинъ. Какъ же, въ случаѣ чего (подразумѣвается „воля“)... Ужли насъ опять вѣнчать будутъ?

Вопросъ былъ сложный и совершенно неожиданный для меня. Я затруднился отвѣтить.

— Теперь опять этакъ сказать...—продолжалъ Савелій:—жить ежели не вѣнчавшись, и выйдетъ, что живу я, значитъ, со вдовой Карасевой, а не со своей женой. И ребята, коли Богъ благословитъ, будутъ не мои дѣти, а въ родѣ какъ подкидыши. Чужими насъ тоже почесть нельзя... Ума не приложу!

Я тоже не могъ ума приложить и что-нибудь разъяснить Савелью, да и разъяснять-то какъ-то странно было въ виду очевидной неосуществимости мечтаній Савелья.

Раздумье Савелья не долго продолжалось. Онъ вдругъ оживился и весело заговорилъ:

— Смотри, какъ заживемъ съ Матреной Александровной, лучше молодыхъ! Пріѣзжай, смотри, безпремѣнно. Не вѣкъ и тебя-то держать будутъ. Какая твоя

вина?—нѣтъ на тебѣ вины. А тамъ, можетъ, Богъ приведетъ, крестникъ у тебя будетъ, или крестница,—ужъ не откажи...

Мнѣ всегда странно было слушать Савелья, когда онъ подобнымъ образомъ мечталъ, какъ будто изъ дѣйствительности я переносился въ область сновидѣній. Казалось, Савелій и мысли не допускалъ, что его, какъ бѣглаго каторжника, отправятъ въ ту же каторгу, предварительно наказавши плетьми... Я пробовалъ однажды посовѣтовать ему хлопотать „на всякій случай“ о разрѣшеніи Матренѣ слѣдовать за нимъ въ Сибирь. Онъ немедленно согласился, что это хорошо и слѣдуетъ сдѣлать; но по его голосу и лицу я видѣлъ, что этотъ „всякій случай“, т. е. отправку въ Сибирь, онъ считаетъ совершенно невѣроятною вещью.

Теперь Савелій сидѣлъ противъ меня съ счастливымъ лицомъ. Его влажные еще отъ слезъ, широко открытые, глаза были прекрасны и молоды. Они смотрѣли прямо на меня, и сколько въ нихъ было и радости, и счастья, и любви, и какъ много вѣры, — этой слѣпой, ужасной, безумной вѣры!..

IV.

Савелій почти счастливъ, — ему удалось устроить огородъ въ острогѣ. „Савельевы сады“, какъ прозвали арестанты этотъ огородъ, въ своемъ родѣ были не менѣе любопытны, чѣмъ Семирамидины сады,—по крайней мѣрѣ устроить ихъ было такъ же мудрено. Цѣлый мѣсяцъ упрашивалъ Савелій смотрителя, и какъ тотъ ни ругался, Савелій все продолжалъ при каждомъ удобномъ случаѣ, какъ только замѣчалъ веселое лицо у добродушнаго Івана Ѳомича, обращаться съ одною и тою же просьбой: „дозвольте, ваше благородіе, землицы!“

— Чортъ съ тобой,—разрѣшилъ, наконецъ, смотритель.—Только отвяжись, дьяволъ!

Дѣло закипѣло. Нашъ тюремный надзиратель Васильичъ принесъ Савелью самой лучшей земли изъ своего огорода и пророщенныхъ сѣмянъ огурцовъ и гороха.

Сшили изъ лубка ящикъ, привязали снаружи окна къ рѣшеткѣ и посадили сѣмена. Огурцы не взошли, за то горохъ взошелъ очень густо и на солнопекѣ каменной стѣны началъ весьма сильно рости. Взошелъ и подсолнухъ, неизвѣстно какъ очутившійся между сѣменами огурцовъ и гороха.

Арестанты посмѣивались надъ „Савельевыми садами", но, въ сущности, такъ же, какъ и онъ, любовались ими.

— Дай-кось, Савелій Потапычъ, я погляжу на сады-то твои!—говорилъ какой-нибудь арестантъ, входя въ камеру Савелья.

И въ голосѣ, и въ этомъ смѣхѣ слышалась ласковая нотка, которая такъ рѣдко звучитъ въ острожныхъ рѣчахъ и острожномъ смѣхѣ. Почти всякій входившій продѣлывалъ одно и то же: долго смотрѣлъ на горохъ и подсолнухъ, — подсолнухъ почему-то особенно нравился арестантамъ и Савелью, — непремѣнно потрогивалъ стебли и землю и поднималъ голову съ однимъ и тѣмъ же удивленнымъ выраженіемъ, говорившимъ: „а вѣдь въ самомъ дѣлѣ растетъ", какъ будто онъ только тутъ убѣждался, что это настоящій горохъ и настоящій подсолнухъ. Даже самъ великолѣпный Огузковъ удостоилъ Савелья лестнымъ замѣчаніемъ: „Какъ вы, Савелій Потапычъ, думаете насчетъ садовъ? Въ аренду сдадите, или, можетъ, смотрителю поставлять будете въ провіантъ арестантамъ?" При этомъ онъ обво-

рожительно улыбнулся и ласково глянулъ — однимъ глазомъ на Кавказъ, другимъ на Арзамасъ.

Только богобоязненный старичекъ, обиженный общею невнимательностью и злой на смотрителя за то, что послѣ какой-то ссоры тотъ запретилъ ему носить свое платье, проходя мимо камеры Савелья, умышленно громко ворчалъ, ни къ кому не обращаясь:

— Портить казенное строеніе — это ничего, можно. А кто ежели блюсти хочетъ Государево добро, — такъ это нѣтъ, не моги! Пар-р-ядки!!!

„Сады“ Савелья дѣйствительно были очень красивы. Особенно хорошо выглядѣли они со двора, когда вѣтеръ слегка шевелилъ зеленое пятно на бѣлой каменной стѣнѣ. Стебли гороха сплошною стѣной вились около прутьевъ рѣшетки, голубенькіе цвѣты пестрѣли въ зелени,—горохъ расцвѣлъ, — а полуаршинный подсолнухъ гордо несъ широкіе, ярко-зеленые листья.

Нужно было видѣть, съ какою заботливостью ухаживалъ Савелій за своими садами и съ какимъ страхомъ поливалъ ихъ: смотритель объявилъ заранѣе, что если хоть одна грязная полоска потечетъ по наружной сторонѣ стѣны, — „сады“ будутъ безжалостно снесены, такъ что поливать ихъ приходилось ложкой. Савелій даже рѣже сталъ выходить на дворъ и предпочиталъ сидѣть около своихъ садовъ съ кѣмъ-нибудь изъ арестантовъ...

Горячій іюльскій полдень. Душно и жарко даже въ вѣчно холодныхъ стѣнахъ тюрьмы. Все, казалось, замерло. Дремлетъ часовой, еле двигая отяжелѣвшими ногами; какъ сонныя мухи, бродятъ арестанты по двору; спитъ Васильичъ, низко опустивши голову и прикурнувши на своемъ табуретикѣ въ прохладномъ углу корридора.

У „садовъ Савелья“ обычная компанія. На низенькой

скамеечкѣ сидитъ дѣдушка Софронъ. Сквозь разстегнутый воротъ виднѣется лохматая сѣдая грудь и мѣдный восьмиконечный крестъ. Какъ все въ одну ноту жужжитъ шмель, залетѣвшій въ комнату и бьющійся въ стекла, такъ медленно и глухо гудитъ старческій голосъ:

— Въ Тобольскомъ... Начальникъ и говоритъ...— доносятся до меня отдѣльныя фразы. — Спокойся, говоритъ, старикъ, не тужи. Выправимъ, говоритъ, по формѣ... — гудитъ голосъ въ камерѣ. — Померъ... въ одночасье... не выправилъ...

И опять монотонно гудитъ голосъ.

На нарахъ, уткнувши голову въ колѣна и обхвативъ голени руками, сидитъ Волчокъ,—молчитъ и о чемъ-то думаетъ.

Молчитъ и Савелій. Онъ сидитъ на подоконникѣ, прислонившись къ стѣнѣ, и, полуоборотивши голову, смотритъ чрезъ свои „сады“ въ широкую даль, развертывающуюся за нѣсколькими домами пригородной слободки.

Вотъ такъ близко вьется темная лента рѣки, съ наклонившимися надъ ней ракитами, а за ней стелется широкое море желтой, спѣющей ржи. Вотъ легла зеленая полоса проса, мелькнуло красное пятно гречихи, и опять желтое море несетъ свои волны далеко-далеко, туда, гдѣ темною лентой синѣетъ лѣсъ. Узенькая дорожка, какъ змѣйка, бѣжитъ между полосами ржи, гречи и проса, ныряетъ въ ложбины, взбирается на бугры и снова пропадаетъ, и снова бѣжитъ, и все дальше и дальше, туда, все къ тому же синему лѣсу... А надъ всѣмъ этимъ—горячее небо и бѣлыя, клубистыя облака медленно плывутъ высоко-высоко надъ землею... Дохнулъ вѣтеръ въ рѣшетчатое окно тюрьмы, потянуло прохладною свѣжестью рѣки и тѣмъ смутнымъ ароматомъ

скошеннаго луга и зрѣющихъ полей... Шевельнулись голубенькіе цвѣточки гороха, качнулся лѣниво подсолнухъ, поднялась и опустилась русая прядь волосъ надъ блѣднымъ и сѣрымъ лицомъ....

Молчитъ старикъ, молчитъ Волчокъ, и оба смотрятъ туда же, на „Савельевы сады"... Все тихо кругомъ.

Загремѣли кандалы Огузкова, звякнулъ ключами Васильичъ, вздрагиваетъ Волчокъ, Савелій оборачивается и мутными глазами осматриваетъ камеру...

И снова, какъ гудѣнье шмеля, тянутся глухія медлительныя слова.

„Савельевы сады" были въ полномъ расцвѣтѣ, когда смотритель объявилъ мнѣ, что на слѣдующій день я буду свободенъ. Я тотчасъ же сообщилъ это извѣстіе Савелью и, хотя каждую минуту ждалъ отъ него чего-нибудь, касающагося „воли", тѣмъ не менѣе былъ очень удивленъ, когда онъ съ большою радостью, но спокойнѣе, нежели можно было думать, отвѣтилъ мнѣ:

— Такъ, такъ и... А я послѣ завтра ждалъ.

Освобожденіе для меня самого было неожиданностью, поэтому я съ удивленіемъ взглянулъ на него.

— Загадалъ я...—съ хитрою улыбкой заговорилъ Савелій въ отвѣтъ на мое оживленное лицо,—насчетъ подсолнуха... Коли, думаю, зацвѣтетъ въ тюрьмѣ,—будетъ намъ съ тобой воля. Вчерась, смотрю, начинаетъ. Глянь-ко!

Я не видалъ никакого цвѣтка на подсолнухѣ и съ любопытствомъ началъ разсматривать. Савелій былъ правъ: на верхушкѣ стебля оказалось утолщеніе величиной съ маленькую луковку. Между зелеными листочками вѣнчика слабо желтѣлъ какой-то пушокъ,—цвѣтокъ былъ такой же призрачный, какъ призрачна была надежда Савелья на близкую волю.

— Вишь цвѣту набираетъ! — слышу я за спиной торжествующій голосъ Савелья.

Поздно уложивши вещи, когда уже всѣ арестанты были заперты, усталый, я вышелъ на дворъ. Жаркій іюльскій вечеръ догоралъ, и солнце меркло въ сіяющей дали. Голубая дымка окутала замолкнувшій городъ и мягкимъ свѣтомъ легла на бѣлыя стѣны острога. Блѣдныя звѣзды загорались въ глубокомъ небѣ. Синій дымокъ узкою лентой высоко вился изъ стоявшаго на дворѣ надзирательскаго самовара и медленно плылъ и таялъ въ голубой дымкѣ недвижнаго воздуха. Гдѣ-то вдали глухо прогремѣли запоздавшія дрожки, за тюремною стѣной кто-то перебиралъ струны гитары, и робкіе, дрожащіе звуки тихо гасли, словно боясь разбудить дремлющій вечеръ. Сдержанный шопотъ несся изъ камеръ острога.

Въ этотъ тихій и нѣжный, задумчивый вечеръ, казалось, и острогъ затихъ и разнѣжился. Даже Огузковъ, вѣчно наполнявшій воздухъ неистовою руганью, какъ-то размякъ и размечтался. Онъ только что выпущенъ изъ карцера, гдѣ просидѣлъ за буйство три дня. Мнѣ слышно, какъ онъ тихо шагаетъ въ своей камерѣ, мелодично погромыхивая кандалами. Вотъ красная и потная фигура его съ разстегнутою волосатою грудью подошла къ окну. Онъ заплелъ руки въ переплетъ рѣшетки и плотно прилегъ къ нему всею грудью. Огузковъ мечтаетъ.

— Ахъ, ты, братецъ ты мой! — слегка поворачиваетъ онъ голову назадъ, очевидно, обращаясь къ кому-то стоящему за нимъ. Онъ смотритъ на дымокъ, вьющійся изъ самовара, и вспоминаетъ прошлое

— За день-то намаешься, шагамши-то... — доносится до меня. — Ноги, словно, не твои, одно слово — свинецъ... Мѣстечко этакое укромное... Ручеекъ, къ примѣру,

только что человѣчьимъ голосомъ не говоритъ... Вода—всю Рассею исходи, не сыщешь—слеза! А кругомъ-то тайга. Деревья — во-о, въ два обхвата не обхватишь! Товарищъ котелокъ налаживаетъ, — чаишка... Иной разъ водчонки охлопочемъ. Ляжешь, трубочку закуришь, а тайга-то надъ тобой шу-у-у!...

Огузковъ глубоко вздыхаетъ и молчитъ, задумался. Въ сосѣднемъ окнѣ видна темная голова Волчка, припавшая къ переплету рѣшетки. Очевидно, Волчокъ слушаетъ Огузкова и думаетъ свою думу...

— И дымокъ вотъ этакъ же,—снова слышится голосъ Огузкова,—вьется себѣ, не шелохнется... Духъ отъ него такой—не надышешься... Ахъ, ты, жизнь наша бродяжья!—Огузковъ вздыхаетъ. —И чего это тутъ томятъ насъ, канитель-то тянутъ? Все одно—сбѣгу: какъ приду, такъ и махну—драло!..

Огузковъ долго продолжалъ говорить: я не слушалъ. Я такъ погрузился въ свои собственныя мысли, что не замѣтилъ даже шума, поднявшагося въ острогѣ.

Бѣшеные крики Огузкова заставили меня очнуться. Я съ изумленіемъ взглянулъ въ окно и увидѣлъ такую сцену, что остановился какъ вкопанный. Огузковъ съ багровымъ лицомъ, налитыми кровью глазами и дрожащею нижнею челюстью, своими огромными ручищами изо всей силы трясъ рѣшетку своего окна и кричалъ дикимъ, изступленнымъ голосомъ. Въ сосѣднемъ окнѣ, съ блѣднымъ, какъ полотно, злобнымъ лицомъ и горящими глазами стоялъ Волчокъ и, я не знаю какъ сказать, не то визжалъ, не то стоналъ. Масса арестантовъ прильнула къ окнамъ и въ какомъ-то изступленіи кричала и ревѣла разными голосами. Я ничего не понималъ. Подъ окнами стоялъ выскочившій изъ караулки старшой и что-то кричалъ арестантамъ, но голосъ его терялся въ общемъ ревѣ и визгѣ.

На него даже не смотрѣли,—всѣ глаза были устремлены въ одну точку. Я взглянулъ по тому направленію и все понялъ.

По гребню сѣрой тюремной стѣны тихо ползла большая, съ желтыми пятнами, кошка. Невдалекѣ отъ нея, на углу стѣны, прыгалъ и что-то клевалъ носомъ и о чемъ-то весьма весело разговаривалъ маленькій воробушекъ. Легкомысленная птичка, очевидно, не подозрѣвала крадущейся къ ней смерти. Она беззаботно перепрыгивала съ мѣста на мѣсто, то скрываясь на другой сторонѣ стѣны, то снова показываясь на гребнѣ ея.

Было что-то жалкое въ этомъ безпечномъ весельѣ и ужасно подлое и гнусное въ томъ, что ползло крадущимися шагами къ этому беззаботному веселью.

Кошка ползла тихо, тихо, то останавливаясь и припадая къ ложбинѣ стѣны, когда воробушекъ показывался на гребнѣ и могъ видѣть ее, то снова подвигаясь неслышными движеніями. Шумъ, несшійся изъ острога, очевидно, мало безпокоилъ ее: она настораживала уши, тихо поворачивала по направленію къ окнамъ свою круглую усатую голову, но продолжала медленно ползти. Кошка была совсѣмъ уже близко отъ птички; она прилегла и, выгнувши спину съ поднявшеюся шерстью, очевидно, готовилась прыгнуть, когда какой-то предметъ полетѣлъ изъ оконъ острога и со звономъ ударился о гребень стѣны. Воробушекъ взлетѣлъ и какъ-то безпомощно, съ безтолковою торопливостью захлопалъ крыльями... Кошка прыгнула неудачно и скрылась за стѣной.

Все это было такъ странно, такъ удивительно и такъ быстро произошло, что я все время стоялъ, какъ загипнотизированный, и очнулся только, когда улетѣла птичка.

Острогъ затихъ, но волненіе не улеглось. Радость

большая, настоящая радость всѣхъ этихъ людей—воровъ, мошенниковъ, убійцъ,—радость по случаю спасенія воробушка и неудачи кошки сказывалась въ ихъ лицахъ, слышалась въ голосахъ, въ разговорахъ.

— А вѣдь ножикъ-то у Волчка пропалъ! — послышался чей-то трезвенный голосъ.—Солдатъ слизнетъ, какъ пить дастъ—слизнетъ!

Я зналъ этотъ ножикъ,—Волчокъ при мнѣ очень много трудился надъ его отдѣлкой. Этотъ ножикъ составлялъ главное сокровище Волчка, которое онъ надѣялся донести до Сахалина,—и я понялъ тутъ, какую жертву принесъ онъ, бросивши въ кошку свой ножикъ.

Арестанты долго не засыпали и вели безконечные разговоры о злодѣйскихъ свойствахъ кошекъ. Я заснулъ подъ шумъ чьего-то длиннаго разсказа о томъ, какъ кошка отъѣла носъ у умиравшаго ребенка, какъ ребенокъ потомъ выздоровѣлъ, а кошка получила особенный вкусъ къ человѣческому мясу...

Не знаю, сколько времени я спалъ, когда новый шумъ, несшійся изъ общей камеры, разбудилъ меня. Мнѣ не хотѣлось вставать, но шумъ все росъ, и я кликнулъ Васильича.

— Что это у нихъ тамъ?—спросилъ я, когда деревянная нога Васильича приковыляла къ моему оконцу.

— Да вонъ баломутъ-то нашъ всю камеру взбаломутилъ...—нехотя отвѣтилъ Васильичъ.

— Да кто?—недоумѣвалъ я.

— Извѣстно, Савелій. Кому больше? Крестъ, вишь, на небѣ явился, такъ, выходитъ, воля будетъ...—съ улыбкой проговорилъ Васильичъ и любезно отперъ дверь.

Я вышелъ въ корридоръ и заглянулъ въ дверное оконце общей камеры, куда незадолго передъ тѣмъ переведенъ былъ Савелій съ своими „садами“ и дѣ-

душкой Софрономъ. Мутный свѣтъ коптившей лампочки еле-еле освѣщалъ огромную камеру. На нарахъ никого не было. Среди шумѣвшихъ, толкавшихся и лѣзшихъ къ окну арестантовъ бросалась въ глаза бѣлая фигура, показавшаяся мнѣ очень высокой и очень тонкой. Я позвалъ Савелья, но онъ не слыхалъ меня, и, вмѣсто него, къ двери подошелъ сапожникъ, Семенъ Андреичъ, прозванный за огромные усы, серьезное лицо и невозмутимый нравъ „Мировой".

— Ужъ къ чему это, Иванычъ, — отвѣтилъ онъ на мой вопросъ,—въ точности не скажу, а только не спроста. Знаменіе! Савелій правильно говоритъ: никогда креста этого на небѣ не было, всѣ скажутъ. Плачетъ Софронъ-то,—радъ...

А въ толпѣ рѣзко звучалъ голосъ бѣлой фигуры:

— Молитесь Богу, православные! Не забылъ Царь небесный насъ, горькихъ... Привелъ Господь, увидимъ и мы, несчастные, свѣтъ Божій...

Я не сразу узналъ голосъ Савелья, - какъ-то сухо, медлительно, торжественно звучалъ онъ...

— Близокъ часъ воли Божіей!—слышалось мнѣ.— Богу молитесь, православные, Царицѣ небесной.

Я не сталъ звать Савелья и отправился къ себѣ...

— Иванъ Иванычъ!—У оконца своей камеры стоялъ Волчокъ и, очевидно, слушалъ, что происходило въ общей. Я тоже не сразу узналъ Волчка: весь волчій видъ его сразу пропалъ и остался только человѣкъ,— несчастный, слабый, плачущій ребенокъ. Онъ весь трясся, какъ въ лихорадкѣ, и, торопясь, всхлипывая, шепталъ мнѣ:—Иванъ Иванычъ, родимый сударикъ! Да скажи ты мнѣ, правда ли насчетъ креста-то? Ты самъ-то видѣлъ ли? Нѣтъ, не видалъ, говоришь? Изъ моей тоже не видать. Хоть бы глазкомъ взглянуть! Взглянулъ бы—узналъ бы.

Онъ весь дрожалъ и хватался черезъ окно за мой рукавъ.

— Не уходи ты отъ меня! Истерпѣлся я, изстрадался... Вся душа-то изныла... Разговори ты меня какими-нибудь словами. Да ты скажи, самъ-то ты что думаешь насчетъ креста-то? Къ тому ли? Иванъ Иванычъ, родименькій, не тяни ты меня, утѣшь ты мою сиротскую душу...

А изъ „общей“ громко неслось: „Пришелъ часъ воли Божіей...“

Что я сказалъ Волчку насчетъ креста, какъ знаменія воли, не помню. Помню только, какъ пронесся за мной громкій плачъ и крикъ: „Головушка моя бѣдная!“ — какъ что-то потомъ тяжело рухнуло въ одиночкѣ и какъ понеслись оттуда отчаянные, невозможные, нечеловѣческіе крики...

Мы долго прощались на другой день съ Савельемъ. Онъ выглядѣлъ усталымъ и измученнымъ.

— Ты вотъ что, Иванъ Иванычъ: будешь съ хорошими людьми водиться, — спрошай... Услышишь, — вѣсточку дай, вотъ, хоть черезъ Васильича... — говорилъ онъ мнѣ на прощанье, вызвавши въ уголъ за кухней. Савеліи проводилъ меня до воротъ.

— Ну, дай тебѣ Богъ! — твердилъ онъ. — Насъ не забывай! — крикнулъ онъ, когда уже калитка захлопнулась за мной...

Я не забылъ его. Я всматривался въ лица, я искалъ его тамъ,—тамъ, гдѣ могъ найти,—и не нашелъ.

Савеліи, гдѣ ты? Пришелъ ли твой часъ—твоя единственная воля—часъ воли Божіей, или ты все мѣряешь усталыми ногами далекую сибирскую землю?..

„Окаянный городъ“.

I.

Если мнѣ скажутъ, что Окаяннаго города на земномъ шарѣ нѣтъ, я буду утверждать, что это—неправда. Такой городъ существуетъ, и не моя вина, что, по недоразумѣнію, онъ называется иначе.

Могутъ даже спорить, городъ ли—поселеніе, въ которомъ двадцать два дома. Я не только буду утверждать, что это городъ,—я назову его столицей, такъ какъ онъ является административнымъ, умственнымъ и экономическимъ центромъ страны, величиною равняющейся чуть ли не Франціи, и управляетъ нѣсколькими народами, каковы: остяки, юраки, долгане, тунгусы. И, потомъ, въ немъ есть все, что нужно, чтобъ имѣть право называться городомъ. Есть начальникъ края,—я не знаю, какъ его назвать: король, президентъ,—именующійся въ Окаянномъ городѣ скромнымъ титуломъ отдѣльнаго пристава, объѣзжающій разъ въ годъ свою имперію-тундру для сбора дани и поддержанія престижа власти. Есть управляющій окаянскою почтовою частью, аккуратно разъ въ мѣсяцъ, кромѣ двухъ-трехъ мѣсяцевъ весной и осенью, когда всякія почтовыя и иныя сношенія съ остальнымъ міромъ прекращаются, оповѣ-

Онъ весь дрожалъ и хватался черезъ окно за мой рукавъ.

— Не уходи ты отъ меня! Истерпѣлся я, изстрадался... Вся душа-то изныла... Разговори ты меня какими-нибудь словами. Да ты скажи, самъ-то ты что думаешь насчетъ креста-то? Къ тому ли? Иванъ Иванычъ, родименькій, не тяни ты меня, утѣшь ты мою сиротскую душу...

А изъ „общей“ громко неслось: „Пришелъ часъ воли Божіей...“

Что я сказалъ Волчку насчетъ креста, какъ знаменія воли, не помню. Помню только, какъ пронесся за мной громкій плачъ и крикъ: „Головушка моя бѣдная!“ — какъ что-то потомъ тяжело рухнуло въ одиночкѣ и какъ понеслись оттуда отчаянные, невозможные, нечеловѣческіе крики...

Мы долго прощались на другой день съ Савельемъ. Онъ выглядѣлъ усталымъ и измученнымъ.

— Ты вотъ что, Иванъ Иванычъ: будешь съ хорошими людьми водиться, — спрошай... Услышишь, — вѣсточку дай, вотъ, хоть черезъ Васильича... — говорилъ онъ мнѣ на прощанье, вызвавши въ уголъ за кухней. Савелій проводилъ меня до воротъ.

— Ну, дай тебѣ Богъ! — твердилъ онъ. — Насъ не забывай! — крикнулъ онъ, когда уже калитка захлопнулась за мной...

Я не забылъ его. Я всматривался въ лица, я искалъ его тамъ,—тамъ, гдѣ могъ найти,—и не нашелъ.

Савелій, гдѣ ты? Пришелъ ли твой часъ—твоя единственная воля—часъ воли Божіей, или ты все мѣряешь усталыми ногами далекую сибирскую землю?..

„Окаянный городъ“.

I.

Если мнѣ скажутъ, что Окаяннаго города на земномъ шарѣ нѣтъ, я буду утверждать, что это неправда. Такой городъ существуетъ, и не моя вина, что, по недоразумѣнію, онъ называется иначе.

Могутъ даже спорить, городъ ли—поселеніе, въ которомъ двадцать два дома. Я не только буду утверждать, что это городъ,—я назову его столицей, такъ какъ онъ является административнымъ, умственнымъ и экономическимъ центромъ страны, величиною равняющейся чуть ли не Франціи, и управляетъ нѣсколькими народами, каковы: остяки, юраки, долгане, тунгусы. И, потомъ, въ немъ есть все, что нужно, чтобъ имѣть право называться городомъ. Есть начальникъ края,—я не знаю, какъ его назвать: король, президентъ,—именующійся въ Окаянномъ городѣ скромнымъ титуломъ отдѣльнаго пристава, объѣзжающій разъ въ годъ свою имперію-тундру для сбора дани и поддержанія престижа власти. Есть управляющій окаянскою почтовою частью, аккуратно разъ въ мѣсяцъ, кромѣ двухъ-трехъ мѣсяцевъ весной и осенью, когда всякія почтовыя и иныя сношенія съ остальнымъ міромъ прекращаются, оповѣ-

щающій окаянскихъ правящихъ людей, что тамъ, гдѣ-то далеко, есть лица, надзирающія за Окаяннымъ городомъ и его цивилизаторскою миссіей, и ежемѣсячно же отвѣчающій этимъ далекимъ людямъ, что окаянцы живы и высоко несутъ знамя этой миссіи. Есть священникъ-миссіонеръ, разъ въ годъ, какъ и приставъ, объѣзжающій тундру для воспитанія дикихъ народовъ въ правилахъ христіанской религіи, крестящій, вѣнчающій и отпѣвающій въ это время всѣхъ, кого тундра успѣла за годъ народить, переженить и похоронить. Есть докторъ, есть церковь, есть острогъ. Относительно послѣдняго нужно оговориться. Приставъ, веселый господинъ, очень любитъ пошутить съ пріѣзжими насчетъ острога. Когда пріѣзжій человѣкъ спрашиваетъ, гдѣ остановиться, приставъ коротко и рѣшительно говоритъ: „пожалуйте въ острогъ". Если же тотъ съ недоумѣніемъ вытаращитъ глаза,—бываютъ такіе пріѣзжіе, которые обижаются, принимая это за личный намекъ,—приставъ хохочетъ и успокоиваетъ:

— Я пошутилъ, вѣдь это одно только слово, что острогъ. Тамъ господа пріѣзжіе постоянно останавливаются, въ немъ арестантовъ-то никогда не было. Я шесть лѣтъ приставомъ здѣсь, только и былъ случай, какъ тунгусишка сестру съѣлъ съ голодухи,—можетъ, изволили читать въ газетахъ?—ну, такъ я его живо въ губернію отправилъ. Въ нашемъ острогѣ ни надзирателей, ни караула не полагается.

Пріѣзжему человѣку оставалось только поблагодарить и личнымъ опытомъ убѣдиться, что это лучшая и единственная гостиница въ городѣ.

Центральная фигура окаянской жизни, около которой и ради которой существуютъ Окаянный городъ и его правящіе классы, это — остякъ. Мѣстные люди за послѣднее время недовольны остякомъ.

— Какая наша жизнь, господинъ! — говаривала, пригорюнившись, пріѣзжему человѣку бабушка Копылиха, представительница колоніальной торговли въ Окаянномъ городѣ, поторговывавшая потихоньку и спиртомъ. — Житья сейчасъ не стало отъ остяка,— ужъ такая китрая тварь сдѣлался, и сказать нельзя.

Хоть Копылиха была убѣждена въ своемъ русскомъ происхожденіи, — языкъ во рту ея былъ несомнѣнно остяцкій. Она выговаривала „сисясь", вмѣсто сейчасъ, и „китрая"—вмѣсто хитрая.

— ...Да вотъ скажу: приходитъ это остякъ и говоритъ: „дай, бабуска, фунтикъ чаю; песца принесъ".

Отвѣсила я ему три четверочки и говорю: вотъ тебѣ фунтикъ,—а онъ это потрясъ въ рукѣ-то,—„нѣтъ, говоритъ, бабуска, не будетъ фунтика". И вѣдь пошелъ, подлецъ, къ сосѣду, свѣсилъ. Что жъ тутъ подѣлаешь, осьмушку и прикинула. А прежде-то дашь ему полфунта: „вотъ тебѣ, скажешь, фунтъ"—и вѣритъ, и вѣритъ... Ужъ такая ли китрая тварь звѣрь-то этотъ сдѣлался, такая ли китрая...

— Подлецъ народишко, совсѣмъ испаскудился!— авторитетно заявляетъ отъ себя приставъ, если пріѣзжій человѣкъ желалъ знать его мнѣніе. Если приставъ при этомъ выпивши, то онъ любитъ разсказывать о добродѣтеляхъ и добродушіи прежняго остяка:

— Раньше просто было. Да вотъ предмѣстникъ мой Степанъ Флегонтовичъ,—не изволите быть знакомы?— какую штуку удралъ здѣсь.

Объявляетъ онъ разнымъ князькамъ: остяцкимъ, ютацкимъ и всякимъ тамъ,—что пришла, молъ, изъ Питера бумага собрать съ нихъ соболей министру на шубу,—тому, молъ, набольшему министру, что правитъ всей русской тундрой.

Ну, носятъ, годъ носятъ, два носятъ, какъ можете

понять,—одушевляется приставъ,—министерскихъ соболей! Ну, а потомъ догадались, пришли къ приставу, вотъ тутъ у крыльца и дѣло было.

— Бумага, говорятъ, была на одну шубу, а мы, чай, и на одѣяло, и на рукавицы, и на шапку натаскали.

...Что жъ вы думаете, Степанъ Флегонтовичъ?..

— Вы что, подлецы, говоритъ, думаете, министръ такая же (извините за выраженіе) вошь, какъ вы будетъ?.. Вотъ онъ какой!—и показываетъ, знаете, на колокольню. Ну, оно хоть церковь у насъ и не больно велика, а все-таки посмотрѣли князьки, посмотрѣли и домой ушли. И съ полгода, поди, еще носили, пока Степана Флегонтовича исправникомъ не перевели, а къ тому времени и шуба оказалась полная... Вотъ оно какъ, батенька, бывало; теперь его ужъ не поддѣнешь...

Признавая вполнѣ основательность негодованія бабушки Копылихи на нарушеніе остякомъ ея священнѣйшихъ правъ, признавая и авторитетность отдѣльнаго пристава, я все-таки не могу совершенно согласиться съ ними. Остякъ совсѣмъ ужъ не такой подлецъ и не такая хитрая тварь, какъ увѣряютъ они. Онъ и теперь, и даже безъ министерской бумаги, носитъ соболей на шубу пристава и на шапку, и не только на его шубу, но и на шубу жены и дѣтей, и родныхъ, и знакомыхъ, что живутъ въ губерніи и блюдутъ интересы его, пристава. Онъ даетъ соболей священнику-миссіонеру,—даетъ за своихъ шамановъ, прогоняющихъ ту страшную болѣзнь, отъ которой проваливаются носы и гніютъ остяцкія кости, и еще болѣе страшную болѣзнь, что обливаетъ тѣло гнойными пузырьками и отъ которой люди и слѣпнутъ, и глохнутъ, и вымираютъ цѣлыми родами, и ту болѣзнь, что злымъ духомъ забирается въ голову и рветъ остяцкій мозгъ,

и кричитъ оттуда дикими, отчаянными криками, и многія другія болѣзни, отъ которыхъ онъ, остякъ, умираетъ и умираетъ, и отъ которыхъ только шаманъ мало-мало оберегаетъ бѣдное, беззащитное остяцкое тѣло. Даетъ остякъ соболей и песцовъ за то, что нѣтъ въ его юртѣ Николы, котораго онъ такъ боится и почитаетъ,—того страшнаго Николы, который все видитъ, даже если остякъ обратитъ его лицомъ къ стѣнкѣ,—и видитъ не только то, какъ остякъ ѣстъ въ постъ грѣшнаго гуся, но и куда онъ спряталъ своихъ соболей,—и знаетъ, что онъ, остякъ, думаетъ про попа и про начальство, и все это говоритъ своему шаману-попу... Даетъ остякъ за все то, что принесла ему и чего лишила новая вѣра.

Онъ со всѣмъ усердіемъ и съ полнымъ избыткомъ вознаграждаетъ соболями и песцами того купца, что, какъ король, владѣетъ тундрой и отпускаетъ въ долгъ остяку нѣсколько фунтовъ муки, когда онъ соберется умирать съ голоду и вздумаетъ ѣсть своихъ сестеръ и братьевъ.

Онъ и теперь простъ и незлобивъ, этотъ остякъ.

Когда обезумѣвшій отъ неочищеннаго спирта сынъ или приказчикъ этого купца бьетъ его кулакомъ, хлещетъ ременною плетью, топчетъ ногами, остякъ только плачетъ, хотя и остяцкими, не стоющими вниманія, по мнѣнію этого сына или приказчика, но, тѣмъ не менѣе, настоящими горькими человѣческими слезами, валяется въ ногахъ бьющаго и только молитъ простить его,—простить и за то, что онъ огорчаетъ его хозяина и утруждаетъ хозяйскую бьющую руку, и за то, что онъ, остякъ, родился на свѣтъ и все еще живъ, и все еще неизвѣстно за какою надобностью мотается на свѣтѣ.

И никогда никакихъ исковъ за свороченныя скулы

остякъ не вчинаетъ, хотя бы и было гдѣ вчинать, и безконечно счастливъ, если очнувшійся звѣрь дастъ ему стаканъ спирту въ награду за сломанныя ребра. И нужно очень немного, чтобы темная, голодная и иззябшая остяцкая душа согрѣлась и наполнилась свѣтомъ и радостью.

Приходила весна, заглядывающая и въ окаянныя мѣста, вставало надъ землей, чтобы три мѣсяца не сойти съ неба, теплое солнце, съ ревомъ и грохотомъ неслись ледяныя горы по огромной рѣкѣ, наполняя воздухъ немолчными криками, несутся несмѣтныя стаи птицъ, оттаиваетъ и зеленѣетъ мерзлая тундра, оттаиваетъ и радуется остяцкая душа.

За полторы тысячи верстъ изъ ближайшаго города—страны чудесъ, гдѣ дома—какъ холмы тундры и люди круглый годъ ѣдятъ хлѣбъ и пьютъ водку,—къ остяку приплываютъ и пароходы, и огромныя барки, и крытыя лодки. Они везутъ остяку синюю дабу и красный ситецъ, что, какъ огонь, горитъ передъ глазами, и тѣ желѣзные котелки, въ которыхъ такъ хорошо варится чай и лакомое остяцкое блюдо, состоящее изъ воды съ плавающими въ ней комочками муки, и цѣлые тюки чая, и цѣлыя горы муки, и боченки съ хлѣбнымъ масломъ *), которое дороже всего для остяка.

Изъ нѣдръ тундры выходитъ остякъ со своею женою и дѣтьми, и для него начинается праздникъ жизни.

Онъ торгуетъ и призываетъ на помощь всю хитрость, на которую способна его нехитрая голова. Онъ идетъ не къ тому покупателю, которому остался долженъ въ прошломъ году, а идетъ къ другому, которому давно

---

*) Ввозъ спирта къ инородцамъ запрещенъ подъ страхомъ серьезнаго наказанія, и спиртъ доставляется къ нимъ подъ названіемъ хлѣбнаго масла.

не продавалъ и который, какъ надѣется остякъ, навѣрное ужъ забылъ о долгѣ, когда-то оставшемся за нимъ, остякомъ. У него въ рукахъ плохіе соболи, песцы и лисицы,—онъ хочетъ спустить сначала товаръ поплоше. Голубыхъ песцовъ и чернаго, какъ ночь, соболя, и чернобурую лисицу, за которой онъ гонялся нѣсколько недѣль по тундрѣ, остякъ обернулъ вокругъ тѣла, чтобы продать послѣдними. Кромѣ этого, въ тайникахъ души онъ мечтаетъ, что когда онъ выпьетъ,—а онъ знаетъ, что выпьетъ,—онъ забудетъ про эти такъ глубоко спрятанныя шкуры и, вызнавши цѣны, возьметъ, какую захочетъ. Протягивается палецъ остяцкой руки, означающій рубль, палецъ перекрещивается пополамъ другимъ пальцемъ, что означаетъ полтинникъ, отмѣчается четверть пальца—четверть рубля. Остякъ справляется со своимъ календаремъ, — его записною книжкой, — висящимъ у его пояса продолговатымъ кускомъ мамонтовой кости, на которомъ цѣлая система зарубокъ означаетъ для остяка дни и мѣсяцы, и годы, и чуть ли не вѣка. Назначаются сроки доставки, устанавливаются цѣны на соболя и лисицу, на рыбу и мамонтовую кость.

О, онъ хитрый остякъ и тонко ведетъ свое дѣло! Но торговля идетъ такъ медленно, а боченки дразнятъ его, и запахъ хлѣбнаго масла, наполняющій пароходную каюту-лавку, раздражаетъ его ноздри и царапаетъ горло.

— Козяинъ,—говоритъ остякъ, указывая на боченокъ съ хлѣбнымъ масломъ.—Козяинъ!—твердитъ онъ, объясняя, что нужно поднести и женѣ, и дѣтямъ.

Хозяинъ подноситъ и ему, и женѣ, и дѣтямъ, начиная отъ грудного ребенка, и еще разъ, и еще, и отъ такой ласки остяцкое сердце размягчается все болѣе и болѣе.

— Козяинъ!..—молитъ онъ.

Какъ богачъ, какъ царь тундры, раздаетъ онъ свои богатства, вынимаются обернутые вокругъ тѣла соболи и лисицы, о которыхъ, какъ и о старомъ долгѣ, вспоминаетъ хозяинъ прежде его самого, продается рыба, предназначенная другому хозяину въ уплату прошлогодняго долга, продается и та рыба, что должна попасть въ его неводъ въ слѣдующемъ году, и тѣ соболи и песцы, которые беззаботно бѣгаютъ въ тундрѣ и тайгѣ, и та мамонтова кость, которую отмоетъ отъ берега будущій разливъ. Продавать больше нечего. Что за дѣло, что остякъ остается долженъ двумъ хозяевамъ и никогда не будетъ въ состояніи расплатиться съ ними,—его сердце и душа полны радостью жизни, и въ рукахъ у него мѣшокъ муки и плитка чаю, и желѣзный котелокъ, и у жены бусы и бисеръ, и лоскутки красной, желтой и синей матеріи, которыми она обошьетъ и унижетъ его и свою доху.

И они выходятъ на берегъ и пляшутъ, взявшись за руки и мѣрно раскачиваясь въ тактъ пѣсни и шумящаго въ головѣ хлѣбнаго масла. И поютъ они такую же долгую и такую же смутную пѣсню безъ словъ, какъ тотъ вѣтеръ, что день и ночь носится по тундрѣ, шевеля мохъ и раскачивая тощіе и чахлые, какъ остяцкія тѣла, кустарники тундры.

II.

Остякъ составлялъ главное содержаніе жизни окаянскихъ культурныхъ людей, но онъ былъ буднями, скучною прозой ихъ жизни. Праздникъ, поэзія, то, чѣмъ они были живы—былъ спиртъ. Водки въ Окаянномъ городѣ не пили,—она могла замерзнуть въ дорогѣ, да и не такъ быстро согрѣвала мерзлую тундру.

И праздниковъ въ жизни окаянскихъ культурныхъ людей было гораздо больше, чѣмъ будней. Еще два-три мѣсяца, когда приставъ и священникъ объѣзжали тундру, скучный остякъ такъ или иначе отнималъ время и трудъ ихъ. Выѣзжали изъ тундры, и скучныя дѣла прекращались. Особенно широкій праздникъ начинался въ Окаянномъ городѣ, когда трехмѣсячная ночь спускалась надъ землей.

Пили и напивались въ одиночку, но чаще вмѣстѣ, такъ какъ кружокъ держался дружно. Тогда приставъ, толстенькій, маленькій человѣкъ, причесывавшій свои рѣдкіе волосы на лѣвый високъ, какъ у губернатора, разсказывалъ свои безконечныя исторіи про архіереевъ и губернаторовъ, съ которыми, повидимому, онъ былъ въ самыхъ близкихъ отношеніяхъ. Въ концѣ разсказовъ выходило, что не будь придворныхъ интригъ, онъ, приставъ, не сидѣлъ бы въ этой чортовой ямѣ, а былъ бы уже совѣтникомъ, а можетъ быть и правителемъ канцеляріи.

Его помощникъ, съ рѣзкимъ остяцкимъ типомъ лица, лѣтомъ ловившій рыбу, а зимой точившій подсвѣчники изъ мамонтовой кости, обыкновенно молчаливый, неизмѣнно приходилъ въ бѣшенство и порывался драться.

Управляющій окаянскою почтой, длинный и унылый чахоточный человѣкъ, игралъ на гитарѣ, пѣлъ „Я лечу подъ парусами“ и разсказывалъ романтическія исторіи изъ своего прошлаго. Докторъ или плакалъ и лѣзъ со всѣми обниматься, или весело смѣялся. Священникъ всѣхъ угощалъ, пилъ больше всѣхъ и былъ трезвѣе всѣхъ.

Случалось, если было очень весело, что всѣ сваливались и засыпали тамъ, гдѣ держали послѣдній стаканъ, „приходили къ одному знаменателю“, какъ

выражался священникъ,—онъ любилъ употреблять тонкія ученыя слова, вынесенныя имъ изъ двухлѣтняго пребыванія въ духовномъ училищѣ. Настоящее образованіе священникъ получилъ въ селѣ, пограничномъ съ остяцкою землей, гдѣ онъ фигурировалъ совсѣмъ не въ духовной роли. Тамъ изучилъ онъ остяцкій языкъ и остяцкіе нравы и тамъ приготовлялся къ своей миссіонерской дѣятельности. Онъ же мнѣ разсказывалъ ту знаменитую окаянскую исторію, которой я мало вѣрилъ раньше:

— ...Было дѣло, что грѣха таить,—подъ уголовщину, батюшка, попали изъ-за этого спирта. Только это врутъ, что при мнѣ было,—передо мной. Потягиваютъ наши окаянцы спиртъ,—ну, знаете, въ другой разъ и натянутся „соборне". Проснутся,—часы стоятъ; заведутъ ихъ на глазомѣръ, по соображенію, сколько выпито было. Шутъ его знаетъ—сколько: можетъ пять часовъ, можетъ, десять проспали, потому все ночь, три мѣсяца ночь. Да и позвольте знать, кому они, часы, нужны тамъ? И часовъ-то было пять ли, шесть ли въ городѣ. Заводили это они, заводили, — приходитъ Свѣтлое Христово Воскресенье. Ну, какъ быть должно, честь-честью, яицъ накрасили, службу отслужили, разговляются у пристава, выпиваютъ. Вдругъ слышатъ—почта изъ губерніи. Къ празднику да еще праздникъ! Они къ почтальону: „Христосъ воскресе!", а онъ таращитъ на нихъ глаза:

„Что вы, говоритъ, черти оглашенные, въ Страстную пятницу Христово Воскресенье празднуете?.. Будьте вы прокляты!"

— Понимаете, это они часы-то зимой на глазомѣръ заводили все! Знаете,—засмѣялся священникъ,—какъ меня назначали въ Окаянный, начальство на прощаньи и говоритъ: „Вы хоть часы съ недѣльнымъ заводомъ

купите,—все, чай, тамъ хоть одинъ-то день въ недѣлю трезвый бываетъ".—Шутитъ.

— Ну, а дѣло-то?—спросилъ я.

— Такъ вѣдь это смѣху ради! По обвиненію въ кощунствѣ... Оно и теперь лежитъ въ губерніи. Какъ кто изъ Россіи пріѣдетъ, такъ и показываютъ: вотъ, молъ, какъ у насъ пьютъ!

Только у доктора не было ни будней, ни праздника. Было время, когда онъ не зналъ спирта и зналъ только остяка. Тогда онъ скакалъ тысячи верстъ по безбрежной тундрѣ, искоренялъ сифилисъ, устраивалъ оспопрививаніе, мечталъ и даже хлопоталъ о школѣ... Это давно было, когда молодымъ врачемъ, двадцать лѣтъ назадъ, онъ пріѣхалъ въ Окаянный городъ. Постепенно спиртъ занялъ мѣсто остяка въ сердцѣ доктора. Послѣднія десять лѣтъ, съ тѣхъ поръ, какъ собаки привезли изъ тундры полуживого, обмерзшаго доктора, онъ никуда не ѣздилъ, толстые пакеты съ бурыми печатями, заключавшіе въ себѣ „циркулярныя" и „строжайшія" предписанія о „немедленномъ искорененіи", „скорѣйшей помощи" и прочее, оставались нераспечатанными, и только разъ въ годъ управляющій окаянскою почтовою частью писалъ отчетъ о санитарномъ состояніи Окаяннаго округа за годъ, т. е. переписывалъ послѣдній, десять лѣтъ назадъ составленный докторомъ годичный отчетъ, а безобразная каракуля въ концѣ отчета изображала подпись доктора и удостовѣряла губернское врачебное отдѣленіе, что окаянскій докторъ живъ и еще подписываетъ свою фамилію. Казалось, его забыли всѣ, какъ и онъ всѣхъ и все. Онъ не выписывалъ лѣкарствъ, ему и не высылали ихъ. У него не было ни аптеки, ни инструмен-

товъ, ни больницы, ни больныхъ,—онъ былъ такимъ же докторомъ для формы, какъ острогъ, у котораго не было ни замковъ, ни надзирателей, ни арестантовъ.

Настоящимъ окаянскимъ лѣкаремъ считался остякъ Малафейка, шуринъ доктора, котораго онъ, вмѣстѣ съ женой, маленькимъ мальчикомъ вывезъ изъ тундры. Изъ Малафейки вышелъ хирургъ. Остяцкимъ кинжаломъ онъ вырѣзывалъ опухоли, заливая рану растопленною пихтовою смолой, и долотомъ выдалбливалъ засѣвшую въ кости пулю. Онъ же отрѣзалъ самому доктору отмороженные пальцы на рукахъ и ногахъ, причемъ Малафейка оставилъ только большой палецъ на правой рукѣ, какъ будто нарочно затѣмъ, чтобы доктору было чѣмъ подхватывать стаканъ со спиртомъ.

Пристава пріѣзжали и уѣзжали, спивались и умирали въ Окаянномъ, получали повышенія и переводились исправниками, а чаще всего попадали подъ судъ,—докторъ не просилъ о переводѣ и никуда не выѣзжалъ. Бывали чиновники новаторы, не сразу спивавшіеся, бывали прожектеры, страстные охотники, одинъ приставъ хотѣлъ ввести винтъ въ нравы Окаяннаго,—докторъ не писалъ проектовъ, не охотился, не рыбачилъ и не игралъ въ винтъ, а только пилъ. Съ годами онъ все болѣе и болѣе объостячивался. Въ началѣ женитьбы онъ пробовалъ цивилизовать жену и Малафейку училъ русскому языку, при помощи жены священника пріучалъ жену къ хозяйству, пробовалъ даже учить читать и писать,—кончилось тѣмъ, что жена и Малафейка объостячили его самого: жена снова надѣла свое остяцкое платье и забыла русскія блюда; въ домѣ говорили только по-остяцки; вяленая рыба, полусырая оленина и болтушка съ мукой сдѣлались главною пищей; Малафейкины лыжи, охотничьи и рыболовныя снасти, вонь отъ рыбы и собакъ и остяцкая грязь на-

полнили комнаты. Когда же изъ тундры наѣзжали родственники и знакомые Малафейки, домъ доктора обращался въ настоящую остяцкую юрту.

Утромъ докторъ выпивалъ стаканъ спирту: это былъ утренній чай его, и съ него начинался рабочій день доктора. Послѣ этого онъ садился въ старое кресло, какимъ-то чудомъ попавшее въ Окаянный городъ, и звалъ къ себѣ кота. Бѣлый, какъ снѣгъ, съ пушистымъ хвостомъ, большой сибирскій котъ былъ единственнымъ другомъ доктора и наполнялъ собою весь день его. Наигравшись, котъ усаживался на окно и вмѣстѣ съ докторомъ начиналъ смотрѣть на улицу. Они смотрѣли, какъ грызутся собаки, какъ проѣдетъ на оленѣ тунгусъ къ Копылихѣ, какъ пьяный приставъ, спотыкаясь, возвращается отъ священника. Выпьетъ докторъ спирту еще и еще и станетъ всхрапывать; и котъ свернется на его колѣняхъ и заснетъ. Бывали и драмы: ворвутся въ комнату ѣздовыя собаки Малафейки, и начнетъ котъ летать, съ вытянутымъ, какъ руль, хвостомъ, съ печки на шкафъ, и докторъ любуется на ловкость своего кота.

Пьяный докторъ иногда лѣзъ драться, тогда жена его, ширококостная, скуластая, остячка, не отстававшая отъ мужа въ выпивкѣ, вмѣстѣ съ Малафейкой валили его на полъ и били, чаще же онъ дѣлался веселъ, смѣялся безсмысленнымъ смѣхомъ и, брызгая слюной, мороженымъ языкомъ говорилъ мерзлыя, мало понятныя рѣчи.

Такъ онъ жилъ, полуживой, съ обмороженнымъ тѣломъ, съ затопленною спиртомъ душой — не человѣкъ, но сохраняя видимость человѣка.

Быть можетъ, докторъ долго и мирно прожилъ бы, если бы въ Окаянномъ городѣ не случилось происшествія столь же страннаго, какъ открытіе въ Окаянномъ

англійскаго парламента или появленіе итальянской оперы. Въ Окаянномъ городѣ явилась школа.

Мысль о ней возникла въ томъ городѣ, который снабжалъ остяковъ хлѣбнымъ масломъ, и возникла у сыновей и дочерей тѣхъ купцовъ, которые возили его въ Окаянный городъ. Средства нашлись скоро,—въ Сибири ни на что такъ легко и обильно не поступаютъ пожертвованія, какъ на всякаго рода учебныя заведенія. Въ томъ же городѣ нашлись люди, мужъ съ женой—учитель и учительница городского училища, которые пожелали распространять науку въ окаянной тундрѣ. Гдѣ-то успѣли они собрать учениковъ и, пока строилось новое зданіе школы, маленькое помѣщеніе Копылихи украсилось вывѣской „Окаянское Начальное Училище“.

Надо думать, съ основанія Окаяннаго города эти новые гости были первыми людьми, которые оставались очень довольны своею жизнью. Кромѣ школы, они нашли себѣ и другія занятія. Василій Ивановичъ,—такъ звали учителя,—при первомъ же случаѣ упросилъ священника взять его съ собой въ тундру, исколесилъ не одну тысячу верстъ, записывалъ слова, разспрашивалъ о нравахъ и обычаяхъ и привезъ обильный этнографическій матеріалъ. Его жена собирала зоологическія коллекціи,—она окончила Бестужевскіе курсы,—и нашла даже совсѣмъ неизвѣстную рыбу, привезенную въ первый разъ изъ дальняго озера, которую мѣстные рыболовы тутъ же окрестили „безымянкой“. Свои коллекціи она отправляла въ ближайшій сибирскій музей.

Новые люди мечтали, что ихъ дѣятельность—первые шаги, что изъ ихъ учениковъ выйдутъ будущіе помощники, которые пройдутъ университеты и воротятся въ свою тундру, мечтали, что имъ удастся спасти

и не дать погибнуть этому вымирающему народу—такому доброму и такому безпомощному, такому несчастному. Ихъ мечты разгорались все ярче и ярче, какъ сѣверное сіяніе, свѣтившееся по ночамъ сквозь льдину ихъ комнаты и заливавшее страннымъ свѣтомъ бѣлую пустыню тундры,—такое же фантастическое, какъ и ихъ мечты.

Ихъ приняли дружелюбно въ Окаянномъ городѣ. Приставъ, получившій отъ губернатора бумагу о „содѣйствіи", сгоряча предложилъ даже отвести острогъ подъ школу. Правда, мѣстные люди нѣсколько разочаровались, когда узнали, что ни мужъ, ни жена не пьютъ спирту, но школа, тѣмъ не менѣе, была принята ласково.

Ближе всѣхъ познакомился съ новыми людьми докторъ. Ежедневно по пустой улицѣ Окаяннаго города плелся онъ въ школу, лѣто и зиму одѣтый въ одно и то же, на песцовомъ мѣху, пальто, съ измызганною оленьей шапкой на головѣ и въ остяцкихъ мѣховыхъ сапогахъ. Что тянуло его въ школу, трудно сказать. Быть можетъ, его изумлялъ этотъ необычный и странный въ Окаянномъ видъ дѣтскихъ головокъ, наклонившихся надъ книжками, а быть можетъ, интересовали сами новые люди, также странные, также необычные въ Окаянномъ городѣ. Докторъ молча входилъ и молча сидѣлъ въ углу, покуривая коротенькую трубочку и слѣдя своими мутными оловянными глазами за встававшими для отвѣта и садившимися учениками. Повидимому, его особенное вниманіе привлекали двое остяцкихъ мальчиковъ, учившихся въ школѣ. Когда они затруднялись выговорить трудные для нихъ русскіе слога и составить слово, онъ начиналъ сильно безпокоиться, ворочался на своемъ стулѣ, сердито постукивалъ ногой по полу и что-то жевалъ губами, словно

хотѣлъ подсказать. Когда же слово выходило удачно, онъ дѣлался очень веселъ, подмигивалъ Василію Ивановичу, бормоталъ про себя свое любимое слово: „ладно“, „ладно“—и сильнѣе обыкновеннаго затягивался изъ трубочки. Дѣти уходили, докторъ оставался. Его не занимали; онъ и не требовалъ, да съ нимъ и трудно было разговаривать. Иногда онъ просилъ спирту, и если ему отказывали, онъ не сердился, одобрительно качалъ головой, бормоталъ: „ладно“, „ладно“—и продолжалъ сидѣть, посасывая трубку и что-то бормоча, словно жуя губами. Когда спиртъ начиналъ настойчиво звать къ себѣ, онъ вставалъ и уходилъ, чтобы на другой день снова придти.

Пришло время, и докторъ, казалось, все забывшій, началъ вспоминать. Василій Ивановичъ случайно открылъ на чердакѣ у Копылихи цѣлый складъ книгъ и исписанныхъ бумагъ, въ которыя она завертывала немудрые товары своей лавочки. Тутъ нашлось нѣсколько книгъ, наиболѣе популярныхъ въ 60-хъ годахъ, и разрозненные, полуизорванные года „Современника“ и „Отечественныхъ Записокъ“ съ замѣтками на поляхъ, съ подчеркнутыми строками. Эти-то книги и попались на глаза доктору. Сначала онъ равнодушно просматривалъ заглавія книгъ и такъ же равнодушно откладывалъ ихъ на столъ, но потомъ что-то въ родѣ удивленія и интереса показалось на его застывшемъ, обрюзгломъ лицѣ. Онъ отобралъ нѣсколько книгъ и унесъ ихъ съ собой.

Докторъ не являлся нѣсколько дней, и когда пришелъ, было очевидно, что онъ что-то вспоминалъ. Онъ былъ почти не пьянъ и хотѣлъ все говорить, говорить. Большой палецъ руки настойчиво тыкалъ въ одно и то же имя на обложкѣ журнала, и мороженный языкъ съ мучительнымъ упорствомъ старался выговорить тѣ

слова и тѣ имена, отъ которыхъ онъ отвыкъ; въ мутныхъ глазахъ, казалось, что-то ожило и засвѣтилось, и мутные глаза плакали...

Страшное, проклятое сибирское слово: „пропалъ“, „пропалъ“ -- совершенно явственно выдѣлялось изъ мало понятной рѣчи доктора, и какъ ни сбивчиво говорилъ онъ, слушавшіе его все-таки поняли, что всѣ эти книги—его, доктора, что онъ учился тогда, когда писались эти книги, и что онъ зналъ того, чье имя онъ указывалъ пальцемъ, и особенно ясно поняли, что онъ пропалъ, и плачетъ о томъ, что пропалъ...

Докторъ вспоминалъ все болѣе и болѣе; онъ, десять лѣтъ не видавшій печатной строки, началъ читать, онъ сталъ даже меньше пить.

Эта память дорого обошласъ доктору. Его нашли плавающимъ въ крови, съ недорѣзаннымъ горломъ,—очевидно, привыкшій къ стакану докторскій палецъ не справился съ ножомъ. Докторъ не умеръ отъ раны, но и не оправился какъ слѣдуетъ. Похудѣвшій, осунувшійся, цѣлыми днями лежалъ онъ, безучастно смотря куда-то въ пространство, не отвѣчая на вопросы и только изрѣдка поглаживая не отходившаго отъ него кота.

Съ первымъ пароходомъ доктора отправили въ губернскую больницу вмѣстѣ съ женой, которая наотрѣзъ отказалась отпустить мужа одного и заявила: „вмѣстѣ жили, вмѣстѣ и пропадать будемъ“. Она очень удивила окаянскихъ людей, знавшихъ докторскую жену за пьяницу, повидимому, равнодушную ко всему, кромѣ спирта.

Она не отходила отъ доктора ни на шагъ, вспомнила тѣ русскія ласковыя слова, которыя когда-то знала, и русскія блюда, что когда-то любилъ онъ. Потихоньку ото всѣхъ она послала Малафейку въ даль-

нюю тундру за тѣмъ великимъ шаманомъ, противъ котораго не могла устоять ни одна болѣзнь, и очень огорчилась, когда докторъ не позволилъ шаману выгнать злого духа, засѣвшаго въ докторской головѣ. Особенно же она огорчалась, что мужъ ея не дотрогивался до стакана со спиртомъ, который она постоянно ставила на виду,—вѣдь онъ такъ любилъ спиртъ...

Докторъ только мѣсяцъ прожилъ въ губернской больницѣ. Такой же равнодушный ко всему, что окружало его, онъ медленно угасалъ и умеръ незамѣтно для всѣхъ. На другой же день, къ удивленію больничныхъ врачей, умерла и жена его. Она не жаловалась ни на какую болѣзнь и только говорила, что у ней подъ сердцемъ тоска и что тоска грызетъ ее. И не было шамана, который бы выгналъ тоску изъ тѣла бѣдной, одинокой остячки, и должно быть эта тоска загрызла ее.

АБАКАНСКАЯ СТЕПЬ.

Все могилы, могилы... Отъ Саянскихъ горъ, что полукругомъ обошли широкую степь, до темныхъ лѣсовъ, обнявшихъ ее съ сѣвера, на сотни верстъ нескончаемою вереницей тянутся десятки тысячъ могильниковъ. То какъ сторожевой пикетъ на степномъ бугрѣ, то какъ кружокъ близкихъ родственниковъ, собравшихся въ тихой долинѣ у степного ручья, то какъ большой городъ, раскинувшійся на нѣсколько верстъ на ровной площади,—они заполонили степь, наполнили ее отъ края до края. Высокіе, въ человѣческій ростъ, плоскіе камни, врытые въ землю и поставленные стоймя, окружаютъ каждую могилу, словно стерегутъ ее.

Могильные камни, заросшіе травой огромные оросительные каналы, засыпанныя землей шахты и подземные ходы для добыванія мѣди, серебра и золота, да таинственныя письмена, начертанныя на высокихъ скалахъ, угрюмо нависшихъ надъ Енисеемъ, гдѣ летаютъ только орлы,—вотъ все, что осталось отъ могучаго народа, когда-то наполнявшаго степь и жившаго огромною жизнью. Онъ унесъ все съ собой въ могилу: унесъ свои мѣдныя стрѣлы, свои чудные бронзовые ножи и странныя золотыя и серебряныя украшенія; онъ похоронилъ съ собой свое прошлое, свою исторію, свой

языкъ, даже самое имя свое. Не одну тысячу лѣтъ встаетъ солнце надъ степью-кладбищемъ—и все такъ же обросшіе мхомъ камни стерегутъ старыя могилы, все такою же темною загадкой стоятъ предъ новымъ человѣкомъ таинственныя письмена на высокихъ скалахъ Енисея.

Кто ты, безыменный, трижды мертвый народъ? Какъ ты жилъ, о чемъ думалъ, во что вѣрилъ, гдѣ потомки твои?.. Могилы молчатъ, люди забыли.

Тиха и мертва огромная Абаканская степь. Безоблачное раскаленное небо, зноемъ пышущая, растрескавшаяся отъ жары земля, низкая выжженная степная трава, сумрачною толпой уходящія вдаль темныя горы и могилы, могилы кругомъ... Бѣлыми пятнами блеснутъ на солнцѣ солончаки, голубою пеленой глянетъ въ голыхъ берегахъ горько-соленое озеро, мелькнетъ между могилами на степномъ холмѣ, Богъ знаетъ откуда взявшаяся, хилая березка съ опущенными вѣтвями и завядшими листьями, тонкою струей станетъ вдали синій дымокъ, какъ свидѣтельство одинокой людской жизни, гдѣ-то теплящейся въ безлюдной степи,—и опять вправо и влѣво, куда только глянетъ глазъ, горячее синее небо, раскаленная земля, безконечный ковыль, безконечныя могилы...

Вотъ, какъ ураганъ, пронеслось по степи стадо въ нѣсколько тысячъ полудикихъ коней. Съ дикимъ ржаніемъ, съ раздувающимися ноздрями и развѣвающимися гривами бѣшено мчатся они къ своему водопою, и степь дрожитъ подъ ногами ихъ. Исчезли изъ виду кони,—тихо и пусто въ степи, только земля еще гудитъ, да узкая полоса поднятой пыли далеко тянется и долго стоитъ въ неподвижномъ воздухѣ. Вотъ показалась между могилами сонная фигура качин-

ца *). Опустивши голову на грудь, онъ медленно покачивается въ сѣдлѣ и тянетъ свою безконечную, тихую, какъ журчанье горнаго ручья, пѣсню. Онъ въѣхалъ на бугоръ; узкіе сонные глаза его раскрываются и лѣниво смотрятъ въ раскаленную степь; голова съ черными, какъ уголь, и жесткими, какъ конская грива, волосами запрокидывается назадъ и дикіе, какъ ржанье степного коня, звуки вырываются изъ горла, странно гремятъ и далеко разносятся по степи; снова опускается голова на грудь, рѣзко обрывается и падаетъ голосъ— и снова, какъ журчащій ручей, тихо льется заунывная пѣсня. Еще разъ мелькнула изъ-за могилъ темная голова, долетѣлъ издалека послѣдній звукъ пѣсни, и опять степь пуста и тиха, только саянскій орелъ медленно плаваетъ въ синей выси безоблачнаго неба, да Енисей глухо плещетъ сонною волной...

Ночью, когда встанетъ надъ горами луна, оживаетъ степь. Странный шумъ наполняетъ ее, словно неясный говоръ тысячъ голосовъ, словно смутный шорохъ гдѣ-то далеко идущей толпы. Закроется луна набѣжавшимъ облакомъ—и странныя тѣни побѣгутъ между могилами. Прозвенитъ испуганный крикъ птички, словно полузадавленный человѣческій стонъ, и степь замолчитъ, насторожится, прислушается. А горы подошли ближе и обступили степь, и смотрятъ на нее своими темными головами. Могильные камни выросли и стоятъ словно люди, словно сторожевые воины въ спящемъ лагерѣ, ждущіе, что вотъ загремитъ вѣстовая труба и

*) Такъ называемые „качинскіе татары" — одно изъ полудикихъ и полуязыческихъ племенъ, обитающихъ въ настоящее время въ Абаканской степи. Много любопытнаго о прошломъ степи читатель найдетъ въ обстоятельной статьѣ Д. Клеменца, приложенной, въ качествѣ вступленія, къ изданному Минусинскимъ музеемъ каталогу: „Древности Минусинскаго музея".

оригинальной, а еще оригинальнѣе было то, что приходилось ѣхать безъ кучера и безъ вожжей. Я чувствовалъ себя очень странно въ этой ладьѣ безъ руля и безъ вѣтрилъ, отданной на волю лѣниво бѣжавшей мохнатой лошаденки съ короткими ногами, больше похожей на овцу, чѣмъ на лошадь. Невольно думалось, что̀ со мной произойдетъ, если моей овцѣ угодно будетъ завести меня въ тайгу, вмѣсто слѣдующаго станка, и какъ мы съ ней будемъ поступать, если встрѣтимся съ другой такой же овцой и другимъ сѣдокомъ. Мои размышленія оказались праздными: никакихъ поворотовъ въ тайгѣ не было, мы сразу попали въ глубокій узкій корридоръ между двумя стѣнами снѣга, стоявшими выше дуги, настолько высокими, что дѣлались невозможными при самомъ необузданномъ характерѣ легкомысленныя попытки свернуть съ правильнаго пути. Не было основаній бояться и встрѣчъ,—какъ потомъ оказалось, почти никто и не ѣздилъ по этой дорогѣ, и мѣстные жители сообщались другъ съ другомъ на лыжахъ короткими таёжными путями. Два-три раза въ зиму промнутъ дорогу обозы съ мерзлой рыбой, направляющіеся изъ Туруханска въ Енисейскъ, по слѣдамъ одного изъ нихъ мы и ѣхали; разъ въ мѣсяцъ проѣдетъ почта; изрѣдка навернется предпріимчивый засѣдатель, для котораго предварительно нѣсколько подводъ проложатъ дорогу—вотъ и все. Да и кому ѣздить туда? Тамъ впереди Туруханскъ съ какими-нибудь двумя десятками домовъ, и за нимъ тундра, а дальше океанъ, край міра.

Нашъ поѣздъ представлялъ довольно оригинальную картину. Впереди ѣхалъ старшина, за нимъ засѣдатель, потомъ я, и арьергардъ составлялъ сотскій съ послѣдняго станка. Поѣздъ все растягивался, колокольчики моихъ спутниковъ замирали вдали, моя нарта без-

шумно скользила по мягкому снѣгу, то погружаясь въ глубокій снѣговой корридоръ, то взбираясь на бугоръ,—такая маленькая лодочка въ этомъ огромномъ океанѣ снѣгу.

Мнѣ было пріятно ѣхать, и я съ чувствомъ глубокаго отдыха смотрѣлъ на темную зелень пихтъ, кедровъ и лиственницъ. Деревья стояли огромныя и неподвижныя,—должно быть вѣтеръ давно не заглядывалъ въ тайгу,—обремененныя глыбами пушистаго снѣга мохнатыя лапы тяжело опустились книзу. Могильная тишина была въ тайгѣ, колокольчикъ звенѣлъ непривычнымъ для меня какимъ-то пустымъ звукомъ, но и эти звуки были слишкомъ громки для тайги и, казалось, отъ нихъ, раздумчиво колыхаясь въ воздухѣ, медленно падали одинокія бѣлыя снѣжинки съ мохнатыхъ лапъ.

Сонъ спалъ на деревьяхъ, дремучій сонъ съ тяжело закрывшимися вѣками, съ безсильно повисшими руками, съ мертвенно неподвижнымъ лицомъ; онъ медленно спускался съ деревьевъ на тихо перебиравшую ногами лошадь, на покачивавшагося въ нартѣ человѣка. Какъ мимолетныя сновидѣнія, мелькаютъ бѣлыя, бѣлѣе снѣга, куропатки; онѣ подбѣгаютъ къ самой нартѣ и удивленными глазами смотрятъ на очевидно непривычную для нихъ картину.

Время отъ времени глаза открываются и лѣниво смотрятъ кругомъ. Вспоминается гдѣ-то видѣнный итальянскій пейзажъ. Огромные сугробы, какъ тѣ бѣлыя скалы, и надъ ними высоко возносятся темныя купы хвой, какъ тѣ кудрявыя вершины итальянскихъ пиній, увѣнчивающихъ бѣлыя скалы, а надъ всѣмъ этимъ горячее синее небо... Должно быть тамъ также воздухъ жжетъ и трудно дышать...

А колокольчикъ все звенитъ пустынно и глухо, и

тишина становится все тише, а бѣлый сонъ надвигается все ближе и ближе.

И тянутся въ головѣ мысли медленныя, холодныя мысли:

— Неужели есть другая жизнь? неужели есть мѣста, гдѣ собираются сотни тысячъ людей, и они борются, волнуются, страдаютъ, гдѣ есть острые вопросы, побѣдные гимны? Какъ это странно... Такъ вѣдь все просто, такъ тихо и... и такъ холодно. О чемъ? Зачѣмъ?

Колокольчикъ странно заволновался и замолчалъ, я невольно вздрогнулъ и открылъ глаза: такая жуткая, страшная тишина настала въ тайгѣ. Деревья какъ-то сразу выросли и окружили меня, грозныя и молчаливыя, и угрюмо протянули ко мнѣ свои мохнатыя, засыпанныя снѣгомъ лапы. Лошадь оступилась съ дороги и нырнула въ бѣлую стѣну. Легкій, какъ пухъ, снѣгъ засыпалъ ее сверху, и она безсильно боролась, словно попала въ болотную трясину. Мнѣ нельзя было вылѣзти, такъ какъ у меня были обыкновенные валеные сапоги, и мнѣ приходилось терпѣливо дожидаться ѣхавшаго сзади сотскаго; лошадь послѣдовала моему примѣру и, выбравши положеніе поудобнѣе, прилегла на мягкую снѣговую перину.

Странная фигура, вся обсыпанная снѣгомъ, съ краснымъ, багровымъ, точно готовымъ лопнуть отъ прилившей крови лицомъ и смерзшимися въ сплошную льдину усами и бородой, долго топталась около лошади, уминая снѣгъ и помогая намъ выбраться на дорогу. Снова заковыляла лошадь и залепеталъ колокольчикъ свою пустынную, жалкую пѣсню.

Короткій зимній день догоралъ, когда мы пріѣхали въ деревушку.

Я ѣхалъ на эпидемію кори, странную эпидемію, какой мнѣ не приходилось встрѣчать за все время моей

медицинской дѣятельности. Я объѣхалъ уже много деревень, и вездѣ оказывалось одно и то же. Повидимому, корь никогда не появлялась въ этой мѣстности, и жители этихъ деревень, — какъ тѣ дикари одного изъ острововъ Южнаго океана, которымъ европейскій корабль завезъ въ первый разъ корь, — переболѣли почти поголовно всѣ: и отцы и матери, и старики и старухи въ 70, въ 80 л. Были нѣкоторыя основанія предполагать, что кораблемъ явился этапъ, откуда эпидемія была занесена одной поселенческой семьей.

То же оказалось и въ этой деревнѣ, — такъ же поголовно лежащіе старые и малые, биткомъ набившіе жалкія избушки кое-гдѣ съ пузырями вмѣсто стеколъ и съ неизбѣжной желѣзной печкой посрединѣ избы, составляющей такое зло этихъ окраинныхъ глухихъ деревушекъ. Преобладали старики, женщины и дѣти; мужчины работники, какъ оказалось, давно ушли въ тайгу на пушной промыселъ. Я долго ходилъ по кривымъ закоулкамъ деревни, между сугробами, лежавшими вровень съ крышами, и, наконецъ, съ чувствомъ облегченія спросилъ:

— Ну, а теперь всѣ?

Ходившая со мной баба, съ знакомъ сотскаго на груди, подняла фонарь къ моему лицу и неопредѣленно отвѣтила:

— Да оно, пожалуй, и всѣ.

— Всѣ или не всѣ?—нетерпѣливо и сердито спросилъ я.

Я измучился, ходя по деревнѣ, былъ страшно голоденъ и давно думалъ о пельменяхъ, съ которыми ждалъ меня засѣдатель на въѣзжей квартирѣ.

— Болѣзнь-то не эта,—нерѣшительно отвѣчала баба. Тунгусишка тутъ одинъ изъ тайги вышелъ... Баба его пропадать хочетъ. Какъ ужъ вы, ваше благородіе?

— Гдѣ она?

— У меня же на задворкахъ.

Я страшно разсердился, такъ какъ приходилось возвращаться чуть ли не на конецъ деревни.

— Чего же вы тогда-то не сказали, какъ я у васъ былъ?

— Думала, ваше благородіе, вы для этой болѣзни, для сыпухи...

Въ глубинѣ двора, отдѣльно отъ избы, маленькая постройка, очевидно, предназначенная не для жилья,— что-то въ родѣ бани или зимняго помѣщенія для молодыхъ телятъ. Небольшая квадратная комната, очень низкій потолокъ, земляной полъ, голыя стѣны съ торчащимъ изъ пазовъ мохомъ. Посрединѣ—старая ржавая желѣзная печка, накаленная до-красна, съ многочисленными дырами въ трубѣ, въ которыя тоненькими струйками сочился дымъ, синимъ облакомъ стоявшій подъ потолкомъ. Какой-то ночникъ чуть свѣтился и тоже дымилъ на столѣ. Спиной ко мнѣ стоялъ молодой парень въ красной старой рубахѣ и обдиралъ шкуру съ распластаннаго на стѣнѣ соболя; при моемъ входѣ онъ обернулся и посмотрѣлъ на меня испуганными глазами. Среди тѣхъ инородческихъ лицъ, изъ которыхъ состояло населеніе этой глухой окраины, я не призналъ бы въ немъ тунгуса. Немножко уже прорѣзъ глазъ, немножко чернѣе и жестче падавшіе прямыми космами на виски волосы—вотъ и все.

У стола стояла дѣвочка съ изрытымъ оспой лицомъ лѣтъ десяти и какъ звѣрекъ поблескивала на меня бѣлками своихъ темныхъ глазъ, больную я не разсмотрѣлъ сначала. Въ углу были придѣланы козла, покрытыя шкурой сохатаго и сверху медвѣжьей шкурой, въ огромной шерсти которой еле виднѣлась какая-то куча лохмотьевъ.

Провожавшая меня баба быстро заговорила молодому парню по-тунгусски, тыкая пальцемъ на меня, на больную и на походную аптечку, которую я держалъ въ рукѣ.

Тунгусъ подошелъ къ козламъ и разбудилъ жену. У ней было худое и истощенное, но прекрасное и совершенно интеллигентное лицо. Я не знаю—должно быть смерть—эта великая уравнительница классовъ, сословій, состояній и національностей, должно быть она стерла узкіе углы, смягчила тунгусскія черты и положила на лицо печать человѣческой скорби и страданія. Большіе черные лучистые глаза смотрѣли на меня взволнованно и испуганно. Я видѣлъ, какъ упорный тревожный взглядъ слѣдилъ за мной, пока я разспрашивалъ при посредствѣ хозяйки—тунгусъ ни слова не говорилъ по-русски—о началѣ и теченіи болѣзни. Больная вздрогнула и отодвинулась, когда я съ молоточкомъ въ рукахъ подошелъ къ ней и сѣлъ на постель, чтобы выстукивать и выслушивать. Она вся была такъ испугана и такъ дрожала, что я остановился и просилъ хозяйку разъяснить, что я ничего худого съ ней дѣлать не буду, а хочу только узнать, какая у нея болѣзнь.

Хозяйка долго говорила, но больная продолжала дрожать, какъ въ лихорадкѣ, ея глаза расширились отъ ужаса, она все отодвигалась къ стѣнкѣ, и я невольно началъ гладить ея волосы и говорить, какія приходили на умъ ласковыя слова, совершенно забывши, что она не понимаетъ ихъ. Понемногу она успокоилась, но и то при всякомъ ударѣ молоточка ея худенькое легонькое тѣло все вздрагивало, и когда я наклонился, чтобы приложить ухо, въ глазахъ ея снова мелькнуло выраженіе ужаса.

Правое легкое было разрушено; она вся горѣла въ жару, и сердце билось слабо и учащенно. И вдругъ я

почувствовалъ какъ двѣ сухія горячія руки крѣпко взяли меня за голову и приложили мое ухо къ правой сторонѣ груди, гдѣ хрипѣло и клокотало то злое и страшное, что вселилось въ несчастное измученное тѣло, и все росло и ширилось и раздирало грудь; потомъ переложили мою голову на лѣвую сторону, гдѣ какъ птичка въ клѣткѣ, видящая предъ собою врага, въ страшномъ изнеможеніи билось и трепеталось испуганное и обезсиливающее сердце.

О, я былъ великій шаманъ! Сердце стало биться ровнѣе, грудь дышала легче, крупныя капли пота выступили на лбу, а блестящіе лучистые глаза, все еще испуганные, но благодарные смотрѣли то на меня, то на молоточекъ, который я положилъ на столъ. А молодой тунгусъ съ молящимъ выраженіемъ въ глазахъ, все говорилъ и говорилъ. Мнѣ не нужно было хозяйки, чтобы понять, что говорилъ онъ мнѣ. Онъ указывалъ рукой на полуободранную шкуру соболя и на другія три шкуры, висѣвшія рядомъ, и говорилъ, что онъ отдаетъ ихъ мнѣ, онъ махалъ рукой въ окно по направленію простиравшейся отъ самаго окна тайги, говоря, что онъ принесетъ оттуда еще много соболей, и чернобурую лисицу, и голубого песца, если я спасу его жену, и мнѣ не нужно было никакихъ словъ, когда я видѣлъ, какъ онъ, наклоняясь, крѣпко прижималъ руку къ сердцу, а любящая пара глазъ съ печальнымъ и ждущимъ выраженіемъ смотрѣла на меня. Онъ такъ огорчился, когда я отказался взять его соболей, что я долженъ былъ обѣщать ему, что въ слѣдующій разъ привезу много хорошихъ лѣкарствъ и тогда возьму его подарки.

Онъ продолжалъ говорить, пока я развѣшивалъ порошки и объяснялъ хозяйкѣ, какъ нужно принимать ихъ. Благодарные,—я хотѣлъ бы сказать, счастливые—

лучистые глаза смотрѣли на меня съ медвѣжьей шкуры. Когда я уходилъ изъ избы, тунгусъ провожалъ меня до двери, а дѣвочка попрежнему стояла у стола и угрюмо смотрѣла какъ волченокъ, поблескивая бѣлками своихъ темныхъ глазъ.

— Свѣрь, свѣрь, а чусьвуетъ!—говорила, провожая меня по улицѣ съ фонаремъ баба.

Сознавая свою принадлежность къ доминирующему племени, она относилась свысока и презрительно къ своимъ жильцамъ, хотя ея широкія скулы, узенькіе глазки и короткія ноги и суконный языкъ говорили о несомнѣнномъ родствѣ съ ними.

— Изъ тайги принесъ хозяйку-то. На лыжахъ, на рукахъ все несъ, ужъ сколько времени не знаю,—говорила она тѣмъ же ломаннымъ русскимъ языкомъ.— Тоже жалѣютъ... Сколь у него соболей-то было—фершалу отдалъ, нарочно изъ волости выписывалъ. Сказывалъ, и въ тайгѣ-то что шамановъ перепробовалъ. Откуда то изъ дальней тундры наѐбольшаго ихняго вывозилъ. Не помогли видно, онъ и понесъ къ намъ.

— Неужели это ихъ дочь?—спросилъ я, вспоминая молодыя лица тунгуса и тунгуски и рѣзко отличающееся отъ нихъ лицо дѣвочки.

— Въ дочки взяли... въ тайгѣ нашли. Юрачка она, должно быть бросили ее, больную въ воспѣ на стойбищѣ, видѣли—лицо-то искорежено, они и набрели на нее и приняли въ дѣти, значитъ...

Я возвращался ночью. Въ тайгѣ было жутко, деревья стояли тревожно и настороженно. Блѣдный серпъ луны испуганно смотрѣлъ сквозь темныя мохнатыя лапы, снѣгъ странно синѣлъ, тѣни протянулись между деревьями, сплетались, расходились и длинными темными рядами ложились на синемъ снѣгу. Смутный шорохъ несся къ тайгѣ; крутясь въ воздухѣ и побле-

скивая въ свѣтѣ луны падали безчисленныя снѣжинки Кто-то былъ въ тайгѣ, кто-то разбудилъ ее.

Чудится въ тайгѣ...

Безшумно скользя лыжами по мягкому снѣгу, быстро движется человѣкъ, одѣтый въ оленьи шкуры. Не отставая, спѣшитъ за нимъ на лыжахъ также одѣтая въ оленьи шкуры маленькая дѣтская фигурка. Тотъ, передній, бережно несетъ въ рукахъ завернутую въ медвѣжью шкуру драгоцѣнную ношу. Деревья тревожно слѣдятъ за ними, изъ-за темныхъ лапъ испуганно смотритъ мѣсяцъ, длинныя тѣни бѣгутъ за лыжами, снѣгъ сыплется сверху, а изъ глубины медвѣжьей шкуры смотрятъ на меня большіе, черные, лучистые глаза, напуганные, жалующіеся, молящіе меня о жизни.

ГЕКТОРЪ.

I.

Восемь часовъ утра; самоваръ стоитъ на столѣ; маленькой дѣвочкѣ пора идти въ гимназію.

— Зининька! будитъ ее горничная.

Папа и мама зовутъ дѣвочку Зиной и Зиночкой, братъ Вася называетъ ее чаще всего „Зинка“, но горничныя и кухарки почему-то зовутъ ее непремѣнно „Зининька“.

Дѣвочка молчитъ и продолжаетъ лежать въ своей кроваткѣ, укутанная одѣяломъ.

Горничная дѣлаетъ нѣсколько шаговъ къ кроваткѣ, но изъ-подъ одѣяла выставляется черная голова собаки съ оскаленными острыми и крѣпкими зубами. Горничная отступаетъ и снова начинаетъ уговаривать дѣвочку.

— Ну что, право, Зининька! маменька опять сердиться будутъ.

Дѣвочка не отзывается и потихоньку поглаживаетъ подъ одѣяломъ Гектора, поощряя его къ дальнѣйшимъ воинственнымъ мѣропріятіямъ.

— Вотъ, барыня, — обращается горничная къ входящей мамѣ: — Вехторъ опять не пущаетъ.

— Вставай, Зина! — строго говоритъ мама и съ рѣшительнымъ видомъ подходитъ къ кроваткѣ.

При такомъ явномъ нападеніи, Гекторъ вскакиваетъ

на всѣ четыре ноги, злобно рычитъ и принимаетъ такой видъ, который ясно выражаетъ, что кому жизнь недорога, тотъ можетъ подойти, но за послѣдствія онъ, Гекторъ, не отвѣчаетъ. Мама, какъ и горничная, понимаютъ это и отступаютъ отъ кровати.

— Пошелъ, Гекторъ! — кричитъ издали мама, но Гекторъ находитъ, что другъ его въ опасности, и рѣшается грудью защищать его отъ всего свѣта.

Маленькая дѣвочка давно проснулась и однимъ глазомъ выглядываетъ изъ-подъ одѣяла. Она знаетъ, что пора вставать и успѣла уже увидѣть на столѣ свою любимую горячую шаньгу, которую такъ вкусно приготовляетъ по утрамъ для нея Аксинья; но постель такъ тепла и то, что передъ ней происходитъ, такъ интересно, что она продолжаетъ притворяться спящей.

Маленькій шарикъ изъ хлѣба попадаетъ ей въ носъ—послѣднее средство, которое остается въ такихъ случаяхъ мамѣ, и дѣвочка вскакиваетъ съ кроватки.

— Что это, мама! — недовольнымъ голосомъ говоритъ она:—вѣдь такъ можно испугать человѣка. Знаешь, какъ это опасно!

Мама, очевидно, не видитъ въ этомъ большой опасности и дѣлаетъ строгое внушеніе соскочившему съ кровати Гектору. Гекторъ сконфуженъ. Онъ всѣмъ видомъ старается показать, что такъ поступать онъ больше не будетъ и, съ поджатымъ хвостомъ, бочкомъ по стѣнѣ пробирается къ двери.

— Вотъ я прогоню твоего Гектора, если это будетъ повторяться!—говоритъ мама.

Дѣвочка сидитъ за столомъ, торопливо пьетъ горячій чай и ѣстъ свою шаньгу. Передъ ней лежитъ раскрытая ариѳметика, которая служитъ ей надежной крѣпостью отъ всякихъ нападеній мамы.

— Ахъ, мама, развѣ ты не видишь, я повторяю урокъ,—отвѣчаетъ она.

Дѣвочка не особенно безпокоится. *Это* повторяется каждое утро, и тѣмъ не менѣе она увѣрена, что мама никогда не прогонитъ Гектора, такъ какъ любитъ Гектора именно за то, что онъ такъ привязанъ къ ея дѣвочкѣ. Она одѣта; за дверью ждетъ ее вѣрный Гекторъ.

— Ну, Гекторчикъ, въ гимназію!

Они опоздали и бѣгомъ отправляются оба въ путь. Между Гекторомъ и гимназическимъ сторожемъ всегда происходятъ нѣкоторыя недоразумѣнія, такъ какъ Гекторъ опасается отпустить дѣвочку одну внутрь этого большого темнаго каменнаго дома и порывается проскользнуть за ней. Обстоятельства сильнѣе насъ, и Гектору приходится уходить одному домой. Онъ идетъ спокойнымъ шагомъ, съ самоувѣреннымъ видомъ, равнодушно посматривая на собакъ, снующихъ на городской площади. Городскія собаки знаютъ его и по надлежащей стоимости оцѣниваютъ его широкую грудь, стальные мускулы и острые, крѣпкіе зубы.

Если на него нападала какая-нибудь деревенская глупая собака, онъ даже и не грызся съ ней, а только налеталъ на нее грудью, и отъ этого удара собаки гораздо крупнѣе его летѣли кубаремъ и не повторяли больше своихъ попытокъ.

Гекторъ заходитъ въ конюшню повидаться со своимъ старымъ пріятелемъ—съ маленькой, но крѣпкой и быстрой сибирской лошадкой. Соловко коситъ на него глаза и переступаетъ съ ноги на ногу. Съ Гекторомъ они старые пріятели еще по обозамъ, въ которыхъ они вмѣстѣ хаживали между Томскомъ и Красноярскомъ, по тѣмъ долгимъ странствованіямъ, въ которыхъ прошла вся жизнь Гектора, отъ которыхъ у него посѣдѣла

грудь, прострѣлено пулей ухо и многочисленные рубцы на кожѣ свидѣтельствуютъ о битвахъ, которыя ему приходилось вести съ волками и лихими людьми, нападавшими на обозы.

Соловко боится болѣе демонстративно привѣтствовать своего друга, такъ какъ въ эту минуту его чиститъ кучеръ Михайло, а Михайло сегодня сердитъ, что Соловко отлично чувствуетъ по тому, какъ скребница ходитъ по его спинѣ.

У Михайла болитъ шея, болитъ спина, всего его ломаетъ, а въ обломокъ зеркала, сохраняющагося въ его сундучкѣ, онъ увидѣлъ утромъ не совсѣмъ пріятную опухоль подъ лѣвымъ глазомъ. Но не это смущаетъ Михайла... У него осталось смутное воспоминаніе, что ночью въ кухню заходилъ баринъ и съ бариномъ у нихъ вышелъ разговоръ; какой разговоръ—онъ не помнитъ, но полагаетъ, что разговоръ былъ непріятный. Михайло оставляетъ Соловко, садится на порогѣ конюшни и посылаетъ себѣ въ носъ хорошую понюшку табаку, что всегда въ подобныхъ случаяхъ освѣжаетъ его мыслительныя способности.

Такъ и теперь. Въ смутной головѣ Михайла начинаютъ мелькать кое-какія подробности вчерашняго вечера...

Было пито... это онъ твердо помнитъ, и три листика тоже... И какъ это у него съ картой неладно вышло! всегда удавалось, а тутъ нà-поди! и эти дьяволы, пріисковые рабочіе. Въ особенности съ удовлетворительною ясностью вспоминается Михайлѣ одна мерзкая рожа... и кулачище у подлеца!..

Михайло даже сплевываетъ и невольно трогаетъ свою шею. „Ну, такъ, это все было... А дальше?“...

Тутъ нить воспоминаній прерывается, и Михайло съ недоумѣніемъ разсматриваетъ валяющійся у порога

разбитый фонарь, тщетно силясь установить связь между нимъ и тѣмъ ночнымъ разговоромъ съ бариномъ, который въ особенности интересуетъ Михайла. Онъ посылаетъ въ носъ вторую понюшку и снова возвращается къ вчерашнему вечеру въ Береговомъ кабакѣ.

— Челдонъ, такъ онъ челдонъ и есть! — вслухъ выговариваетъ Михайло.

Къ челдонамъ онъ относится враждебно. Какъ-никакъ, все-таки онъ, Михайло, дьячкомъ былъ, да еще подъ Москвой. Два года въ духовномъ училищѣ учился. Ну, взломалъ кружку, это вѣрно,—такъ вѣдь въ кружкѣ-то всего два рубля шестнадцать копеекъ было. И за такія-то деньги жизнь долженъ кончать съ ними, съ челдонами!.. Отецъ у него въ дьяконскомъ санѣ состоялъ, а братъ и сейчасъ профессоромъ семинаріи, надворный совѣтникъ,—должны бы, кажется, понимать, а они безо всякаго вниманія—въ ухо... Черти! право, черти!

— Эй вы, челдоны!—кричитъ онъ на лошадей.

Во время размышленій Михайла, Соловко пробрался къ мѣшку съ овсомъ, довольно ловко просунулъ голову въ мѣшокъ и въ эту минуту спокойно жевалъ овесъ, пофыркивая и переступая съ ноги на ногу.

Толстая гнѣдая Просвирня употребляла напрасныя усилія отодвинуть Соловко и просунуть и свою голову въ мѣшокъ.

Отъ удара полѣномъ, которое запустилъ въ нее Михайло, она лѣниво побрела въ стойло, а Соловко вынулъ голову изъ мѣшка и косился на Михайла, давая понять, что совѣсть его чиста и онъ тутъ не причемъ.

Михайлѣ скучно, Михайло тоскуетъ.

— Ты, Вехтóръ, иси, сюда! — кричитъ онъ. — Ну, служи!

Гекторъ, какъ и вся Сибирь, демократическаго происхожденія и демократическаго образа мыслей, и учиться у Михайла служить на заднихъ лапахъ, и вообще аристократическимъ манерамъ не желаетъ. Оскорбленный грубымъ тономъ и попыткой поставить его на заднія лапы, онъ выходитъ изъ конюшни, равнодушно пропускаетъ мимо ушей посланное ему въ догонку восклицаніе Михайла: „дуракъ!“ — и направляется въ кухню.

Кухню Гекторъ любилъ; тамъ такъ тепло и такъ славно пахнетъ, и его отношенія съ Аксиньей вполнѣ дружественныя. Онъ съѣдаетъ завтракъ и растягивается на своемъ любимомъ мѣстѣ, возлѣ плиты. Одинъ глазъ его засыпаетъ, а другой бодрствуетъ и лѣниво слѣдитъ за тѣмъ, какъ Аксинья управляется въ кухнѣ.

— Что, Кехтуръ: — говоритъ Аксинья; она недавно поступила и еще не выучилась какъ слѣдуетъ выговаривать Вехторъ:—чай вѣдь Зининька идетъ.

При словѣ: „Зининька“, Гекторъ вскакиваетъ и бѣжитъ къ мосту, гдѣ обыкновенно происходитъ встрѣча двухъ друзей.

— Зинаида Васильевна! — останавливаетъ дѣвочку Михайло.

Онъ большой политикъ и знаетъ, что маленькой дѣвочкѣ очень лестно, когда ее называютъ по имени и отчеству.

— Чтó я васъ хотѣлъ попросить! — говоритъ онъ, маня дѣвочку въ конюшню.— Ежели, можетъ, разговоръ съ папенькой выйдетъ, будьте столь прекрасны — словечко за меня!

— Что это у тебя, Михайло,—всматривается дѣвочка въ распухшій глазъ Михайла, успѣвшій посинѣть съ утра:—гдѣ ты ушибся?

— Вотъ въ этомъ-тои притча,—отвѣчаетъ Михайло.— Ночью, знаете, обряжалъ Соловко... Кабы у насъ фонарь настоящій былъ, какъ у другихъ людей... задуло вѣтромъ, я споткнулся о порогъ-то, да вотъ объ эту скамейку и хряснулся. И фонарь-то разбилъ.

— Больно, Михайло?—спрашиваетъ дѣвочка.

Какъ всегда, когда она слышитъ о чьей-нибудь боли, у нея начинаетъ ныть подъ ложечкой.

— Ужъ такъ ли, барышня, больно! свѣтъ помутился, и по сейчасъ спину ломитъ.

— Вотъ, погоди, я сейчасъ сбѣгаю къ мамѣ,—примочку принесу.

— Нѣтъ, барышня, не безпокойтесь,—останавливаетъ ее Михайло:—пройдетъ, бывальщина...

Въ голосѣ Михайла слышатся жалобныя ноты.

— Вы, вѣдь, вотъ, Зинаида Васильевна, посмотрѣли, сейчасъ увидѣли, что ушибся, а папенька, извѣстно, подумалъ на другое; а я, сейчасъ умереть, вотъ какъ передъ истиннымъ Богомъ... „Получай разсчетъ“... Конечно, они въ своемъ правѣ, найдутъ другого кучера, а я страдать долженъ. Время-то идетъ осеннее, холодное. Бѣднаго человѣка долго ли обидѣть...

Михайло кукситъ здоровый глазъ и выказываетъ рѣшительное намѣреніе заревѣть.

— А ужъ я ли, кажется, Соловка не жалѣлъ! Ночью-то встанешь сколько разъ, посмотришь, потому Соловко лошадь,—не то, что эта вотъ дура, Просвирня-то!—Дѣвочка очень любила Соловка и терпѣть не могла Просвирню.—Ужъ вы, Зинаида Васильевна, не оставьте, попросите папеньку.

— Хорошо, хорошо, — спѣшитъ успокоить его дѣвочка, уходя изъ конюшни. Она волнуется, она возмущена до глубины души. Человѣкъ ушибся, а его про-

гоняютъ, и такую несправедливость сдѣлалъ ея папа, котораго она всегда считала справедливымъ.

Въ комнатахъ не оказалось ни папы, ни мамы; она успѣла успокоиться и направляется въ кухню.

— Ну, что, Зининька, много васъ нынче учили? — спрашиваетъ ее Аксинья.

Онѣ состоятъ въ очень близкихъ отношеніяхъ. Маленькая дѣвочка учитъ Аксинью читать, и пусть успѣхи не слишкомъ велики, зато учительница и ученица совершенно довольны ими.

— Кочерыжка есть? — спрашиваетъ вмѣсто отвѣта дѣвочка?

— Маменька опять браниться будутъ, — сопротивляется Аксинья.

— Я только немножко, Аксиньюшка, мама не узнаетъ.

За кочерыжкой слѣдуютъ брюква, рѣпа и прочіе сибирскіе фрукты,— все то, что такъ строго запрещается наверху, въ комнатахъ.

Дѣвочка усаживается съ ногами на кровать Аксиньи, и начинается обычный дружественный передъобѣденный обмѣнъ мыслей между Аксиньей и маленькой дѣвочкой.

— Гектора кормила?—предварительно освѣдомляется дѣвочка.

— Какъ же, Зининька, рубцы варила.

Дѣвочка смотритъ, какъ Аксинья, здоровенная двадцатипятилѣтняя дѣвушка, управляется съ горшками, и теперь ея лицо — серьезное и дѣловое—очень нравится ей и совсѣмъ не кажется смѣшнымъ, какъ тамъ наверху, въ комнатахъ, гдѣ Аксинья не могла сказать слова, не покраснѣвши до корня волосъ. Дѣвочка молчитъ и думаетъ свою думу, которая уже давно занимаетъ ее.

— А можетъ, Аксинья, Гекторъ изъ человѣковъ?

Аксинья поворачиваетъ отъ печки удивленное лицо.

Мысли въ головѣ дѣвочки толпятся во множествѣ, все бѣгутъ и толкаютъ другъ друга и выскакиваютъ, не всегда одѣвшись, какъ слѣдуетъ.

— Можетъ, Гекторъ—людъ,—поправляется дѣвочка.

Слово опять вышло неподходящее, дѣвочка сердится; но Аксинья отлично понимаетъ ея мысль.

— И очень просто, Зининька, — немедленно соглашается она: — развѣ не бываетъ. Съ сестрой у меня случилось...

— Ну?—по-сибирски протягиваетъ дѣвочка.

— Хозяинъ пропалъ у ней...

— Какъ пропалъ?

— Въ рѣкѣ утонъ. Ну, она тосковать, сестра-то. Тосковать, да тосковать, совсѣмъ было ума рѣшилась. И стала тутъ летать къ ней птичка. Такъ, махонькая птичка—все пикъ да пикъ... И день летаетъ, и мѣсяцъ летаетъ. Ежели сестра въ избѣ сидитъ, птичка у оконца вьется; въ огородѣ работаетъ—птичка на рябину сядетъ и все пикъ да пикъ, пикъ да пикъ... Стала сестра примѣчать и говоритъ однова: „Что ты птичка пикаешь?“ А птичка-то ей человѣчьимъ голосомъ; „Али не узнала, Дунюшка? Пошто убиваешься! будетъ тосковать-то?“ И пропала.

По мѣрѣ разсказа глаза дѣвочки расширяются, и она спрашиваетъ:

— Онъ?

— Онъ.

— Ну, а сестра-то?

— Омрокъ ошибъ ее. Такъ безъ памяти и нашли въ грядахъ. Ну, потомъ ничего, отошла и тосковать меньше стала.

Дѣвочка молчитъ, подавленная разсказомъ, а мысли все толпятся, все бѣгутъ.

— Это, значитъ, душа...

— Одно дѣло, душенька его. Батюшка Царь Небесный отпущалъ.

— А какъ же, Гекторъ-то? Онъ же живъ...

— Кехтуръ-то?—нераспрашиваетъ Аксинья и задумывается.—И такъ бываетъ,—поправляется она.—Мамонька сказывала: у нихъ въ деревнѣ,—изъ Большой Елани она взята,—мужикъ два года медвѣдемъ бѣгалъ.

— А можетъ, это настоящій медвѣдь?—сомнѣвается дѣвочка.

— Какой медвѣдь! Съ рыжиной медвѣди-то. А это чо-ор-ный... и мужикъ-то былъ черный, ровно сажа... И въ берлогу не ложился. Сколько скота перепортилъ и все больше, Зининька, со своего двора. Хозяйку помялъ было.

— Съѣлъ?—встревожилась дѣвочка.

— Нѣтъ, такъ поломалъ маленько... А потомъ опять объявился въ человѣчьемъ видѣ; худой-худой изъ себя, да скучный. И гдѣ пропадалъ—молчитъ.

— Какъ Царь Навуходоносоръ,—въ раздумьѣ говоритъ дѣвочка.

— Что царь?—заинтересовывается Аксинья.

— А это... царь былъ такой, Навуходоносоръ. Такъ Богъ разсердился на него, на семь лѣтъ быкомъ сдѣлалъ.

Аксинья поставила ухватъ на полъ. Лицо ея знаменуетъ неописуемое изумленіе.

— А ты не врешь часомъ, Зининька?

— Ну вотъ! Хочешь я тебѣ книжку принесу.

— Царь? говоришь, Ухосоръ?

Дѣвочка заливается хохотомъ.

— Наву-ходо-носоръ,—смѣется она.

— Я и говорю: Вухосоръ. Слышала...

Аксинья дѣлаетъ обиженное лицо; дѣвочка перестаетъ смѣяться и подтверждаетъ:

— Ну да, Вухосоръ.

— Настоящій царь?—спрашиваетъ Аксинья.

— Надъ всѣми царями царь.

— И быкомъ, говоришь? Пасся? Траву щипалъ? Семь годовъ?

Щи выступаютъ въ печкѣ изъ чугуна, но Аксинья такъ поражена, что ничего не замѣчаетъ.

Обѣ молчатъ, охваченныя важностью обсуждаемой темы, и обѣ взглядываютъ на Гектора. Гекторъ лежитъ у плиты, на своемъ любимомъ мѣстѣ, и дѣлаетъ такой видъ, какъ будто разговоръ идетъ совсѣмъ не о немъ. Одинъ глазъ у него спитъ, а другой неопредѣленно блуждаетъ по кухнѣ.

— Я и то стала примѣчать, Зининька,—уже полушопотомъ, съ испуганнымъ видомъ, говоритъ Аксинья, наклонившись къ дѣвочкѣ.—Запримѣтила ты, Кехтуръ ровно въ полночь изъ горницъ выходитъ?

Еще бы дѣвочкѣ не знать этого: каждую ночь въ двѣнадцать часовъ Гекторъ скребется въ дверь, пока горничная не встанетъ, не выпуститъ и опять не впуститъ его.

— Ну?—спрашиваетъ она.

— Такъ примѣчала я за нимъ—говоритъ Аксинья:—спустится это съ лѣстницы и сейчасъ къ конюшнѣ. Постоитъ у дверей, послушаетъ; потомъ къ воротамъ, къ амбару, къ погребу. У кухни постоитъ, ровно вотъ человѣкъ, хозяинъ который настоящій... Въ порядкѣ ли, молъ, все, заперто ли, прибрано ли. И не лаетъ, развѣ за воротами кто шляется.

Послѣ долгаго молчанія дѣвочка выговариваетъ:

— А мама вотъ все не вѣритъ, говоритъ — глупости.

— Да вѣдь маменька ваша ученая, да и по городамъ все больше жили, ну а въ городахъ-то этого не слыхать. Да вотъ и ты, Зининька, говоришь... царь Вухосоръ-то.

Въ головѣ дѣвочки происходитъ борьба; она вѣритъ и мамѣ, но теперь доводы Аксиньи, подкрѣпленные ея личнымъ опытомъ и примѣромъ царя Навуходоносора, кажутся ей гораздо болѣе убѣдительными, чѣмъ голословное заявленіе мамы, что этого не бываетъ.

II.

Дѣвочка въ большомъ горѣ. Конечно, безъ горя не проживешь, но бываютъ такіе дни, когда, кажется, всѣ горя сваливаются на человѣческую голову. Такъ было и съ дѣвочкой въ этотъ день. Началось съ пожара. Дѣвочка не могла не побѣжать къ горѣвшему дому, когда мимо нея проскакали пожарные. Разыскала ее тамъ горничная, посланная мамой, и привела въ довольно плачевномъ видѣ, съ мокрыми волосами и мокрымъ платьемъ. Семья сидѣла уже за столомъ, и дѣвочку встрѣтили не особенно ласково.

Ну, папа еще ничего, онъ всегда пріѣзжаетъ къ обѣду усталый и сердитый, но маму она рѣшительно отказывалась понимать. Во-первыхъ, мама должна знать, что ея дѣвочка давно рѣшила послѣ гимназіи поступить въ пожарные, и сколько разъ она именно мамѣ разсказывала, какъ въ мѣдной каскѣ съ крикомъ: „берегись!“ будетъ летѣть она на тройкѣ лошадей съ колокольчикомъ и какъ влѣзетъ въ горящій домъ и вытащитъ маленькаго ребеночка, котораго забыла какая-нибудь другая мама. А потомъ, что жъ тутъ особеннаго, что платье и волосы мокры, вѣдь мочитъ же людей дождикъ. И случилось это очень просто. Она хотѣла

немножко поближе посмотрѣть,—ну подъ трубу и попала! Обидно было, что отъ мамы досталось по дорогѣ и Гектору, оказавшемуся въ такомъ же прискорбномъ положеніи и попытавшемуся влѣзть на диванъ,—хотя мама должна понимать, что Гекторъ тутъ совсѣмъ ужъ не при чемъ.

Обѣдъ вышелъ вообще непріятный для дѣвочки. Когда она заговорила было папѣ, что Михайла нехорошо обижать и прогонять за то, что онъ ушибся въ конюшнѣ, папа очень сурово остановилъ ее, сказавши, что ей не слѣдуетъ мѣшаться не въ свое дѣло, и что она—маленькая дѣвочка и ничего не понимаетъ. „Маленькая дѣвочка", когда ей почти девять лѣтъ! Это второе горе. Потомъ этотъ противный Васька, братъ ея. Воображаетъ о себѣ, что первоклассникъ — дѣвочка была приготовишка—и уже все знаетъ. А Васька въ этотъ разъ говорилъ особенно возмутительныя вещи. Говорилъ, что дѣвочкѣ за ея пятерки у нихъ въ гимназіи ставили бы колы, что дѣвчонокъ учатъ такъ-себѣ, и дошелъ до того, что высказалъ общую мысль, что всѣ дѣвчонки дуры, и что потому ихъ не учатъ латинскому языку.

Обидно было, что мама противъ обыкновенія не поддержала ее, и папа такъ странно улыбался надъ тарелкой. Положимъ, по мѣрѣ силъ она защищалась и выдвинула цѣлый рядъ обвинительныхъ пунктовъ:—гимназисты во время класса играютъ въ карты и проигрываютъ все имущество до послѣдняго перышка, а второклассники курятъ табакъ, и вообще это народъ отвратительный—пьяницы, картежники и мошенники. Спеціально же Васѣ она предсказала горькую судьбу—сдѣлаться жиганомъ и пьяницей.

— Ты хорошенько подумай, Васенька, — говорила она тѣмъ особенно ласковымъ тономъ, отъ котораго

Вася приходилъ въ бѣшенство:—вотъ и будешь, какъ Ванька Безпечальный, по кабакамъ шляться.

Здоровый тумакъ въ бокъ, полученный ею отъ Васи за „жигана",—далъ ей нѣкоторое удовлетвореніе, но тѣмъ не менѣе она чувствовала, что вышла изъ спора неполной побѣдительницей, и эти дурацкіе древніе языки остались вѣчнымъ оружіемъ противъ нея.

Но самое горькое вышло послѣ обѣда, когда мама только за то, что дѣвочка хотѣла идти на пожаръ, чтобы посмотрѣть, загорѣлся ли сосѣдній домъ, о каковомъ обстоятельствѣ были большіе споры въ толпѣ, сказала ей, что она гадкая, и что такую гадкую дѣвочку мама вовсе не желаетъ любить.

Это уже было выше силъ восьмилѣтней человѣческой души, и потому дѣвочка лежала въ спальнѣ поперекъ широкой кровати,—обычнаго мѣста, гдѣ изливались ея горести,—энергично болтала ногами и кричала на весь домъ тѣмъ ровнымъ, безъ повышеній и пониженій, отчаяннымъ плачемъ, который, какъ ей было извѣстно по долговременному опыту, имѣлъ особенное свойство разжалобить ея маму. Время отъ времени она останавливалась, чтобы прислушаться, не идетъ ли мама мириться; но мама выдерживала характеръ и лежала въ своей комнатѣ, завернувшись по уши въ эту противную сѣрую шаль, и читала свою противную книгу. Послѣ такихъ остановокъ дѣвочка ничинала кричать еще сильнѣе, и мысли ея принимали болѣе мрачный характеръ.

— И хорошо, и превосходно! — шептала она про себя.—У меня заболитъ голова и сдѣлается жаръ, вотъ тогда они увидятъ!

Дѣвочка знала, что мама больше всего боится, когда у нея дѣлается жаръ, и тогда она думаетъ, что ея дѣвочка собирается умирать. Но Зинѣ вспомнилось,

какъ она кричала такъ прошлый разъ и сказала, что у нея жаръ, и мама испугалась, уложила ее въ постель, напоила чаемъ съ вареньемъ, накормила конфетами, а папа пришелъ и поставилъ этотъ скверный термометръ: жара не оказалось—и вышло очень конфузно.

— Ну, хорошо! — и дѣвочка придумываетъ болѣе удачную комбинацію. Она уйдетъ въ тайгу, и ее съѣстъ медвѣдь. Вотъ тогда-то ужъ *они* узнаютъ, да будетъ поздно! И ей представилось, какъ она ушла далеко въ тайгу, и на нее влѣзъ медвѣдь большой, страшный, и сталъ ее ѣсть. И дѣвочкѣ стало страшно и жалко себя, и теперь уже отъ этой жалости она заплакала еще сильнѣе; но мама не шла и оставалась глуха къ ея крикамъ.

Только Гекторъ изнывалъ отъ желанія утѣшить свою пріятельницу. Онъ перепробовалъ всѣ средства, оказывавшіяся въ такихъ случаяхъ дѣйствительными: прыгалъ на нее, подвывалъ жалостнымъ голосомъ, трогалъ ее тихонько лапой. Дѣвочка продолжала болтать ногами, отпихивала его и въ промежуткахъ между криками поворачивала къ нему мокрое отъ слезъ лицо и сердито шептала: „Убирайся, Гекторъ, и ты такой же скверный, какъ человѣки. Гадкій Гекторъ, скверный, уйди отъ меня!

Гекторъ обижался сравненіемъ съ „человѣками“ и въ видѣ протеста начиналъ коротко и сердито лаять.

Прошла минута, двѣ. Гекторъ не подавалъ признаковъ жизни. Дѣвочка не могла утерпѣть и потихоньку обернулась, чтобы посмотрѣть, что дѣлается съ Гекторомъ. Она увидѣла такое, отъ чего ни одинъ человѣкъ не можетъ совладѣть съ собой.

Гекторъ сидѣлъ на заднихъ лапахъ и, закусивши верхнюю губу, при чемъ выставлялись его зубы, съ недоумѣніемъ смотрѣлъ на дѣвочку. Выходило одно

изъ тѣхъ рѣдкихъ выраженій физіономіи Гектора, когда, казалось, онъ улыбался. Дѣвочка не могла удержаться отъ нахлынувшаго на нее смѣха, вскочила съ постели и черезъ голову испугавшагося и отшатнувшагося Гектора бросилась черезъ всѣ комнаты съ крикомъ:—„Мама, Гекторъ смѣется!“ — Она вбѣжала, какъ буря, въ комнату, гдѣ лежала мама, стащила сѣрую шаль и, схвативши за руку, повторяла:—„мама, посмотри, Гекторъ смѣется!“

— Вѣдь ты не хочешь мириться со мной,—смѣялась мама.

— Ахъ, мама, какая ты злая! Голубчикъ, миленькая, пойдемъ, посмотри, Гекторъ смѣется — это такъ интересно!

Она прыгала и плясала, пока не стащила маму и не привела въ спальню, гдѣ Гекторъ, ошеломленный всѣмъ случившимся, продолжалъ сидѣть въ той же позѣ и попрежнему улыбаться. При видѣ смѣющагося, оживленнаго лица дѣвочки, недоразумѣнія Гектора кончились; онъ весело прыгнулъ и успѣлъ лизнуть дѣвочку въ самый носъ.

Семейный миръ возстановленъ, слезы высохли на рѣсницахъ дѣвочки, и вся встрепенувшаяся и умиротворенная, она безъ сопротивленія идетъ въ свою комнату и охотно садится за книжку.

— Ну, Гекторъ, ты дуракъ, необразованный, учись и сиди смирно.

Гекторъ садится на заднія лапы и приготовляется слушать.

— Тула лежитъ... населеніе... уѣздные города...— громко и быстро читаетъ дѣвочка. Потомъ она нѣкоторое время молчитъ и повторяетъ Гектору:

— Ну, такъ слушай. Тула лежитъ... Ту-у-ла,—начинаетъ вслушиваться дѣвочка въ звукъ своего соб-

ственнаго голоса.—Какое гадкое слово! Тула ты, Гекторъ!

Гекторъ сердито мотаетъ головой и коситъ глаза въ уголъ, въ знакъ того, что Тула ему рѣшительно не нравится, и что Тулой зваться онъ не желаетъ.

— Да, да! Тула ты, Тула!—настаиваетъ дѣвочка.—Фу, противная Тула!—Дѣвочка на нѣсколько секундъ углубляется въ книгу.—Нѣтъ, ты хуже,—снова обращается она къ Гектору:—Ка-а-лу-га ты! Какъ тебѣ не стыдно, Гекторъ!—Ка-лу-га!

Гекторъ выказываетъ признаки сильнѣйшаго неудовольствія; онъ сердито лаетъ и порывается выхватить зубами географію изъ рукъ дѣвочки. Тогда она смягчается, начинаетъ перебирать города Россійской имперіи, которые больше были бы достойны Гектора, и останавливается на Курскѣ.

— Курскъ, Курскъ! Фью-фью!—дѣвочка подсвистываетъ и снова повторяетъ:—Курскъ, Курскъ! Курскъ ты, миленькій Гекторъ, а не Калуга.

Гекторъ согласенъ; онъ даетъ понять, что Курскъ совсѣмъ не то, что Тула и Калуга, поэтому утвердительно постукиваетъ обрубленнымъ хвостомъ по полу и отъ удовольствія даже взвизгиваетъ.

— А, можетъ быть, ты Орелъ?—соображаетъ дѣвочка.—Орелъ?—дѣвочка останавливается. — Большой, большой орелъ, непремѣнно бѣлый...—Она задумалась, молчитъ и, опершись локтями на столъ, смотритъ черезъ окно на плывущія по небу облака.—Высоко, высоко летаетъ, вотъ какъ облако это, а внизу Кавказъ, гдѣ „у Казбека съ Шатъ-Горою былъ великій споръ“...

Она мысленно повторяетъ про себя свое любимое кстихтвореніе: „Ихъ ведетъ, г-р-розя очами, генералъ сѣдой“...—вырывается у нея, и она добавляетъ:—Вотъ акъ ты , Гекторъ.

Дѣвочка продолжаетъ смотрѣть въ окно. Вотъ гуси опять летятъ черезъ городъ. Противные! Она вспомнила, какъ они сѣли вчера на островѣ противъ города, и когда поднялись потомъ, одинъ гусь остался. Должно быть, ногу сломалъ или крыло. Какъ онъ бѣгалъ по острову и какъ кричалъ, бѣдный, вслѣдъ удаляющейся стаѣ!.. Слезы блеснули на глазахъ у дѣвочки; она обняла сѣдую шею Гектора, поцѣловала его въ губы и проговорила:

— Я тебя, Гекторчикъ, не покину.

Такимъ образомъ, урокъ географіи благополучно оконченъ, и начинается изученіе исторіи Россійскаго государства.

Игоря дѣвочкѣ жалко, но онъ самъ виноватъ. А ужъ эта Ольга, такъ просто... Ахъ какая,—всѣхъ вдругъ въ яму закопать!—У дѣвочки, по обыкновенію, заныло подъ ложечкой.—Живыми!..

Зато Святославъ утѣшилъ ее. Дѣвочка даже не можетъ сидѣть,—патріотическій пылъ наполняетъ ея маленькое сердце. Она надѣваетъ гимназическую фуражку своего брата, съ оторваннымъ козырькомъ. Въ рукѣ оказалась линейка, которая должна изображать тяжелый Святославовъ мечъ. Дѣвочка ходитъ большими шагами по комнатѣ и съ трагическимъ воодушевленіемъ кричитъ:

„Не посрамимъ земли русской! ляжемъ здѣсь костьми; мертвые срама не имутъ!“

— Слышишь, Гекторъ, не посрамимъ земли русской?

Гекторъ оказывается на высотѣ призванія. Онъ всѣмъ своимъ существомъ стремится доказать, что онъ тоже готовъ положить душу за русскую землю. Онъ прыгаетъ, радостно визжитъ и въ знакъ ненарушимой вѣрности успѣваетъ неоднократно лизнуть дѣвочку въ носъ, въ губы и въ щеки.

Урокъ исторіи конченъ.

— Ну-съ, Гекторчикъ, не пойти ли намъ гулять?

При словѣ „гулять“, Гекторъ поднимаетъ уши и моментально вскакиваетъ на всѣ четыре ноги.

— Можетъ быть, рано, Гекторчикъ, погода скверная, вотъ простудишься и будутъ тебѣ мазать въ горлѣ этимъ противнымъ іодомъ, компрессъ положатъ. Нѣтъ, Гекторчикъ, давай лучше учиться географіи.

Дѣвочка хочетъ снова открыть книгу; но Гекторъ уже обезумѣлъ; онъ отворилъ грудью дверь и, обернувши голову, смотритъ на свою хозяйку. При видѣ открытой книги, онъ схватываетъ зубами ея платье, тащитъ къ двери и сердито лаетъ.

— Тебѣ очень хочется гулять?—сдается, наконецъ, дѣвочка.—Ну, хорошо.

Она повязываетъ шею Гектора краснымъ шолковымъ платкомъ и, расправляя бантъ на груди его, дѣлаетъ послѣднія наставленія. — Иначе простудишься. Да смотри, Гекторъ, не промочи ноги, а то сдѣлается жаръ—и ты умрешь.

— Разъ, два!—командуетъ она.

И скоро громомъ гремятъ ступеньки лѣстницы, ведущей въ садъ, и шесть ногъ летятъ по огороду, прыгаютъ черезъ гряды; чьи-то ноги падаютъ, чьи-то прыгаютъ черезъ упавшія, и вдали уже нельзя разобрать гдѣ Гекторъ, гдѣ дѣвочка.

Проходитъ минута—и на крышѣ сосѣдняго амбара появляется дѣвочка съ испачканнымъ землей лицомъ и разорваннымъ подоломъ платья и кричитъ оттуда: „Курскъ, Курскъ!“

„Курскъ“ негодующе и завистливо бѣгаетъ вокругъ амбара и сердито лаетъ на измѣнившую ему пріятельницу. Онъ скоро догадался, — обѣжалъ вокругъ, нашелъ полѣнницу дровъ, прислоненную къ амбару съ

другой стороны, и вотъ уже вмѣстѣ съ дѣвочкой гордо ходитъ по крышѣ, съ краснымъ бантомъ на груди, ясно показывая, что онъ не хуже человѣковъ можетъ лазить по крышамъ.

Вечеромъ роли мѣняются.

Гекторъ становится скученъ и унылъ, и дѣвочка ухаживаетъ за своимъ пріятелемъ. Какъ только горничная начинаетъ носить дрова для топки печей, Гекторъ уже безпокоится. Онъ слѣдитъ за каждой вязанкой, выбѣгаетъ на дворъ вмѣстѣ съ горничной и провожаетъ ее по лѣстницѣ, словно хочетъ помочь, словно боится, что она не затопитъ печку.

Загораются дрова, онъ садится противъ пламени и не уходитъ отъ него, пока не потухнутъ угли и не закроется дверца. Что-то странное тянуло его къ печкѣ, и что-то странное дѣлалось въ это время съ Гекторомъ. Его манили ѣдой, дѣвочка звала его играть, онъ равнодушно, со скучающимъ видомъ оборачивался на голосъ и снова продолжалъ цѣлыми часами неподвижно сидѣть у печки и смотрѣть въ пламя ея.

Случалось, двѣ крупныя слезы показывались въ старыхъ глазахъ Гектора и медленно дрожали и катились по посѣдѣвшему лицу его; тогда дѣвочка, любившая сидѣть вмѣстѣ съ Гекторомъ у печки, потихоньку вставала, шла въ комнату къ своему брату и взволнованнымъ голосомъ говорила ему:

— Знаешь, Вася, Гекторъ опять плачетъ.

Скептическій Вася пробуетъ объяснить это простымъ образомъ.

— Мама говоритъ, что это отъ огня у него слезы показываются.

— Ну, вотъ еще!—говоритъ недовольная дѣвочка:— развѣ мама понимаетъ это, она ничему не вѣритъ. Просто это Гекторъ вспоминаетъ Рыжова.

Вася нѣкоторое время колеблется, но потомъ соглашается,

— А очень можетъ быть!—и считаетъ нужнымъ добавить:—Знаешь, Зина, я очень люблю Гектора.

И они идутъ оба, садятся по бокамъ Гектора, смотрятъ въ мигающее пламя печки, время отъ времени взглядываютъ на неподвижнаго, упорно смотрящаго въ печку Гектора и не тревожатъ его, а только тихо и осторожно поглаживаютъ его черную блестящую спину...

III.

То была брошенная въ глухую тайгу маленькая сибирская деревня, зимой заносимая снѣгомъ, лѣтомъ пустѣвшая, такъ какъ жители выѣзжали на заимки. Печально смотрѣли вытянувшіяся въ одну линію пятнадцать-двадцать избъ, сжатыя, съ одной стороны, глухой стѣной на тысячи верстъ тянущейся тайги, съ другой--огромною, въ пять-шесть верстъ ширины, глубокой рѣкой.

Въ лачужкѣ, полу-врытой въ землю, на краю утеса, обрывавшагося въ рѣку, жилъ юноша, другъ Гектора.

Тамъ вѣчно выла тайга и вѣчно холодная и мрачная рѣка съ глухимъ ропотомъ билась объ утесъ; тамъ солнце было такъ холодно, а осеннія ночи такъ долги и такъ темны; тамъ не пахли цвѣты и не пѣли птицы.

А юноша пріѣхалъ изъ далекой стороны, оттуда, гдѣ звенитъ жаворонокъ надъ весенними полями и кричитъ перепелъ въ спѣющей ржи, гдѣ такъ сладко пахнетъ цвѣтущая яблонь и такъ страстно поетъ соловей пѣснь любви въ тихой заросли пруда, гдѣ рѣки такъ кротки и лѣса такъ ласковы, а степи задумчивы,

гдѣ все свѣтло и широко и дышитъ миромъ и тишиной.

Свѣтлымъ радостнымъ днемъ считалъ тогда юноша жизнь; свѣтлой и плодоносной, открытой для всѣхъ нивой казался ему міръ. Въ этомъ свѣтломъ мірѣ не должно быть мѣста людской злобѣ.

И юноша вѣрилъ, что люди перестанутъ грызть другъ друга, и ждалъ того времени—оно должно было скоро наступить—когда люди сойдутся на обновленной нивѣ и запоютъ такой свѣтлый гимнъ любви, какъ звенящая пѣснь жаворонка въ ясномъ небѣ надъ весенними полями...

А тайга все выла; и въ этомъ ровномъ немолчномъ шумѣ, шедшемъ изъ тайги и днемъ, и ночью, и цѣлыми недѣлями, было что-то непреклонное, требовательное, повелительное.

И юноша началъ бояться тайги.

Днемъ этотъ шумъ не безпокоилъ его. Юноша ходилъ за дровами, копался въ своемъ маленькомъ огородѣ, готовилъ себѣ обѣдъ и долго гулялъ со своимъ неразлучнымъ другомъ Гекторомъ. Наступалъ вечеръ, затоплялась маленькая печка, согрѣвавшая избушку въ осенніе и зимніе вечера, человѣкъ и собака садились на полу передъ пламенемъ печки, которую оба они такъ любили.

Тогда тайга наполняла комнату своимъ таинственнымъ шумомъ, ровнымъ, однообразнымъ, и, казалось, все что-то говорила, чего-то требовала.

Иногда, словно усталая, тайга затихала — и тогда начиналось молчаніе.

Молчала пустая деревня, молчала тайга; все замирало кругомъ, и это молчаніе постепенно становилось такъ страшно, что юноша бѣжалъ къ рѣкѣ и цѣлыми часами сидѣлъ на утесѣ и смотрѣлъ на сумрачныя

ощетинившіяся горы, уходившія за рѣкой вдаль, на молчавшую и своимъ молчаніемъ грозившую ему тайгу, на эту темную огромную рѣку, которая все билась у ногъ его и все несла свои холодныя волны туда, онъ зналъ—въ тотъ безбрежный холодный мертвый океанъ. У него начинала кружиться голова, ему казалось, что рѣка тянетъ и уноситъ его съ собой; тогда онъ возвращался въ свою избушку и желалъ, ждалъ, чтобы снова завыла тайга.

Снова выла тайга, и снова сидѣлъ человѣкъ передъ огнемъ и думалъ все одну и ту же думу, такую же упорную и неотвязную, какъ этотъ ровный, ни на минуту не смолкающій вой тайги. Ему становилось все яснѣе и яснѣе, что то, во что онъ вѣрилъ, обмануло его, и чего онъ ждалъ, не приходило, что міръ теменъ, какъ осенніе сумерки, и узокъ, какъ та полоска земли между тайгой и рѣкой, гдѣ онъ жилъ, что міръ полонъ такимъ же злобнымъ воемъ, какъ вотъ этотъ вой тайги, а измученныя людскія жизни съ такой же неумолимой настойчивостью, какъ волны рѣки, несутся къ тому холоду и ужасу, который называется смертью. Подъ вой тайги все тянется мысль, какъ нитка изъ безконечнаго клубка.

Онъ вспоминалъ, что его родные умерли, и близкіе, кого онъ любилъ, разсѣялись и пропали, какъ листья, сорванные осеннимъ вѣтромъ и занесенные неизвѣстно куда; онъ чувствовалъ, что то, чѣмъ жилъ, кончилось, и тайга встала между нимъ и прошлымъ, и что у него ничего не осталось впереди, кромѣ той же тайги, той же тоски, холода, тьмы...

Онъ понялъ то страшное въ шумѣ тайги,—она совершенно явственно говорила ему: „умри, умри!“

Кругомъ не было никого, кто посмѣялся бы надъ слезами взрослаго человѣка, и юноша плакалъ отъ пе-

стерпимаго горя, наполнявшаго его сердце, отъ жалости къ себѣ, къ своей молодой жизни, отъ ужаса предъ тѣмъ, что говорила ему тайга.

Цѣлыми вечерами сидѣлъ онъ передъ печкой, охвативши колѣни руками и неподвижно смотря на горѣвшіе, словно облитые кровью, угли.

Тогда Гекторъ просовывалъ голову подъ руку плачущаго юноши, лизалъ ему лицо и начиналъ протяжно и жалобно выть. И отъ этой ласки, отъ этой чужой печали становилось еще горче на душѣ, и юноша громко рыдалъ, обнявъ шею Гектора.

Медленно тянутся сибирскіе осенніе вечера. Все не хочетъ засыпать зимнимъ сномъ тайга и цѣлыми днями съ бѣшеной злобой воетъ своими обледенѣвшими иглами. Страшно бьется тогда рѣка, и остывающія волны въ предсмертныхъ судорогахъ лѣзутъ на утесъ, ледяными иглами сѣчетъ дождь въ окна, яростно налетаетъ вѣтеръ на стѣны и пробирается въ щели дырявой избушки и ходитъ по комнатѣ, и тогда догорающіе угли на время вспыхиваютъ, и пламя освѣщаетъ сидящихъ передъ печкой человѣка и собаку. Медленно тянется одинокая мысль въ эти вечера; безъ борьбы, охваченные ужасомъ, тупо смотрятъ въ огонь сухіе, давно переставшіе плакать глаза.

Короткими мгновеніями, какъ вспыхивающее пламя углей, встаютъ обрывки прошлаго, глянутъ издали старыя ветлы, наклонившіяся надъ соннымъ прудомъ, мелькнетъ улыбка на миломъ лицѣ, прозвучитъ давно забытое слово далекаго друга, и опять тупо смотрятъ сухіе глаза на потухающее пламя углей.

Угли перегорѣли и пламя потухло. Юноша пересталъ хотѣть жить и пересталъ жить! Въ эту минуту не было Гектора; когда онъ вернулся, юношу уже увезли, и Гекторъ засталъ въ избѣ вмѣсто своего друга чужихъ

людей. Онъ бросился къ тому красному пятнышку, что осталось на полу, и выбѣжалъ изъ комнаты, обѣгалъ огороды и утесы, на которыхъ сидѣлъ другъ, и тайгу, куда они ходили вмѣстѣ за дровами, не нашелъ тамъ своего друга и снова вернулся въ комнату, обнюхалъ красное пятно на полу и красные брызги на стѣнѣ и завылъ страшнымъ, отчаяннымъ воемъ. Онъ исчезъ изъ избы и побѣжалъ по дорогѣ въ такую же маленькую деревню, сжатую той же тайгой и той же рѣкой, гдѣ на краю утеса стояла темная избушка, въ которую положили его друга.

Спустилась ночь, горѣлъ костеръ у избушки, у костра сидѣли люди и стерегли того, кто уже ушелъ и оставилъ послѣ себя только холодное, блѣдное тѣло, что лежало теперь на соломѣ на земляномъ полу сибирской лачужки.

Долго бились сторожа съ налетѣвшей на нихъ откуда-то изъ тайги обезумѣвшей и страшной черной собакой, которая все рвалась въ запертую дверь лачужки и все выла отчаяннымъ воемъ. Собака ушла, наконецъ, въ тайгу, и сторожа полегли спать вокругъ костра.

Не приходили родные и близкіе плакать надъ мертвымъ юношей, только долго въ ту ночь пѣла тайга похоронные гимны и съ тихимъ рыданіемъ все билась рѣка объ угрюмый утесъ.

Стояла тьма; колебалось, какъ фа келъ, пламя костра и одинокія звѣзды, какъ свѣчи, тускло мерцали вверху.

Въ ту ночь пришла зима. Одна за другой тихо падали пушистыя снѣжинки на потухшіе угли костра и тотчасъ таяли и блестѣли, какъ свѣтлыя слезы... Все больше заливали холодныя слезы потухавшій костеръ, и колеблющаяся пелена, какъ бѣлый саванъ, простерлась надъ волнующейся рѣкой и надъ шумящей тайгой и

спускалась все ниже, бѣлымъ покрываломъ укутывая маленькую избушку, гдѣ лежалъ юноша.

И все рѣже вздыхала тайга, все тише рыдала рѣка и кончился поминальный обрядъ; потухъ костеръ, погасли звѣзды.

Тогда пришелъ единственный другъ и близкій. Онъ выбилъ грудью окно избушки, всю ночь лизалъ холодное лицо юноши и просовывалъ голову подъ руки его, все ожидая, что другъ обниметъ его, и всю ночь тихіе жалобные вопли неслись изъ избы.

Когда утромъ пришли люди и отперли дверь, они увидѣли бѣлый замерзшій трупъ юноши съ раскинувшимися руками, а на груди юноши лежала черная злая собака съ оскаленными зубами; она хрипло рычала и все не хотѣла отдать имъ своего друга...

IV.

Синіе огоньки бѣгаютъ по догорающимъ углямъ. Время отъ времени они вспыхиваютъ и освѣщаютъ сѣдую грудь и блестящіе глаза Гектора и сидящую рядомъ съ нимъ дѣвочку, съ тѣмъ задумчивымъ и кроткимъ лицомъ, которое бываетъ у нея по вечерамъ.

Вьется вѣтеръ вокругъ дома и стучитъ въ стѣны, а дождь, не умолкая, сѣчетъ въ окна. Иногда вѣтеръ затихаетъ и дождь перестаетъ биться въ стекла, и ровный шумъ тайги смутно доносится въ комнату; тогда Гекторъ поднимаетъ голову, начинаетъ тихо и жалобно выть, а дѣвочка обнимаетъ его сѣдую шею и тихо шепчетъ:

„Ну, о чемъ же, Гекторъ? Вѣдь я люблю тебя, Гекторчикъ!“

Печка закрыта. Гекторъ уныло бредетъ въ свою ком-

нату. Дѣвочка нѣсколько времени стоитъ въ нерѣшимости въ темномъ залѣ.

— Папа!—тихо говоритъ она, отворяя дверь кабинета.—Ты не сердись, папа! вѣдь такъ не хорошо... Зачѣмъ ты прогоняешь Михайла?

Папа поднимаетъ голову отъ стола, заваленнаго бумагами, и съ удивленіемъ смотритъ на растроганное, съ дрожащими на глазахъ слезинками, лицо дѣвочки. Онъ хочетъ отвѣтить, но дѣвочка перебиваетъ его и торопливо начинаетъ излагать свои доводы:

— Онъ говоритъ, что фонарь былъ скверный. Понимаешь, споткнулся о порогъ и... Ты подумай, папа, вонъ какой вѣтеръ и дождикъ, — куда Михайло дѣнется? Какъ можно обижать бѣднаго человѣка!.. Папа, милый!..

— Ты любишь „Соловка"?—спрашиваетъ папа.

Глаза дѣвочки оживляются.

— О, папа, это такая прелесть, я его ужасно люблю! Вонъ „Просвирня"—та дура.

— Ну такъ вотъ,—возражаетъ ей папа:—ты знаешь, что вчера Михайло не поилъ и не кормилъ весь день твоего „Соловка". И онъ тебя обманулъ: просто онъ подрался въ кабакѣ, ему и подбили глазъ.

— А, можетъ, разбойники?— вырывается у дѣвочки, но она останавливается и молчитъ. Въ ея душѣ борьба. Она держится того мнѣнія, что мучить животныхъ могутъ только гадкіе, скверные люди. Ей жалко „Соловка", и она сердится на Михайла.—А все-таки, папа, — говоритъ она: — прости Михайла! можетъ, онъ больше не будетъ.

Папа прощаетъ, но дѣвочкѣ не хочется уходить.

— Къ тебѣ можно, папа?—говоритъ она.

Дѣвочка любитъ сидѣть вечеромъ на колѣняхъ у отца, когда онъ занимается въ кабинетѣ.

— Знаешь, папа, я новый стихъ выучила, — сообщаетъ она.

Дѣвочка говоритъ „стихъ“, какъ Аксинья и горничная.

— Какой стихъ?

— „Ночевала тучка золотая“—знаешь?

— А!..—протягиваетъ отецъ.—Хорошій „стихъ“.

Оба молчатъ.

— Тебѣ жалко его, папа?—Дѣвочка заглядываетъ отцу въ лицо.

— Кого?

— Утесъ... Ты представь—старый-престарый утесъ и все одинъ, и все одинъ... И эта противная тучка...

Папа оставляетъ книгу. Онъ очень хорошо понимаетъ дѣвочку и пробуетъ заступиться за тучку.

— Она вѣдь молоденькая, Зиночка, тучка-то, можетъ быть, только что родилась, ей полетать хочется.

— Нечего сказать, очень хорошо: отдохнула и улетѣла! Какъ это ты, папа, не понимаешь: она улетѣла, а онъ плачетъ... Ей только бы летать! Терпѣть не могу!..— сердитымъ голосомъ заканчиваетъ дѣвочка.

Она имѣетъ сказать еще много горькихъ истинъ по адресу тучки, но ей мѣшаетъ вѣтеръ, что такъ воетъ въ окно, мѣшаютъ свѣчи, которыя лѣзутъ въ глаза и не даютъ смотрѣть.

„Какую книгу читаетъ этотъ старикъ съ сѣдой бородой, что сидитъ противъ нея на стѣнѣ и котораго папа называетъ Фаустъ?..“—силится думать дѣвочка. Но Фаустъ уходитъ отъ нея далеко; молчитъ вѣтеръ, и она остается одна съ папой, и папа становится все больше и больше, выростаетъ, какъ гора, а дѣвочка дѣлается совсѣмъ маленькой, какъ кусочекъ... Вотъ гора поколебалась въ своемъ основаніи и двинулась съ мѣста, и

дѣвочка плыла, и ей хотѣлось безконечно плыть въ томъ мягкомъ и тепломъ, что несло ее.

— Ты смотри, Оля, сейчасъ же разбуди его,—говоритъ она съ закрытыми глазами, лежа въ кроваткѣ, въ то время, какъ горничная раздѣваетъ ее:—папа не сердится, простилъ.

Дѣвочка усиливается вспомнить оставшуюся ей не совсѣмъ понятной фразу отца.

— Да,—говоритъ она:—папа велѣлъ сказать, что онъ подождетъ слѣдующаго фонаря.

— Ахъ, Зининька! Ахъ, Зининька!..

„Чему смѣется эта Оля?“

— Какая ты, Оля, глупая,—говоритъ дѣвочка, не открывая глазъ:—смѣешься, а чему—сама не знаешь.

— Ужъ больно у него фонарь-то смѣшной, Зининька!

Дѣвочка чувствуетъ, какъ входитъ мама, наклоняется надъ ней и гладитъ ея волосы. Но ей не хочется открывать глаза. Она продолжаетъ плыть, и кровать будто качается подъ ней, а вѣтеръ тоненькимъ голосомъ тихо и жалобно что-то поетъ ей въ трубѣ.

Мама потушила огонь въ комнатѣ и ушла, поцѣловавши дѣвочку.

— Гекторъ!—тихо шепчетъ тогда дѣвочка:—иди сюда!

Гекторъ давно ждетъ этого призыва и проворно взбирается на кроватку.

Въ эту ночь, какъ вотъ ужъ двѣ недѣли, къ дѣвочкѣ опять прилетаетъ изъ Флоренціи Андерсеновскій „Мѣдный Кабанъ“, очень похожій на Гектора, и, какъ прежде, дѣвочка крѣпко прижимается къ черной спинѣ „Мѣднаго Кабана“ и пускается въ свое ночное путешествіе.

Они летятъ надъ сибирской тайгой, надъ огромными рѣками, надъ туманными горами, надъ деревнями и городами и спускаются въ томъ тихомъ садикѣ, гдѣ вѣтви со спѣлыми вишнями опускаются до земли и на развѣ-

систыхъ яблоняхъ зрѣютъ краснобокія яблоки. „Мѣдный Кабанъ“ смирно ждетъ, пока дѣвочка обѣжала домикъ, закрытый старыми акаціями, и цѣлыми горстями ѣла сладкія вишни. Потомъ они опять полетѣли и поднялись высоко-высоко, такъ что вѣтеръ свисталъ въ уши и тучи плыли, задѣвая ихъ, и мѣсяцъ глядѣлъ въ глаза; летѣли они надъ Кавказомъ, гдѣ смотритъ въ небо шапка Казбека и Мцыри борется съ барсомъ; летѣли надъ мертвой, недвижимой пустыней, гдѣ плачетъ по тучкѣ одинокій утесъ.

Сны тревожатъ стараго Гектора. Чутко дремлетъ онъ, время отъ времени просыпается и подозрительно всматривается въ темноту комнаты,—онъ боится все, чтобы у него не отняли его маленькаго друга.

Но друга отняли у Гектора. Дѣвочку увезли въ ту страну, гдѣ цвѣтетъ яблоня и поетъ соловей, и Гекторъ остался одинъ.

Два дня онъ не ѣлъ и все тосковалъ.

Онъ, правда, еще разъ полюбилъ и нашелъ себѣ новаго друга. Въ той же комнатѣ и на той же кроваткѣ, гдѣ спала дѣвочка, поселился новый жилецъ, бѣлокурый и блѣдный маленькій мальчикъ, тихій и кроткій, и попрежнему лежалъ у кровати Гекторъ, попрежнему ревниво берегъ своего друга и не пускалъ никого къ кровати его.

Когда послѣ увезли и мальчика, старое сердце Гектора опустѣло и не могло уже больше никого полюбить. Какъ ни ухаживали за нимъ, онъ все тосковалъ, не принималъ никакой пищи и черезъ нѣсколько дней умеръ отъ голода и тоски...

СНѢГУРОЧКА.

I.

Снѣгурочкѣ было подъ тридцать, а быть можетъ и за тридцать, Судя по тому, что дочь ея была уже въ третьемъ классѣ гимназіи, и раньше дѣвочки былъ еще мальчикъ, умершій. Лицо у нея было холодное, скучное, какое-то сѣрое, движенія вялыя и неувѣренныя, и одѣвалась она въ простенькія самодѣльныя кофточки, и говорила тѣмъ самодѣльнымъ говоромъ, какимъ говорятъ въ глухихъ деревняхъ нетронутые россійской цивилизаціей сибиряки, и имя у нея было неизящное—Евфросинья Степановна... И все-таки я звалъ ее про себя Снѣгурочкой, и Снѣгурочкой осталась она въ моей памяти.

Тоненькая и стройная, какъ молоденькая лиственница, съ несложившейся фигурой и бѣлокурыми, совсѣмъ свѣтлыми волосами,—бѣленькая и какая-то хрупкая, она выглядѣла дѣвушкой, немного постарше своей дочери, а иногда и гимназисткой выпускныхъ классовъ, когда сидѣла въ своей любимой позѣ, наклонившись надъ книгой за маленькимъ столомъ ея дочери, какъ я часто видалъ, когда бывалъ у мужа ея—Иннокентія Демьяновича. Бѣлокурая голова поднималась отъ книги

и смотрѣла вдаль долго и неподвижно; тогда, казалось, она старается что-то вспомнить,—трудное и нужное, и ей грустно, что она не можетъ вспомнить...

Особенные у нея были глаза. Холодные и прозрачные, они были того блѣдно-голубоватаго цвѣта, какимъ выглядитъ зимній снѣгъ; временами они темнѣли и становились совсѣмъ синіе, какъ тотъ странный снѣгъ, какимъ онъ бываетъ весной; тогда глаза дѣлались большіе, глубокіе и теплые.

Тогда сѣрое, скучное лицо оживлялось и согрѣвалось, и движенія становились порывисты, и тоненькая гибкая фигура выпрямлялась и словно выростала, и совсѣмъ по другому звенѣлъ голосъ, и совсѣмъ другія,—русскія горячія слова неслись въ воздухѣ... И я съ удивленіемъ слушалъ и съ удивленіемъ смотрѣлъ на измѣнившееся возбужденное лицо съ расширившимися, посинѣвшими глазами.

Долго я видѣлъ только сѣрое лицо и зимніе глаза. Завернувшись въ свою теплую шаль, — казалось, ей всегда было холодно,—она молча протягивала мнѣ холодную снѣжную руку, уходила въ свою комнату, и до меня доносился оттуда только монотонный голосъ ея, диктовавшій дочери диктантъ. Изрѣдка выйдетъ она въ залъ, гдѣ мы бесѣдовали съ Иннокентіемъ Демьяновичемъ о сибирскихъ матеріяхъ, на минуту остановится въ дверяхъ, прислушается, взглянетъ то на одного, то на другого своимъ сѣрымъ безучастнымъ лицомъ, и опять скроется. Я пробовалъ заговаривать съ ней, но у насъ ничего не выходило,—дикая и застѣнчивая, она подавала короткія, неуклюжія реплики въ отвѣтъ на мои вопросы, и разговоръ обрывался.

А меня она очень интересовала. Мнѣ хотѣлось знать, кто читаетъ эти книжки журналовъ, которыя я часто находилъ открытыми на столѣ, и для кого стоитъ на

полкахъ эта толпа русскихъ писателей. Я зналъ, что не для Иннокентія Демьяновича. Его библіотака была совсѣмъ особенная и заключала въ себѣ довольно полное собраніе сочиненій стараго Никольскаго рынка. Тамъ были и „Тайны природы и человѣческаго духа“, и „40.000 секретовъ“, и „Чудеса“, всякихъ міровъ, и „Загробная жизнь“, и „Самоновѣйшій лѣчебникъ“ и пр., и пр., все то, что путемъ упорныхъ сбереженій съ десяти лѣтъ, соблазняемый необыкновенными заглавіями и обуреваемый жаждой проникнуть во всякія „Чудеса и Тайны“, выписывалъ Иннокентій Демьяновичъ. Удивительная библіотека давно лежала сваленная въ сундуки, давно и самъ онъ узналъ, и добрые люди указали, что все это хламъ, годный только на растопку, успѣлъ прочитать другія книги и сдѣлался тѣмъ развитымъ, но необразованнымъ, обо многомъ думавшимъ и многое понимавшимъ, но не знавшимъ элементарныхъ вещей, извѣстныхъ всякому гимназисту,—особеннымъ человѣкомъ, какихъ много въ Россіи вообще и въ Сибири въ частности. Съ нимъ можно было говорить о чемъ угодно, но я зналъ, что онъ мало интересуется Россіей, газеты читаетъ только сибирскія, а изъ русскихъ журналовъ только историческіе, къ которымъ онъ почему-то пристрастился—тогда онъ восхищался дневникомъ Пирогова—и гдѣ онъ особенно старательно выискивалъ воспоминанія и разсказы про старые крѣпостные порядки.

Приходилось думать, что журналы лежатъ для жены его, но въ моей головѣ какъ-то не связывались эти журналы и книги и скучная сѣрая фигура съ топорными деревенскими фразами, казавшаяся такой примитивной, некультурной.

Помню какъ-то, въ зимній вьюжистый вечеръ я пріѣхалъ къ нимъ изъ подгородной деревушки, гдѣ я жилъ

тогда—въ ихъ маленькій трехъ-оконный домикъ, помѣщавшійся на краю города, рядомъ съ тайгой, окружавшей городокъ кольцомъ. Дѣвочка спала, Иннокентія Демьяновича дома не было, жена его была одна и въ какомъ-то особенномъ настроеніи. Она приняла меня холоднѣе обыкновеннаго, почти вовсе не замѣчала меня и все время сидѣла въ дальнемъ углу, прильнувши къ окну. А снѣжный буранъ крутилъ и метался, и бѣлыми хлопьями бился въ окна. Временами поднимался вой тайги—долгій, тяжелый, и все росъ и угрюмымъ шумомъ наполнялъ комнату. Тогда завернувшаяся въ шаль худенькая фигура въ дальнемъ углу вздрагивала и плотнѣе припадала къ окну, и въ отвѣтъ на мои вопросы падали оттуда въ комнату какія-то не подходящія фразы, безсвязныя, случайныя, о которыхъ, очевидно, она и не думала.

Совершенно неожиданно она вскочила, посмотрѣла на меня странными, сузившимися глазами и торопливо, путаясь, заговорила:

— Ужъ вы не сердитесь, пожалуйста... Сдѣлайте милость, не сердитесь... Не могу я... Никакъ нельзя... Онъ придетъ, Иннокентій Демьяновичъ, сейчасъ придетъ. Такъ и сказалъ...

Она кинулась въ сосѣднюю комнату, тотчасъ же вышла, торопливо натягивая кофточку, проскользнула въ переднюю и, кинувши мнѣ: „Онъ придетъ... Такъ и сказалъ“...—скрылась...

Мнѣ нужно было сговориться съ Иннокентіемъ Демьяновичемъ о поѣздкѣ на пріискъ, куда мы давно собирались, да и не хотѣлось возвращаться домой. Я только что отпрягъ и поставилъ подъ навѣсъ мою лошадь—приходилось снова запрягать, снова плестись по выбитымъ обозами ухабамъ между двумя рядами этого невеселаго темнаго лѣса, вязнуть въ сугробахъ

околицы и вернуться въ продуваемую, какъ рѣшето, мою избушку на курьихъ ножкахъ,—за тѣмъ, чтобы слушать, какъ несется буранъ мимо оконъ, какъ воетъ тайга, и думать подходящія одинокія думы, которыя такъ любятъ приходить въ подобные вечера и отъ которыхъ я только что бѣжалъ. Какая-то физическая истома не пускала меня двинуться отъ тепла жарко натопленной комнаты, отъ шумящаго самовара, отъ уюта семейнаго дома. Я остался ждать хозяина.

Кто такой былъ Иннокентій Демьяновичъ,—трудно сказать. Офиціально онъ назывался „служащій", но русское понятіе „служащій" такъ же мало опредѣляло его, какъ мало походитъ сибирскій купецъ на русскаго купца. Сибирь тогда еще не дошла до раздѣленія труда и дифференцированія торговыхъ функцій. Одинъ и тотъ же купецъ, въ большинствѣ случаевъ самъ составлявшій свое состояніе, занимался и золотопромышленностью, и велъ дѣла съ инородцами по пушнинѣ, рыбѣ и мамонтовой кости, и дѣлалъ хлѣбныя операціи, и имѣлъ универсальный магазинъ, гдѣ было все,—отъ дегтя и хомутовъ до бархата и шампанскаго включительно.

Такія же многообразныя функціи исполнялъ и Иннокентій Демьяновичъ, только за прилавкомъ никогда не сидѣлъ. Тотчасъ послѣ окончанія городского училища, еще мальчикомъ, онъ поступилъ на пріиски, прошелъ всѣ ступени пріисковой лѣстницы, бывалъ и въ тундрѣ у инородцевъ, и ѣздилъ въ южныя сибирскія степи за хлѣбомъ и скотомъ, а большую часть своей жизни провелъ въ поискахъ за золотомъ, въ плаваньи по пустыннымъ рѣкамъ, въ скитаньи по безлюднымъ таежнымъ сопкамъ. Ширококостный, на короткихъ ногахъ, съ узкимъ прорѣзомъ глазъ, съ рѣдкой растительностью на подбородкѣ—въ его жилахъ текла

несомнѣнная примѣсь бурятской крови—молчаливый и повидимому неповоротливый, онъ былъ типичнымъ представителемъ тѣхъ служащихъ въ Сибири людей, которые дѣлаютъ ея исторію—покоряютъ природу, прокладываютъ новые таежные пути, изслѣдуютъ пустынныя, никому невѣдомыя рѣки, наполняютъ рѣдкостями музеи Сибири,—тѣхъ характерныхъ сибирскихъ людей, которые, повидимому, перестали понимать, что такое опасность и испытывать то чувство, которое называется страхомъ. О подвигахъ Иннокентія Демьяновича я давно слышалъ, но познакомились мы случайно и, не знаю почему, сдѣлались пріятелями.

Когда вставали въ умѣ всякіе вопросы и воспоминанія и это скверное сомнѣніе закрадывалось въ душу и поднималась та глухая тоска, съ которой такъ скучно сидѣть одному въ холодной избушкѣ на курьихъ ножкахъ,—нужно было ѣхать къ Иннокентію Демьяновичу и слушать, какіе озорники тѣ медвѣди, которые не ложатся на зиму въ берлогу, и какъ не хорошо дышитъ въ лицо медвѣдь, если невзначай облапитъ тебя въ тайгѣ, какъ неудобно бываетъ, если лодка налетитъ на камень и упадутъ въ воду ружье и провизія и приходится сотню, другую верстъ пробираться пѣшкомъ по пустыннымъ мѣстамъ, и какая невкусная сырая рыба и дичь безъ соли. О себѣ онъ избѣгалъ говорить и предпочиталъ разсказывать о своихъ пріятеляхъ, а такъ какъ пріятелей у него было много и всѣ они были такіе же „служащіе“, какъ и онъ, то и матеріалъ для разсказовъ у насъ не истощался.

Сначала мнѣ было довольно трудно разговаривать, пока я не обучился сибирскому языку.

— Какой парень-то могучій потерялся! Молодыми-то товарищи были...

— Гдѣ потерялся?—интересуюсь я.

— Въ деревнѣ... Въ Кемской.

— Какъ же это онъ тамъ потерялся?

Я знаю Кемскую и удивляюсь.

— Напали на него трое,—думали деньги на разсчетъ рабочихъ везетъ. Двоихъ-то онъ уложилъ, а третій топоромъ, должно быть, по башкѣ угодилъ... Привезли въ Кемскую,—три дня только протянулъ...

— Потерялся?—все продолжаю недоумѣвать я.

Мой собесѣдникъ тоже недоумѣваетъ, почему я пристаю къ нему съ глупыми вопросами, и коротко отвѣчаетъ:

— Ну...

Пріѣхалъ онъ какъ-то изъ губернскаго города и сообщаетъ мнѣ свѣжую новость:

— Ивана-то Алексѣевича знавали? Пропалъ!..

— Гдѣ пропалъ?—спрашиваю я.

— У себя на именинахъ, за обѣдомъ... Только что „уру" за его здоровье закричали, а онъ покатился со стула и не охнулъ.

Понемногу я привыкаю, перестаю задавать глупые вопросы и только интересуюсь знать, отчего „теряются" и какъ по настоящему „пропадаютъ" люди.

... — Послалъ какъ-то хозяинъ нашъ другого служащаго—я-то хворалъ тогда—Пыжова, Андрея Андреевича, осенью въ тайгу съ деньгами. Недѣля проходитъ, мѣсяцъ проходитъ, полгода... Пишутъ изъ тайги: не являлся. Чтобы убитъ, либо еще что-нибудь,—нельзя было подумать,—шестеро рабочихъ съ нимъ. Хоть и вѣрный человѣкъ былъ, старый служащій, испытанный, а подумалъ на него хозяинъ,—большія деньги съ нимъ были: подѣлился, молъ, съ рабочими да и убѣжалъ. Телеграммы разослалъ по всѣмъ мѣстамъ,—въ Колывани кого-то сцапали, да оказалось не онъ. И забывать стали... Только, ѣду я разъ по Енисею такъ въ мартѣ,

далеко отсюда—верстъ десять, а можетъ пятнадцать—тамъ Енисей-то шириной будетъ... маленечко заблудился я въ буранъ,—ѣду по срединѣ и смотрю, что за чудо: сидятъ люди въ снѣгу, кучкой, другъ къ дружкѣ наклонились, словно сговариваются про что. Подъѣзжаю,—мерзлые... Лица бѣлыя-бѣлыя, какъ снѣгъ, и словно спятъ. Только плечи да головы надъ сугробомъ... Откопали мы,—въ лодкѣ сидятъ. Попали видно въ сало и затерло льдами... Кто за весла еще руками держится, одинъ внизу лежитъ, лицомъ ко дну,—должно укрыться хотѣлъ, а на кормѣ Андрей Андреевичъ сидитъ—лицо такое сердитое, въ ногахъ полчетверти водки замерзшей. И деньги всѣ при немъ,—цѣлы...

И другой случай разсказываетъ мнѣ Иннокентій Демьяновичъ, когда отъ людей остались только головешки ихъ костра, да котелокъ, да обглоданныя звѣриными зубами человѣческія кости.. И третій случай, когда отъ людей ничего не осталось, и ждутъ ихъ въ семьѣ цѣлые года, пока время не сотретъ ихъ память...

Тогда Россія постепенно уходитъ вдаль, и россійскія печали и сомнѣнія затихаютъ, и начинаешь проникаться настроеніемъ Сибири,—этой огромной, не дифференцированной, не вѣдающей рефлексій Сибири, гдѣ все такъ просто и несомнѣнно,—медвѣдь, буранъ, сопка, въ пятнадцать верстъ ширины рѣки, на тысячи верстъ тайга, гдѣ люди еще не дожили до того, чтобы „помирать“, „опочивать“, „преставляться“ и даже не успѣваютъ „отойти“ и „кончиться“, а просто „теряются“ и „пропадаютъ“...

II.

Иннокентій Демьяновичъ пришелъ, наконецъ. Изъ-за самовара выглядываетъ его мохнатая, скуластая го-

лова и опущенные внизъ рыжіе усы. Онъ попыхиваетъ своей неизмѣнной трубочкой и „разговариваетъ“.

— Что же на пріиски,—ѣдемъ, что ли?—спрашиваю я.

— Ну...—слышится изъ-за самовара. Въ переводѣ на человѣческій языкъ это значитъ: ѣдемъ.

— Скоро?

— Ну!..

Было очевидно, что не скоро и даже совсѣмъ не скоро.

— Но вѣдь тогда рѣка пройдетъ!.. И транспортъ пропустимъ... Придется верхомъ ѣхать, вдвоемъ!

Оказывается, что мой собесѣдникъ именно и собирается ѣхать верхомъ, послѣ ледохода, такъ какъ положительно говоритъ:

— Ну...

Въ моей душѣ поднимаются опасенія.

— Двѣсти верстъ слишкомъ по тайгѣ, — протестую я.—Говорятъ, весной медвѣди голодные и злые, - они насъ не того?

Изъ-за самовара вылетаетъ клубъ табачнаго дыма и длинное крылатое слово:

— Ну-у-у!!!...

Я устыдился, такъ какъ мой собесѣдникъ ясно выразилъ и снисходительную жалость ко мнѣ, и свое презрѣніе къ медвѣдямъ и двумъ стамъ верстъ; поэтому я рѣшительно объявляю:

— Ладно,—ѣду!..

Такимъ образомъ, вопросъ о поѣздкѣ достаточно обсужденъ и детально вырѣшенъ. Мы молчимъ и куримъ.

— А гдѣ Афросинья Степановна? — спрашиваетъ меня Иннокентій Демьяновичъ.

Мнѣ хочется отмстить и позлить своего собесѣдника, и я отвѣчаю:

— Ну.

— Давно ушла? Не говорила, куда?

— Ну!..

Моя месть и злость проходятъ незамѣченными, мой собесѣдникъ совершенно удовлетворяется моими отвѣтами и только спрашиваетъ:

— Не замѣтили,—одѣлась?

Я протянулъ такое длинное и выразительное—„ну...“, что онъ поднялся съ мѣста и пошелъ въ другую комнату.

— Ничего,—успокоившись, говоритъ онъ.—Валенки надѣла, кофточку. Теперь долго пробѣгаетъ...

— Какъ это пробѣгаетъ?—удивился я.

— А такъ... Вотъ теперь и носится по улицамъ, либо надъ рѣкой. А, можетъ, въ тайгу еще забралась.

Вѣроятно мое лицо продолжало выражать удивленіе,—онъ продолжалъ:

— Въ родѣ какъ пьяницы бываютъ запойныя, такъ и она... Услышитъ буранъ, — не удержишь. И все норовитъ къ тайгѣ поближе,—первое ей это удовольствіе. Иногда, въ чемъ сидитъ, выскочитъ. Чудная вѣдь она у меня...

Иннокентія Демьяновича нужно было долго раскачивать, пока онъ бросалъ свое „ну“ и начиналъ членораздѣльную рѣчь. Теперь, къ моему удивленію, онъ самъ заговорилъ и началъ разсказывать съ тѣмъ оживленіемъ, которое было доступно ему.

Медленно и неуклюже шагаетъ онъ по комнатѣ. Время отъ времени останавливается и прислушивается къ тому, что дѣлается за окномъ, — тогда останавливается движущійся по бѣлой стѣнѣ темный силуэтъ съ мохнатой головой,—такъ удивительно похожій на поднявшагося на заднія лапы медвѣдя.

— Въ тайгѣ родилась... Отецъ-то ея изъ рабочихъ, съ молодыхъ лѣтъ на пріискахъ остался, послѣ мате-

ріальнымъ служилъ у Голыхъ, Анисима Лаврентьевича; тамъ и выросла, и замужъ за меня вышла. Двое ужъ ребятъ у насъ было, какъ въ первый разъ изъ тайги она выѣхала.

...— Умора была, какъ пріѣхали,—улыбаясь говоритъ разсказчикъ.—Вѣдь деревни Фрося никогда не видала, а тутъ какой ни какой—городъ... Знаете, у Карпа Михайловича большой-то домъ, каменный, двухъэтажный,—остановится и смотритъ, и смотритъ. Въ соборъ вошла, испугалась даже... Только не долго дивилась,—заскучала скоро. Съ бабьемъ городскимъ что-то не склеилось у ней, да къ тому же мальчикъ нашъ въ скорости отъ скарлатины померъ. Стала говорить: жили бы въ тайгѣ,—живъ бы остался, не захворалъ бы... А тутъ подошло время ѣхать мнѣ въ развѣдочную партію. Боюсь оставить одну,—совсѣмъ затосковала, мѣста не находитъ, какъ бы, думаю, безъ меня чего не случилось... Думалъ-думалъ,—и она-то просится: „увези, говоритъ, меня отсюда!"—Дочку у сестры оставилъ, да и поѣхалъ.

— Съ ней?

— Ну... Да вы что думаете, Афросинья-то Степановна? Стрѣляетъ,—тунгусу не уступитъ, а на лыжахъ—я скорѣе устану.

— И знаете?—онъ остановился предо мной.—Сразу вѣдь ожила, какъ на лыжи встала. И вернулась—всякое мнѣніе прошло.

Я совсѣмъ не желалъ удовлетворяться такимъ коротенькимъ разсказомъ, и мнѣ нѣсколько смутно рисовалась фигура Евфросиньи Степановны, участвующей въ развѣдочной партіи.

— Да разскажите вы толкомъ... Я вѣдь совсѣмъ не знаю, какая такая партія, какъ вы тамъ орудуете?..

— Извѣстно какъ... Лыжи тунгусскія надѣнемъ, са-

ночки легкія приспособимъ въ родѣ нартъ, провіантъ возьмемъ, инструментъ... Придемъ въ долину, гдѣ развѣдку дѣлать, и начнемъ шурфы *) бить. Въ этотъ разъ получше снарядился: шестеро рабочихъ было, печку желѣзную взялъ, наморозилъ пельменей мѣшка три, да щей два здоровыхъ круга.—Много-то не возьмешь, на себѣ везти приходится. Ничего жить... Трудновато, конечно, мерзлую-то землю бить, да потомъ оттаивать... За то придешь съ работы, спиртишку хватишь, поѣшь, мокрую одежду у огня развѣсишь, да на нары,—живи не тужи! А кончимъ развѣдку, сложимъ свое барахло въ саночки, да и махнемъ черезъ сопки въ другое мѣсто.

Я слѣжу за ними черезъ сопки и спрашиваю:

— Ну, хорошо, черезъ сопки... А какъ же въ дорогѣ-то спать?

— Въ дорогѣ-то? Въ снѣгу...

— То есть, какъ это въ снѣгу?

— Очень просто. Большіе снѣга-то, — пять-шесть аршинъ. Выроемъ яму длинную да глубокую, сверху вѣтвями погуще накроемъ, чтобы снѣгъ не падалъ, да и залѣземъ. Въ одномъ концѣ огонь разложимъ да воду вскипятимъ,—чайку выпить. А прогорятъ дрова, сгребемъ угли въ одинъ уголъ, дыру вверху закроемъ, гдѣ дымъ выходилъ, да и на боковую,—малина. Тепло станетъ, а спишь такъ—дома на перинѣ не выспишься.

Понемногу меня охватывало сибирское настроеніе. Снѣжная яма показалась мнѣ такъ соблазнительна, что я выразилъ легкомысленное желаніе попутешествовать подобнымъ образомъ. Иннокентій Демьяновичъ увлекся моей идеей и сталъ уговаривать идти съ нимъ на слѣдующую зиму.

---

*) Ямы, изъ которыхъ берутся пробы на золото.

— Конечно, на пельмени-то, да на щи не разсчитывайте: это лакомство одно, да и то на первое время, а настоящая-то ѣда—чай кирпичный да сухари. И хорошо: сваришь въ котлѣ, сухарей накрошишь, посолишь и ѣшь, инда за ушми трещитъ. Здѣсь вотъ иной разъ понаставлено всего, а кусокъ въ горло не идетъ, и кашляю я здѣсь, и одышка какая-то, а тамъ... Да что толковать! Житье—ничего, прямо хорошее житье...

— Ну, а какъ же Евфросинья-то Степановна,—тоже въ ямѣ?

— Говорю вамъ—сразу ожила. Мы шурфы бьемъ, а она въ балаганѣ управляется. А то возьметъ ружье, да и пойдетъ въ тайгу промышлять, что-нибудь, птицу какую, звѣря,—разъ сохатаго подстрѣлила, теленка... Рабочіе ужъ очень любили ее. Да и сами посудите: придутъ мокрые, одежонка обледенѣетъ, а въ балаганѣ чай готовъ, огонь горитъ, тепло.

Онъ что-то вспомнилъ и менѣе оживленно выговорилъ:

— Кабы тифъ намъ не подгадилъ...

— Тифъ?

— Ну...

Въ комнатѣ стало какъ-то сразу тише. Самоваръ жалобно допѣвалъ послѣднюю пѣсню, тускло горѣла лампа, буранъ словно затихъ и только неясный, тревожный шумъ тайги наполнялъ комнату. Изъ-за самовара вспыхивала трубочка, и медленно вились кверху синіе клубы дыма, и медленно звучали въ воздухѣ глухія, протяжныя, жуткія фразы.

— Въ снѣгу? Въ ямѣ?

— Въ ней... Главная причина: въ жилое мѣсто вышли. Рабочіе запросились,—три мѣсяца прошлялись, намаялись, отдохнуть захотѣлось, въ банькѣ помыться,—не раздѣваясь, спишь-то. И одинъ что-то на дёсны жа-

ловаться сталъ. Думаю, начнется цынга — крышка всему дѣлу, самая это большая бѣда въ тайгѣ: все вѣдь чай да сухари одни... А не далеко отъ зимовья шли, перехода на три, на четыре. Рождество къ тому же подходило. И сами-то, молъ, вздохнемъ, какъ люди праздникъ проведемъ. Ну и вышли. Зимовщикъ знакомый былъ, запасливый человѣкъ; чудесно съ недѣльку прожили у него, обмылись, отогрѣлись, поѣли всласть. Знакомые еще оказались, въ городъ поѣхали, да буранъ задержалъ, — въ картишки перекинулись. Тамъ еще замѣтилъ, да какъ-то въ голову не пришло. „Что это,—спрашиваю какъ-то зимовщика:—народъ у тебя въ кухнѣ валяется?“—„А, говоритъ,—зимники изъ городу на промысла идутъ, что-то разнедужились“.

А жена все въ кухнѣ, — чистеха она у меня, съ бѣльемъ все возится, стряпню развела. Послѣ ужъ оказалось, что у зимниковъ-то тифъ былъ—какъ онъ у васъ называется? Сыпной, что ли, пятнистый...

Ну, пошли... Сначала-то ничего. Только ужъ недѣлю спустя—далеко ушли—стала жена припадать, а не сознается: „подвези, скажетъ, немножко, пристала“... А потомъ и вовсе свалилась. Вотъ ужъ тутъ оторопь взяла меня. Лежитъ въ ямѣ-то огненная, глаза безумные, свѣтятся, и все говоритъ, все говоритъ... Не доглядишь,—засунетъ руки въ снѣгъ, да въ ротъ... И все бы ничего: тайгу я знаю, какъ свою квартиру, компасъ при мнѣ, на наше счастье настъ сдѣлался—снѣгъ крѣпкій, повернули назадъ,—не шли, а летѣли, все прямикомъ. Да я-то свалился, сразу память отшибло, тоже лопотать сталъ... А за мной подручный, старый таежный медвѣдь, а потомъ еще двое... Осталось трое здоровыхъ-то, молодые, бывали въ тайгѣ, да мало знали ее. Послѣ сказывали, такъ и рѣшили: пропадать всѣ будемъ... А тутъ буранъ поднялся, санокъ-то не видать

стало, съ компасомъ управляться не умѣютъ... Думали-думали, вырыли яму большую въ снѣгу, положили насъ всѣхъ, дровъ нарубили,—запасли чаю, сухарей отдѣлили, одинъ съ нами остался, а двое на-легкѣ пошли жилье отыскивать... Сколько ужъ кружили и сами не знаютъ, а какъ вышли—одному Богу извѣстно. Зимовщикъ ружье услыхалъ, стрѣляли они, шли. Ну, людей разослали, какъ-то нашли насъ, откопали. Послѣ сказывали сугробъ надъ нами наметало; только паръ на деревьяхъ, надъ ямой-то осѣлъ, какъ бываетъ надъ медвѣжьей берлогой,—потому и замѣтили...

И что бы вы думали? Только тѣ двое, что въ жилое мѣсто вышли, легли тамъ и не встали, а мы всѣ отошли—ничего!.,

Я еще никакъ не могъ вылѣзть изъ занесенной сугробомъ снѣжной ямы, гдѣ лопочутъ огненные люди съ безумными глазами, и машинально повторилъ за нимъ:

— Ничего?

— Ничего. У меня маленечко мозги помутились, въ сумасшедшемъ сидѣлъ, да жена долгонько, чай около года, съ ногами билась. Морозъ тогда здоровый былъ, должно быть, везли на санкахъ-то, не доглядѣли: ознобила ноги.

Трубка погасла, самоваръ потухъ. А за окнами снова разыгрывался буранъ, и снова что-то завыло тамъ, такъ жалобно, такъ страшно...

III.

— Вотъ и я!

Съ клубами бѣлаго пара, она быстро вошла въ комнату, какъ сказочная Снѣгурочка, вся обсыпанная снѣгомъ, съ растрепавшимися бѣлокурыми волосами,

съ порозовѣвшими щеками, стройная и изящная. Звенѣлъ веселый смѣхъ, что-то пѣло въ ней и дрожало, какъ туго натянутая струна, а изъ-за опушенныхъ бѣгымъ инеемъ рѣсницъ смотрѣли синіе горячіе глаза, блестѣвшіе и искрившіеся и странно расширенные...

— Вы чего тутъ, какъ сычи, насупились? И ты-то, Кеша, хорошъ,—нашелъ, чѣмъ гостя угощать! Самъ же говоришь: сырость только въ животѣ отъ чаю-то заводится... И темно у васъ тутъ. Давайте балъ устраивать!

Евфросинья Степановна быстро сбросила валенки и кофточку, зажгла стѣнную лампу, принесла еще двѣ свѣчки, легко, словно безъ усилій, сдвинула тяжелый сундукъ и выгнала насъ изъ темнаго угла на середину комнаты, куда велѣла поставить столъ. Вмѣсто самовара на столѣ появились огромный окунь, съ нашего леща, цѣлое блюдо строганины *) и водка, и облепиховая наливка. Стройная фигура носилась изъ комнаты въ комнату съ блестѣвшими каплями растаявшаго снѣга на бѣлокурыхъ волосахъ, съ звенѣвшимъ, какъ музыка, веселымъ смѣхомъ, и мнѣ казалось, что я въ первый разъ вижу это помолодѣвшее возбужденное лицо и большіе синіе глаза. И въ комнатѣ сразу сдѣлалось свѣтло и весело.

Она остановилась предъ нами, налила двѣ рюмки водки и, сложивши руки на груди, какъ деревенская баба, и кланяясь въ поясъ, по-бабьи церемонно выговорила:

— Бесѣдуйте!

Мы побесѣдовали. Пустыя рюмки оказались налитыми, снова поясной поклонъ.

*) Наструганная тоненькими стружками сырая мерзлая стерлядь, которую ѣдятъ съ солью и перцемъ.

— Бесѣдуйте!

Я началъ протестовать, но Иннокентій Демьяновичъ, все время улыбавшійся и повеселѣвшими глазами слѣдившій за женой, укоризненно сказалъ:

— Нельзя... Ужъ больно правильно угощаетъ.

Мы побесѣдовали еще по рюмкѣ и, такъ какъ бесѣда принимала слишкомъ бурный характеръ, я категорически отказался отъ третьей рюмки. Тогда церемонная хозяйка поклонилась еще ниже и еще церемоннѣе выговорила:

— Бесѣдуйте, гости милые! Поелозьте, сударики!

— Сами знали, надвигали,—густымъ басомъ отвѣтилъ Иннокентій Демьяновичъ,—наелозилися.

Тѣмъ не менѣе онъ безъ особенныхъ усилій выпилъ третью рюмку и еле согласился замѣнить мнѣ водку облепиховой наливкой. Иннокентій Демьяновичъ продолжалъ время отъ времени „бесѣдовать", а я слушалъ Евфросинью Степановну.

Она сидѣла, подперши голову руками; ея возбужденіе улеглось, и большіе синіе глаза съ выраженіемъ какого-то испуга и тоски смотрѣли на меня.

— Ахъ, хорошо тамъ въ тайгѣ! Шу-у-митъ...—Она зажмурила глаза, глубоко вздохнула, словно набирая въ себя какъ можно больше воздуху, и съ тѣмъ мѣняющимся выраженіемъ глазъ, отчего словно тѣни ходили по лицу, продолжала:

— Люблю... Разъ я замерзла было. Въ буранъ... Домъ нашъ у скалы прилѣпился, предъ нами ущелье длинное да глубокое, и за нимъ все сопки, сопки. Вотъ разъ и поднялся буранъ. Надѣла я валенки, шапку оленью да и пошла... А маленькая была, лѣтъ осьми-девяти. Влѣзла на скалу, что надъ нами, выбрала мѣстечко укромное за вѣтромъ и сѣла... Ахъ, не видали вы буранъ въ тайгѣ... Какъ закрутитъ снѣгъ, да закурятся

сопки, да зашумитъ тайга со всѣхъ сторонъ... (она снова зажмурила глаза и глубоко вздохнула).—Стало заносить меня понемножку снѣгомъ, холодъ подъ шубенку забирается—не могу уйти и кончено. Все смотрю, какъ, словно стѣна, несется снѣгъ по ущелью, какъ курятся сопки, да слушаю, какъ разными голосами воетъ тайга. Вѣдь у каждаго дерева и у каждой сопки свой голосъ есть,—у лиственницы одинъ голосъ, ель да пихта—другой, а кедры толстымъ голосомъ шумятъ, всѣхъ покрываютъ. Одна сопка зашумитъ, другая, третья, а потомъ какъ сойдутся вмѣстѣ да заревутъ, да какъ подхватитъ буранъ, завоетъ, засвищетъ, зарыдаетъ...

Она смотрѣла на меня круглыми непонимающими глазами.

— Такъ и сижу... Смеркаться стало, чувствую, ноги стынутъ, а не могу съ мѣста уйти, силъ нѣтъ оторваться, думаю,—еще немножко посмотрю, вотъ еще немножко... Ну и занесло меня,—засмѣялась она.—Тутъ уже не помню, должно быть, дремать стала... Долго искали. Собака наша привела отца. Ну, домой принесли, оттерли, а потомъ запирать стали, какъ буранъ начнется.

Она сидѣла, подперши голову рукой, и все говорила, и словно тѣни мелькали по лицу.

... — Вы говорите, скучать... Не жили вы тогда въ тайгѣ,—весело было, не какъ теперь. Зимой-то еще веселѣе, лѣтомъ на работѣ всѣ. Народу много жило, поляки, русскіе... Одинъ полякъ химію намъ преподавалъ.

— Химію?—какъ-то невольно вырвалось у меня.

— Ну... химію. Зимой-то мало дѣла въ тайгѣ. Соберутъ они насъ подростковъ, да и учатъ. И взрослые приходили, молодые служащіе. Ты, Иннокентій, тоже вѣдь ходилъ, кажется?—обратилась она къ мужу.

— Я больше по кампямъ...—отозвался Иннокентій Демьяновичъ.—Руды все мнѣ хотѣлось знать.

— Старикъ былъ, полякъ-то. Послѣ, вышло время, на свою сторону уѣхалъ и профессоромъ химіи сдѣлался,—не помню хорошо, въ Краковѣ или во Львовѣ. А другой молодой былъ, россійскій, литературѣ насъ училъ. А Некрасова какъ читалъ! Помню, тогда появилась „Арина мать солдатская"... По Россіи все тосковалъ, яду въ себя принялъ, никуда не поѣхалъ.

— А какъ собирался!—вмѣшался Иннокентій Демьяновичъ, и сумрачное лицо освѣтилось доброй улыбкой.—И меня все уговаривалъ. Дружокъ мнѣ былъ, пріятель... Растужится, бывало, — поѣдемъ, скажетъ, Кеша, въ Россію... И сейчасъ ругаться. Льдина, говоритъ, у васъ сибиряковъ вмѣсто сердца, а въ душѣ только фартъ одинъ,—цѣлковый, золотишко. Повезу, говоритъ, я тебя, челдона дикаго, звѣрюгу лѣсную, въ Россію, покажу, говоритъ, тебѣ человѣка настоящаго русскаго, Донъ-рѣку, степь широкую... Да вотъ, не поѣхалъ.

А синіе глаза сузились и поблѣднѣли, и сѣрый тонъ ложился на унылое лицо. Она глубоко вздохнула и, словно стряхнувши съ себя печаль, снова оживленно заговорила:

— Какъ сладкій сонъ, та жизнь моя... И не было нигдѣ, и не будетъ такой. Соберутся вечеромъ къ намъ,—все бездомовные были, одинокіе, читать начнутъ, разговаривать, спорить. Газеты всякія выписывали, журналы—и польскіе, и русскіе, и заграничные, — библіотека какая составилась! Или играть начнутъ, скрипку принесутъ, віолончель,—музыканты какіе были! А придетъ Рождество, съѣдутся со всѣхъ пріисковъ ряженые, рабочіе съ гармоніями придутъ, танцы всякіе пойдутъ, либо пѣть примутся всякія пѣсни—и русскія, и польскія, и наши сибирскія... И читать меня выучили, и къ книгѣ пріохотили. Выросла, сама учить

стала,—собрала ребятишекъ съ сосѣднихъ пріисковъ человѣкъ десять, да трехъ тунгусишекъ,—умница одинъ изъ нихъ былъ, первый ученикъ у меня.

... — Скучно?..—Она встала и начала ходить по комнатѣ.—Вотъ здѣсь такъ дѣйствительно скучно. Въ особенности сначала, какъ пріѣхали. Дома мнѣ показались большіе-большіе, а люди... маленькіе. И чудные такіе, словно другой породы... Скоро какъ-то тутъ именины были нашего хозяина, а съ дочерью-то я подружка была: раньше отецъ ея управляющимъ на нашемъ же пріискѣ былъ, и вмѣстѣ мы съ ней въ тайгѣ-то учились. Послѣ она въ гимназію поступила, первая изъ нашего города на курсы поѣхала—Герьевскіе были тогда. въ Москвѣ, и компанію все-таки мы вели. Собрался у нихъ весь городъ—и наши, конечно, и всѣ эти чиновники, ваши россійскіе, жены ихъ. Меня къ дамамъ опредѣлили. Ну, и разговоровъ наслушалась я. Одна говоритъ „мой, говоритъ, дядя на шесть лошадей"... „А мой кузенъ, другая говоритъ, въ сенатѣ младшимъ"... А третья: „сестра, говоритъ, пишетъ,—въ Москвѣ ужъ не носятъ"... не помню тамъ, чего-то. Подсѣла я къ одной,—миленькое личико, просто залюбовалась я,—мадонну такую на картинкѣ видѣла.

— „Какой, спрашиваю, журналъ вамъ больше нравится?"

— „Нива"... говоритъ. Выкройки хорошія.

Я на другое.

— „Какъ вамъ, говорю, Сибирь наша нравится?

— „Прислуга, отвѣчаетъ, грубая. И портнихъ нѣтъ...

Билась, билась я съ ней, да какъ-то и вырвалось у меня:

— „Какъ это вы, дамочки, со скуки здѣсь не повѣситесь?"

Послѣ на весь городъ просмѣяли за „дамочки".

Она долго молчала, глаза потускнѣли, лицо сдѣлалось сѣрое и скучное, и углы рта опустились. Она укуталась въ свою шаль, медленно ходила по комнатѣ вялыми, усталыми шагами и снова сѣла и съ печальнымъ выраженіемъ глазъ заговорила:

— Докторъ, голубчикъ,—вы много жили, много видѣли... скажите, какъ по вашему:—скучно жить на свѣтѣ или весело?

Я хотѣлъ отвѣтить шуткой: „дамочкамъ?“, но что-то было въ осунувшемся лицѣ и въ печальной интонаціи голоса, что остановило меня. Да и самый вопросъ въ этой формѣ всталъ предо мной неожиданностью.

— Я иногда перечитываю ихъ,—она указала глазами на свою полку съ книгами,—все они пишутъ, все пишутъ, а ничего нѣтъ...

Теперь мнѣ было легче отвѣчать. Я началъ говорить о томъ, какъ много уже исполнилось изъ того, о чемъ „они“ писали и какъ еще больше исполнится въ будущемъ, и какъ тогда хорошо и весело будетъ жить на свѣтѣ.

Она внимательно слушала, пристально смотрѣла мнѣ въ лицо и послѣ короткаго раздумья сказала:

— Вамъ легко говорить, — у васъ университеты, суды, земство,—а у насъ... Вотъ какъ туча въ засуху,—все ходитъ, все ходитъ по небу, —хоть бы краешкомъ задѣла... А она все мимо, все мимо...

— Придетъ...—неожиданно вмѣшался въ разговоръ Иннокентій Демьяновичъ.—А ты чего хохлишься? Поѣдемъ въ Петербургъ, Россію смотрѣть... Вѣдь вотъ,—обратился онъ ко мнѣ:—сколько разъ уговаривалъ ее... давно меня въ главную контору зовутъ,—не хочетъ!

— Не хочетъ! Самъ знаешь... Какъ подумаю я,—выростетъ моя Ася тамъ въ Питерѣ, и будетъ она россійской и забудетъ Сибирь мою бѣдную, и разучится

понимать ее и перестанетъ любить... Пусть, по крайней мѣрѣ, гимназію здѣсь кончитъ, а тамъ и ѣдетъ доучиваться, куда захочетъ...

Тайга съ гнѣвомъ и ропотомъ ворвалась въ комнату и тотчасъ ушла изъ нея и, какъ голодный звѣрь, завыла вдали. Длиннымъ языкомъ вспыхнула лампа, качались огни свѣчей, въ комнатѣ сдѣлалось странно тихо.

— Что это мы, словно покойника хоронить собрались!—встрепенулась хозяйка.—Бери, Кеша, гитару,—начинай промысловую, веселую.

Иннокентій Демьяновичъ настраивалъ гитару и спрашивалъ: „Не ходи, моя милая, берегомъ, уваломъ“? Эту, что ли?

„Что женатый распроклятый.
Холостой—голу-убчикъ...
Холостой глазамъ поводитъ.
Изъ ума выводитъ“.

Съ тѣмъ ухарствомъ, съ какимъ выводятъ пріисковые рабочіе, пѣлъ женскій голосъ, но, должно быть, веселье и радость уже покинули Снѣгурочку; она оборвала на полусловѣ и уныло выговорила:

— Не выйдетъ... Брось!

Прислонившись къ бѣлой стѣнѣ, она запѣла старинную русскую пѣсню: „Надоѣли мнѣ ночки, надоскучили“...

Тихо звенѣли струны гитары, и плыли по комнатѣ тихія и жалобныя пѣсни, съ мольбой и жалобой бился буранъ въ окна, а издали доносились глухіе, тяжкіе вздохи затихавшей тайги.

Такъ и осталась въ моей памяти прислонившаяся къ стѣнѣ тоненькая, хрупкая фигура съ блѣднымъ, усталымъ лицомъ въ рамкѣ бѣлокурыхъ волосъ. Боль-

шіе синіе глаза такъ печально смотрѣли вдаль,—туда, откуда несся буранъ, гдѣ вздыхала тайга...

IV.

Давно это было, и время заволокло туманомъ и Иннокентія Демьяновича съ его трубочкой и таежными разсказами, и тоненькую фигуру Снѣгурочки съ бѣлокурыми волосами и снѣжными глазами, и носящіеся надъ сибирскими сопками бураны, и разными голосами шумящую тайгу. Краешкомъ прошла туча надъ Сибирью, открылся томскій университетъ, пріѣхалъ новый судъ. Прорѣзали рельсы глубь тайги, и свищутъ паровозы по медвѣжьимъ угламъ, и доносится изъ Сибири какой-то новый большой, смутный шумъ...

Время отъ времени, по старой памяти, ко мнѣ заглядываютъ сибирскіе гости, - тѣ, что играли въ бабки у моихъ оконъ и приготовишками лѣчились у меня отъ корей, скарлатинъ и коклюшей. Я всматриваюсь въ ихъ лукавые сибирскіе глаза и характерную сибирскую интонацію рѣчей, и порывистыя движенія, и насмѣшливый складъ ума,—и снова Сибирь входитъ въ мою комнату. И кажется мнѣ, что тамъ, за Ураломъ будто оттаяло и потеплѣло, какъ-то рѣдко встрѣчаю я сѣрыя скучныя лица и печальные глаза, и никто меня не спрашиваетъ — должно быть сами какъ-нибудь рѣшаютъ—скучно жить на свѣтѣ или весело...

Ихъ такъ много ѣдетъ изъ всякихъ дальнихъ угловъ и на высшіе женскіе курсы, и на Рождественскіе, и на медицинскіе, и въ университетъ, и въ горный, и въ лѣсной, и въ технологическій... Они привозятъ мнѣ поклоны и привѣтствія отъ моихъ старыхъ друзей и разсказываютъ новые сибирскіе разсказы: сколько у нихъ открылось разныхъ обществъ, читаленъ, библіо-

текъ, музеевъ, амбулаторій, какъ толпами, словно на драку или публичную лекцію, ходитъ теперь сибирская публика на засѣданія новаго суда, какія небывалыя раньше слушаетъ она тамъ лекціи, какъ иначе разыгрываются теперь сибирскія драмы и совсѣмъ по другому складывается мѣстная жизнь.

Изрѣдка долетали слухи и изъ того глухого угла, гдѣ я жилъ. Я слышалъ, что Евфросинья Степановна умерла, и отъ пріѣхавшей на курсы племянницы Иннокентія Демьяновича зналъ, что она много работала въ открывшемся послѣ моего отъѣзда „Обществѣ попеченія объ учащихся въ начальныхъ училищахъ“ и оживилась, и повеселѣла, когда стала наѣзжать окончившая московскую и петербургскую науки мѣстная молодежь. Трепетно ждала открытія томскаго университета, послала туда этнографическія и естественно-научныя рѣдкости, вывезенныя ею и Иннокентіемъ Демьяновичемъ изъ тайги и тундры, собирала деньги на взносъ за слушанье лекцій первыхъ студентовъ, а, умирая, взяла съ своей Аси клятву, что она вернется въ Сибирь, гдѣ бы ни училась, и останется и будетъ работать въ ней. Мнѣ было извѣстно, что Ася доучивается въ гимназіи, а Иннокентій Демьяновичъ снова уѣхалъ въ тайгу и снова бродитъ по сопкамъ и таежнымъ ущельямъ.

Какъ-то потомъ мнѣ попался номеръ какой-то сибирской газеты, и я заинтересовался корреспонденціей съ пріиска, на которомъ я былъ. Тамъ описывалось одно изъ тѣхъ страшныхъ таежныхъ наводненій, когда горныя рѣчушки вздуваются бурными потоками, рвутъ плотины, и въ нѣсколько часовъ губятъ годовую операцію и разоряютъ золотопромышленниковъ, — когда, чтобы удержать воду, бросаютъ въ рѣчку все, что есть— мѣшки съ мукой, бочки съ солониной... Картинно описывался страшный моментъ, когда сталъ шататься мостъ,

и на кличъ управляющаго пятеро рабочихъ, отчаянныхъ рабочихъ-охотниковъ бросились крѣпить мостъ, и мостъ тотчасъ же сорвало, и бурный потокъ подхватилъ людей, а управляющій, въ чемъ былъ, бросился въ воду и поочередно спасъ всѣхъ рабочихъ, догнавши послѣдняго за двѣ версты отъ пріиска... Въ концѣ корреспонденціи была названа фамилія Иннокентія Демьяновича, и глухо добавлялось, что онъ умеръ черезъ недѣлю отъ полученнаго въ рѣкѣ какого-то воспаленія... Совсѣмъ недавно слышалъ я объ Асѣ. Пріѣхавшій изъ-за границы знакомый разсказалъ мнѣ, что встрѣтилъ ее гдѣ-то на югѣ Франціи, кажется въ Монпелье, что она оканчиваетъ медицинскій факультетъ и готовится защищать диссертацію, а послѣ собирается въ Россію сдавать экзаменъ на врача.

ПАВЕЛЪ ПАВЛОВИЧЪ.

Это было совсѣмъ особенное село, какого я раньше не встрѣчалъ въ Сибири.

Вдали отъ тракта и Енисея — единственныхъ путей сообщенія въ округѣ, изолированное отъ людскихъ поселеній, — ближайшая деревня была за шестьдесятъ верстъ - оно словно нарочно забралось въ самую глубину тайги, словно умышленно старалось отгородить себя отъ окружающаго міра. „Вотъ я пять лѣтъ служу здѣсь,—говорилъ мнѣ передъ отъѣздомъ исправникъ,— а еще не удосужился побывать,—никуда не по дорогѣ. Да и село тихое, подати платятъ исправно, мертвыхъ тѣлъ нѣтъ“.

Онъ распорядился заблаговременно выслать подставныхъ лошадей на середину того станка въ шестьдесятъ верстъ, который былъ передъ этимъ селомъ.

Судя по типамъ лицъ, рѣзко отличавшимся отъ окружающаго населенія, и по наиболѣе часто встрѣчавшейся въ селѣ фамиліи Зыряновъ,—это были потомки зырянъ, выселившихся изъ Вологодской губерніи, о чемъ, кажется, говорилъ и исправникъ. Сами жители, какъ это повсемѣстно приходится встрѣчать въ Сибири, давно забыли о своей прежней родинѣ и помнили только одно, „что дѣдушки пришли изъ Россіи“.

И всѣмъ своимъ внѣшнимъ видомъ село рѣзко выдѣлялось отъ тѣхъ трактовыхъ селъ, къ которымъ я присмотрѣлся:—не было того, что характерно для трактовыхъ селъ—огромныхъ городского типа домовъ богатѣевъ въ центрѣ, лачужекъ и землянокъ съ пузырями въ окнахъ недавнихъ переселенцевъ по краямъ села, не было и того, что приходилось встрѣчать въ тяготѣющихъ къ золотопромышленности деревняхъ—раскрытыхъ дворовъ, запущеннаго хозяйства.

Давно насиженное мѣсто и зажиточность сытаго мужика сразу бросались въ глаза: прекрасныя избы съ фасонистыми манерными, стариннаго типа крыльцами, съ замысловато рѣзными карнизами, огромные дворы, масса скота.

Также бросались въ глаза чистота и опрятность внутри избъ, несмотря на то, что я уже присмотрѣлся къ чистотѣ и опрятности сибиряковъ, такъ рѣзко отдѣляющихъ сибирскія крестьянскія избы отъ русскихъ.

И на всемъ этомъ селѣ, на всемъ населеніи сытомъ, хорошо одѣтомъ, чисто и опрятно живущемъ, лежало что-то неуловимое, жизнерадостное и сильное, что производило на меня такое хорошее, такое бодрящее впечатлѣніе. Праздникъ ли создавалъ это настроеніе—я пріѣхалъ въ масленицу,—или книжки, которыя я видѣлъ въ нѣкоторыхъ избахъ и которыхъ я никакъ не ожидалъ встрѣтить въ этомъ глухомъ мѣстѣ,—я не знаю.

Бывшая въ селѣ эпидемія кори, изъ-за которой я и пріѣхалъ, не портила впечатлѣнія. Пока „гумага",—донесеніе о неизвѣстной болѣзни, появившейся на людяхъ, ходила изъ Зыряновки въ волость, изъ волости къ засѣдателю и потомъ въ городъ, и мирно дожидалась меня, работавшаго за нѣсколько сотъ верстъ въ другомъ концѣ округа, эпидемія успѣла почти прекратиться: кто осилилъ болѣзнь—выздоровѣлъ, кого она осилила,—

умеръ, и мнѣ пришлось лѣчить только вызванныя корью послѣдовавшія заболѣванія. Работы было немного; я быстро кончилъ осмотръ больныхъ и направился къ старостѣ, у котораго остановился.

Все, что было особеннаго въ этомъ оригинальномъ селѣ, было собрано, какъ въ фокусѣ, въ домѣ старосты.

Длинная крестьянская связь, сложенная изъ такихъ бревенъ, которымъ „вѣку не будетъ", высокая свѣтлая „горница", широкія лавки каждая изъ одной лѣсины какой-то монументальной лиственницы, такой же полъ,— все это выглядѣло солидно и прочно, поражало педантической чистотой и какой-то культурностью. Ярко вычищенный пузатый самоваръ кипѣлъ на покрытомъ бѣлой скатертью столѣ, уставленномъ шаньгами и всякими прикусками, вокругъ стола виднѣлись вымытыя и причесанныя лица хорошо одѣтыхъ дѣтей; самъ староста, невысокаго роста коренастый человѣкъ съ рѣдкой растительностью на лицѣ, по случаю моего пріѣзда былъ одѣтъ въ тонкаго сукна кафтанъ. Въ горницѣ было, впрочемъ, кое-что, чего я не встрѣчалъ въ другихъ избахъ,— стѣны были увѣшаны иллюстраціями и преміями „Нивы", рядомъ съ божницей была полка съ книжками, сверху которыхъ лежалъ номеръ той же „Нивы" и на стѣнѣ висѣла гитара.

— Все Палъ Палычъ ребятишкамъ надавалъ,—проговорилъ староста, замѣтивши, что я внимательно разсматривалъ стѣны.

Мы сѣли пить чай. Съ тѣмъ чувствомъ собственнаго достоинства, которое такъ отличаетъ сибиряка отъ русскаго крестьянина, староста началъ разсказывать мнѣ про свое село.

— Доктора я ужъ и не помню, когда мы здѣсь видали. Засѣдатель—и то вотъ третій годъ никакъ не соберется. На бугрѣ мы, кругомъ тайга и болотина,—

это вы вотъ зимникомъ проскочили, а лѣтомъ и конный не проѣдетъ, топь. Старики облюбовали.

По лицу его не видно было, чтобы онъ огорчался топью и тайгой и рѣдкими посѣщеніями засѣдателя: но пятна и на солнцѣ есть.

— Медвѣдь шибко обижаетъ. Ужъ такъ и считай ему въ лѣто двѣ-три скотины со двора,—лошади, либо коровы. Это еще что! А вотъ бѣда, ежели ягода не уродится въ тайгѣ—стадами выходятъ. Какъ на овесъ выйдутъ, такъ за ночь поле и высосутъ. Бѣда!

Должно быть и медвѣдь былъ еще не большой бѣдой, судя по тому, какъ, улыбаясь, онъ выговорилъ: „въ родѣ засѣдателя онъ у насъ, медвѣдь-то,—подати требуетъ“, и я даже не увѣренъ, какія подати онъ считаетъ менѣе убыточными.

Я допивалъ свой чай, у крыльца погромыхивала бубенцами готовая тройка, съ улицы доносились пѣсни и звуки гармоники, мимо оконъ проходили группы хорошо одѣтыхъ дѣвокъ и парней, когда странная фигура, медленно двигавшаяся по улицѣ, остановила мое вниманіе.

Это былъ очень высокій старикъ, худой и немного сутуловатый, въ коротенькомъ осеннемъ пальто, очень узкихъ брюкахъ, топорщившихся на длинныхъ ногахъ, обутыхъ въ резиновыя калоши, съ обмотаннымъ вокругъ шеи длиннымъ сибирскимъ шарфомъ и въ маленькой войлочной шапочкѣ, въ родѣ тѣхъ, какія въ мое время носили студенты и изъ-подъ которой выбивалась буйная волна великолѣпныхъ сѣдыхъ волосъ. Лица я не замѣтилъ. Эта странная фигура съ „профессорской“ головой, въ старенькомъ осеннемъ пальтишкѣ и въ узенькихъ брючкахъ, была такъ поразительна на фонѣ морознаго сибирскаго дня въ глухомъ заброшенномъ полузырян-

скомъ селѣ, что я съ невольнымъ изумленіемъ спросилъ хозяина:

— Кто это?

— Палъ Палычъ...

Сѣрое лицо старосты освѣтилось и онъ, улыбаясь, повторилъ такимъ тономъ, будто онъ мнѣ говоритъ то, что я долженъ безъ него знать и какъ будто этимъ сказано все:

— Палъ Палычъ...

Мнѣ показалось, что и на лицахъ жены и дѣтей, оживленно обернувшихся къ окну, промелькнуло то же свѣтлое, улыбающееся настроеніе.

— Онъ... Палъ Палычъ, — подтвердила жена старосты.—Къ кому это онъ пробирается?

— Къ Сѣдыхъ,—бойко выговорилъ тоненькимъ голосомъ мальчикъ лѣтъ десяти-одиннадцати.—Дѣдушку Кудина нонче поминаютъ.

— И то... должно къ нему,—проговорилъ староста,— любилъ дѣдушку Анкудина Палъ Палычъ-то.

— Да кто же онъ?—нетерпѣливо спросилъ я.

— Палъ Палычъ-то?—переспросилъ староста и подбирая слова, какъ будто своимъ вопросомъ я поставилъ его въ величайшее затрудненіе, отвѣчалъ:

— Нашъ онъ... У насъ на селѣ живетъ.

Очевидно, на моемъ лицѣ выражалось недоумѣніе и староста продолжалъ:

— Давно живетъ... Прижился у насъ. Еще покойника родителя моего грамотѣ училъ.

Я смотрѣлъ на немолодое лицо старосты съ тронутыми сѣдиной висками и бородой и удивленно выговорилъ:

— Сколько же ему лѣтъ?

— Какъ сказать?..—Мой собесѣдникъ задумался.— Съ попомъ мы принимались какъ-то считать, — ужъ

восемь десятковъ стукнуло; гляди,—что больше. Молоденькимъ его пригнали къ намъ, этапомъ, а за какія дѣла—знать не могу... Родитель сказывалъ—офицеръ былъ, и изъ какихъ мѣстовъ зналъ, родитель-то. Только я-то вотъ запамятовалъ. Погоди, погоди!—оживился онъ, — маленькій я былъ, мощу-то въ Россіи нашли, святого-то человѣка...

— Тихона Задонскаго?—догадался я.

— Вотъ, вотъ, вотъ... Задонскій, изъ тѣхъ мѣстовъ. Палъ Палычъ—въ ту пору родитель сказывалъ—съ его стороны, землякъ молъ.

— Что же онъ здѣсь дѣлаетъ?

— Писаремъ онъ у насъ сельскимъ. Пятнадцать рублей въ мѣсяцъ міръ ему кладетъ. Ну и учитъ...

— Развѣ у васъ училище есть?

— Нѣтъ, такъ вольно по домамъ больше... Отвели мы ему избу, да скучать сталъ одинъ-то. Сколько у кого ребятъ, столько и дней тамъ живетъ, туда всѣ и сходятся.

Староста задумался.

— Старъ сталъ Палъ Палычъ... Боится одинъ ночевать.

— И ладно учитъ?

Староста оживился.

— Вотъ какъ учитъ! Случай у насъ былъ... Съ попомъ самимъ съ покойнымъ пріятель онъ былъ, такъ мальчишку его обучалъ въ губернію въ классъ. Попъ-то послѣ сказывалъ, на экзаменѣ всѣхъ зашибъ, никому пикнуть не далъ. Учитель-то спроситъ что, а онъ ему впередъ десять словъ. Говорили мнѣ люди: въ лѣкаря вышелъ поповъ-то сынъ гдѣ-то за Иркутскимъ городомъ.

Староста видимо гордился Павломъ Павловичемъ и продолжалъ выкладывать мнѣ:

— Такого-то села всю округу исходи—не найдешь.

Всѣхъ Палъ Палычъ-то переучилъ, — дѣвчонки и тѣ книжки читаютъ!

А предо мною промелькнули согбенныя плечи стараго учителя, и пронеслись долгіе годы житья „пригнаннаго“ офицера въ этомъ отдѣленномъ тайгой и болотиной отъ міра селѣ и съ чувствомъ, близкимъ къ ужасу, я выговорилъ:

— Сколько же онъ времени у васъ живетъ? Неужели пятьдесятъ лѣтъ безвыѣздно?

— Чатъ, съ чѣмъ-нибудь... Все у насъ. Кинулся было на пріиски... Давно было. Молодой я былъ, жениться собирался; пошли въ ту пору пріиски эти, такъ, вотъ, и онъ было... Да недолго, года съ три тамъ прожилъ,—къ намъ же вернулся. И мѣсто хорошее имѣлъ, а не полюбилось. Сами знаете порядки тамъ: – порютъ, душу изъ людей выматываютъ, Палъ Палычу это не по сердцу. Какъ напьется, бывало, такъ и ругаться: подлецы, говоритъ.

— Пьетъ развѣ?

— Не то, чтобы безперечь... Находитъ на него временнымъ дѣломъ. Въ родѣ тоски... Все больше весной: такъ вокругъ святой недѣли и пьетъ,—и мѣсяцъ, и два пьетъ. Мы ужъ такъ и знаемъ,—ну, бережемъ его, кого ни на есть приставляемъ, чтобы чего не было. А тамъ опять человѣкъ человѣкомъ.

— И теперь пьетъ?

— Не пропускаетъ... Нынѣшнюю Пасху думали пропадетъ. Руки на себя наложить хотѣлъ...

А ужасъ за человѣка, за одинокую человѣческую душу, мучившуюся и тосковавшую рядъ долгихъ лѣтъ, все росъ во мнѣ. Мнѣ такъ хотѣлось побольше узнать, обо всемъ разспросить.

— Почему онъ домой не ѣдетъ? Получаетъ ли письма? Съ кѣмъ ведетъ компанію?

— Домой... Можетъ и дома-то у него нѣтъ,—раздумчиво говорилъ староста.—А насчетъ родныхъ онъ никогда не говорилъ. Да и какіе чай родные? И у насъ-то вотъ Анкундинъ послѣдній померъ, который по годамъ-то ровенъ былъ съ Палъ Палычемъ...

Сѣрое лицо моего собесѣдника все свѣтлѣло и голосъ сдѣлался мягкимъ и задушевнымъ.

— Съ нами водится... Крестниковъ да крестницъ однихъ сколько у него на селѣ! И насъ-то всѣхъ переучилъ. Первый человѣкъ у насъ Палъ Палычъ!—воодушевился онъ.—Къ примѣру, свадьба, или поминки, храмовой праздникъ,—за первый столъ! Вѣдь бережемъ мы его: одежу, обутку справляемъ.

Я вспомнилъ „одежу" и „обутку" Павла Павловича и спросилъ:

— Развѣ ему не холодно въ такомъ пальтишкѣ?

— Вотъ поди жъ ты: ко всему пріобыкъ онъ у насъ, а одежу по нашему носить не хочетъ, все городскую справляетъ.

— Тоже насчетъ рубахъ...—вмѣшалась было хозяйка, и сконфузилась.

Я заинтересовался и спросилъ:

— Что же насчетъ рубахъ?

— Мы, бабы, шьемъ ему портки, да рубахи-то... Сердится, коли холщевыя сошьешь... Тонкое любитъ, спать, говоритъ, не могу въ холщевомъ-то. Изъ городу полотно возитъ. Вотъ вы про компанію спрашивали, а полякъ-то...—обратилась она къ мужу.

— Вотъ, вотъ... съ полякомъ у него компанія была,—отозвался хозяинъ.—Лѣтъ, гляди, тридцать назадъ поляка къ намъ пригнали,—видѣли на въѣздѣ лавочку,—онъ торговалъ. Тоже прижился,—тетку мою за себя взялъ. Такъ вотъ все, бывало, вмѣстѣ... Какъ найдетъ на Палъ Палыча полоса, такъ сейчасъ къ поляку и

пойдутъ чертить. Тоже и попъ-покойникъ не отставалъ, съ ними же. И я помоложе былъ,—заглядывалъ,— у Палъ Палыча вотъ и гитару перенялъ,—онъ указалъ глазами на висѣвшую на стѣнѣ гитару.

— Какъ, Санча,—обратился онъ къ сыну,—пѣсню-то Палъ Палычъ все поетъ?

- „Не слышно шуму городского, на Невской башнѣ тишина и на штыкѣ у часового горитъ полночная луна; а бѣдный вьюноша, ровесникъ младымъ цвѣтущимъ деревамъ, въ глухой тюрьмѣ заводитъ пѣсню и вотдаетъ тоску волнамъ“... скороговоркой, однимъ духомъ выговаривалъ мальчикъ.

— А дальше-то какъ, Санча? жалостно такъ...—понукала его мать.

— „Сломись вѣнчальное кольцо, навѣкъ закройся мое сердце, не быть мнѣ мужемъ и отцомъ“,—попрежнему быстро выпалилъ мальчикъ.

Полное, лѣнивое лицо хозяйки оживилось.

— Ужъ такъ ли жалостно поетъ это Палъ Палычъ. Но голосъ-то я знаю, а вотъ слова-то плохо помню,— обратилась она ко мнѣ:—„присваталъ я сибѣ ниволю, мой жребій слезы да тоска, а я молчу ли тали долю“— жалостнымъ голосомъ, нараспѣвъ, проговорила хозяйка.

— Развѣ такъ, мамка,—смѣясь прервалъ ее мальчикъ — „молчу и таю долю, іе взяла моя судьба“...

— Эту самую пѣсню... —вмѣшался староста.— Пьяненькій-то плачетъ, бывало, да поетъ, а на гитарѣ подыгрываетъ. И полякъ поетъ, тоже любитъ эту пѣсню. А то по-польскому пѣть примутся: польска не згинула... И попъ по-польскому выучился, тоже поетъ—голосистый былъ.

Всѣ замолчали, староста неопредѣленно улыбался.

— Не все смирный Палъ Палычъ-то. Ино мѣсто пья-

ный-то ругать примется,—разсказывалъ онъ, улыбаясь, какъ-будто именно это доставляло ему удовольствіе.

— „Брюханы“, говоритъ, „идолы“.

Онъ снова замолчалъ.

— Пріятели-то его пропали... Попъ сначала померъ въ одночасье. Съ нонѣшнимъ-то не лады у нихъ, — все грозится попъ-то:—не по закону учишь... А потомъ и полякъ кончился, году еще нѣтъ. Ужъ какъ Палъ Палычъ тосковалъ послѣ него, какъ тосковалъ! Не въ очередь запилъ...

Погромыхивая бубенцами, тройка несла меня по селу. При въѣздѣ, противъ убогой лавочной вывѣски, я нагналъ высокаго сгорбленнаго человѣка въ поношенномъ осеннемъ пальто и, поровнявшись, снялъ шапку и поклонился. Павелъ Павловичъ тоже снялъ свою шапчонку, при чемъ его роскошные сѣдые волосы разсыпались, на меня глянуло старое, худое, сморщенное лицо, съ длинными сѣдыми, пожелтѣвшими, какъ бываетъ у много-курящихъ людей, усами, и равнодушные, утомленные, мутные глаза на минуту остановились на мнѣ изъ-подъ тяжелыхъ опущенныхъ вѣкъ.

Мнѣ совѣстно было останавливаться и о чемъ-нибудь заводить разговоръ съ Павломъ Павловичемъ.

ВДУТЪ...

I.

У борта лодки, наклонившись надъ водой и опустивши руку въ рѣку, сидѣлъ невысокаго роста сутуловатый господинъ въ грубо сшитыхъ сапогахъ, въ оленьей порыжѣлой курткѣ, изъ-подъ которой виднѣлась рубашка синей толстой дабы, и въ мѣховой оленьей шапкѣ на головѣ. Съ свѣтло-русыми волосами, голубыми глазами и подвижнымъ, быстро мѣняющимся лицомъ, онъ выглядѣлъ совсѣмъ молодымъ, двадцатипяти-лѣтнимъ человѣкомъ. Онъ улыбался, время отъ времени поднималъ голову, и странно разсѣянный взглядъ его слѣдилъ за темными утесами, поросшими густымъ лѣсомъ кедровъ, пихтъ и лиственницъ. Холодная вода Ангары билась объ его пальцы, и на крутыхъ поворотахъ рука начинала дрожать; тогда онъ улыбался сильнѣе, и блуждающіе глаза свѣтились страннымъ выраженіемъ. Онъ глубже и глубже опускалъ руку; лодка покачнулась.

— Вася!—строгимъ недовольнымъ голосомъ заговорила сидѣвшая въ глубинѣ лодки, прислонившись къ подушкамъ, жена его.

У нея было худое, усталое, съ застывшимъ выраженіемъ какого-то угрюмаго равнодушія, лицо. Съ по-

сѣдѣвшими висками и сѣтью мелкихъ морщинокъ около глазъ, съ глубокой складкой, часто ложившейся на лобъ и придававшей лицу болѣзненное выраженіе, она казалась старше своего мужа.

— Я тебя просила, Вася!

Онъ неохотно вынулъ руку изъ воды, его лицо приняло виноватое и приниженное выраженіе.

— Какъ она бѣ-ѣ-житъ...—волнуясь и слегка заикаясь, заговорилъ онъ.—Ты слышишь, какъ она журчитъ подъ лодкой? Вѣдь мы быстро ѣдемъ, Варя, не правда ли? И знаешь,—онъ улыбнулся дѣтской заискивающей улыбкой—мнѣ кажется, вода теплѣе становится. Право, теплѣе, ты попробуй!

— Я вѣрю, Вася, вѣрю; посиди смирно.

— Смотри, какъ парусъ надулся, какъ бѣгутъ берега! Видишь тотъ утесъ, что на мертвую голову похожъ, смотри, смотри, вонъ ужъ онъ гдѣ!—Онъ опять нагнулъ лодку, передвинулся къ гребцамъ, наклонившись смотрѣлъ изъ-за паруса на уходившій вдаль угрюмый утесъ и смѣялся.—Они уходятъ, Варя, горы уходятъ...

Она съ тревогой смотрѣла на возбужденное лицо сильно жестикулировавшаго мужа и попрежнему строго выговорила:

— Да, Вася, они уходятъ, уходятъ... — Она взяла его за руку и тихонько потянула къ себѣ. — Сядь со мной, посиди. Намъ нужно поговорить о будущемъ. Какъ ты хотѣлъ распорядиться съ домомъ?

Она знала, какъ дѣйствовать на мужа. Онъ тотчасъ же пересѣлъ, крѣпко до боли стиснулъ ея руки и, зажмуривши глаза, торопясь и заикаясь, заговорилъ:

— Ахъ, Варя! Ахъ, Варя! Это будетъ такой домъ, такой домъ... Старый я, конечно, сломаю. Онъ темный, онъ низкій и онъ пахнетъ... прежними жизнями, ста-

рыми жизнями. Я тамъ выстрою, на горѣ, надъ прудомъ, помнишь, гдѣ такъ степь открывается... Онъ будетъ высокій, окна я сдѣлаю огромныя, во всю стѣну, а потолокъ стеклянный? Я думаю, архитекторъ согласится сдѣлать стеклянный? — съ тревогой взглянулъ онъ на жену.

— Я думаю, согласится.

— Да, стеклянный... Чтобы ночью мѣсяцъ по комнатамъ ходилъ, чтобы звѣзды было видно. А я буду на скрипкѣ играть. Ночью такъ думается... Вотъ, тогда я симфонію окончу.

Онъ подперъ голову руками и, словно всматриваясь въ даль сверкавшей на солнцѣ широкой излучины рѣки, заговорилъ тихо и медленно:

— Мы посадимъ яблони. Лѣсъ я вырублю и старый садъ вырублю, чтобы кругомъ было видно, чтобы свѣтло было. Ты помнишь яблонь? Ты не забыла бѣленькіе съ розовымъ цвѣточки, ты помнишь, какъ пахнетъ она? Сладко, сладко... - онъ открылъ ротъ и глубоко вздохнулъ.—Ты не забыла? Мы посадимъ яблони?

Она сидѣла съ тѣмъ же выраженіемъ холодной скуки на усталомъ лицѣ и, откликаясь какъ эхо, повторила тономъ мужа:

— Да, мы посадимъ яблони.

— Я только тополь оставлю, знаешь, тотъ тополь, что одинъ стоитъ въ степи... А предъ окнами жасминовъ насажу. Вечеромъ, когда тополь будетъ качаться, жасминъ будетъ пахнуть...

Его зрачки расширились, и синіе глаза потемнѣли, углы рта опустились и лицо приняло напряженное выраженіе.

— И соловей будетъ прилетать... Можетъ быть, тотъ самый, что тогда, тогда... Ахъ, какъ это давно было! Ты помнишь, тогда?

Онъ потиралъ лобъ бѣлыми длинными пальцами и съ жалобнымъ выраженіемъ смотрѣлъ въ глаза жены.

— Къ намъ будетъ прилетать соловей?

— Будетъ прилетать...

Жалобное выраженіе исчезло съ его лица, и влажные расширившіеся глаза восторженно заблестѣли.

— Сколько цвѣтовъ у меня будетъ! Горошекъ сладкій, ночная красавица, маку насажу, левкоевъ. резеды — только тѣхъ, которые пахнутъ—да, вѣдь?

— Будетъ прилетать...

— Ты не слушаешь меня?—разсердился Василій Михайловичъ.

Варвара Павловна вздрогнула и быстро заговорила:

— Ты не сердись на меня, Вася. Я немножко задумалась своими мыслями. Ты говори, говори,—я буду слушать.

— Я тебѣ астры насажу,—говорилъ сердитый голосъ,—холодныя, бездушныя, безсердечныя астры. Твои цвѣты, я знаю.

Онъ скоро смягчился и снова заговорилъ довѣрчиво и ласково:

— Я вѣдь въ сущности все люблю, Варя, все люблю... Ты помнишь, какъ это хорошо у Шелли:

...„были дороги мнѣ утро
Росистое, душистый полдень, вечеръ
Со свитой тучекъ, пурпуромъ одѣтыхъ,
И полночи безмолвное дыханье,
И осени въ лѣсу глухіе стоны“...

Онъ на минуту задумался и снова продолжалъ:

„И снѣжный плащъ, и льдистая корона
Сѣдой зимы, и трепетъ сладострастный,
И первое лобзаніе весны“...

Глаза смотрѣли вдаль, онъ все говорилъ:

— Я и астры люблю. Онѣ не безсердечныя, онѣ безстрастныя, вѣчныя... Знаешь, осенью, когда всѣ цвѣты умрутъ... Ты помнишь, у насъ въ саду, когда выпалъ первый снѣгъ и все покрылъ, и помнишь, двѣ бѣлыя астры, живыя и свѣжія надъ сугробомъ стояли?..

Все шли утесы холодные, каменные, увѣнчанные темной щетиной хвойныхъ деревьевъ.

Огромныя, нагромоздившіяся другъ на друга и не успѣвшія растаять послѣ недавняго ледохода, синія льдины въ дикомъ безпорядкѣ лежали на берегу, блестя на солнцѣ и капая холодными крупными каплями; тянулась безконечная гладь темной рѣки, и чуть виднѣлся вдали такой же скалистый берегъ, окаймленный такой же смутно-синѣющей полосой тающихъ льдинъ.

Василій Михайловичъ вздрогнулъ и быстро заговорилъ:

— Только Сибири не люблю. Утесовъ этихъ каменныхъ, деревьевъ страшныхъ, иглы этой смоляной...— Его голосъ дрогнулъ слезами, онъ прижался къ женѣ и истерически зарыдалъ.—Они не уходятъ... Все идутъ и идутъ. Я боюсь, боюсь. Мнѣ страшно... Господи, скоро ли!!!

Она положила голову мужа къ себѣ на плечо, тихо гладила бѣлокурые волосы и приговаривала, какъ баюкаютъ дѣтей:

— Скоро, скоро... Они уходятъ. Тамъ будутъ у насъ яблони и жасмины. Посадимъ резеду, и соловей прилетать будетъ.

Онъ тихо вздрагивалъ, засыпая, откинувшись на подушки; слезы блестѣли на закрытыхъ вѣкахъ, и губы складывались въ блаженную улыбку, а ея лицо оставалось неподвижно-холодно и враждебно, и угрюмая складка глубже вырѣзалась на лбу. Она долго всматривалась въ затихшее, умиротворенное лицо мужа, и

вдругъ ея пальцы хрустнули въ крѣпко сжатыхъ рукахъ, и изъ сцѣпленныхъ зубовъ вырвался полузадушенный стонъ. Она сползла съ подушекъ, и руки безсильно повисли, а закрытые, глубоко запавшіе глаза съ темными кругами и сѣтью мелкихъ морщинокъ дѣлали лицо такимъ жалкимъ, больнымъ, измученнымъ.

Она долго лежала, закрывши глаза и не двигаясь, и снова выраженіе холодной скуки и усталости ложилось на ея лицо.

Прошлое также уходило отъ нея и, какъ эти холодные утесы, годъ за годомъ вставало передъ ней темное, печальное.

Откуда это пошло?—въ сотый разъ, долго и мучительно думала она. Какъ могло выйти, что она осталась одинока, и человѣкъ, котораго она беззавѣтно любила, сдѣлался ей чужой, сталъ вызывать чувство вражды, чуть не злобы?

Она знала, что не права, чувствовала, что должна приласкать и поддержать своего разстроеннаго, еще не оправившагося отъ психической болѣзни мужа, и вмѣстѣ съ тѣмъ ей нужно было употреблять страшныя усилія, чтобы говорить ему ласковыя слова, которыя такъ на него дѣйствуютъ и, очевидно, такъ нужны ему.

Тамъ, въ Россіи, въ оживленной сутолокѣ дня, въ шумной и напряженной дѣятельности, все такъ хорошо было... Хорошо было и здѣсь сначала, когда они отдыхали отъ долгаго путешествія, охваченные своеобразной красотой тайги и этой же рѣки, и этихъ же утесовъ. А потомъ началось...

Они остались въ этомъ полутунгусскомъ селѣ, одинъ-на-одинъ, когда индивидуальныя черты, эти углы личности, выступаютъ особенно рѣзко и задѣваютъ особенно больно.

Даже и не начиналось... Медленно и постепенно

между ними вставало что-то несознанное, неуловимое, вырастала какая-то глухая стѣна, все болѣе и болѣе раздѣлявшая эти двѣ, такъ тѣсно связанныя, жизни.

Ему такъ легко жилось, а ей такъ трудно... То, что вызывало въ ней сомнѣнія, было такъ ясно и несомнѣнно для него, такъ легко шло мимо его вѣчно-жизнерадостной души, полной вѣры и чуждой сомнѣній. Что она глубоко ненавидѣла, то онъ такъ легко прощалъ, и чѣмъ онъ восторгался, было чуждо ей...

Тяжело стучалъ молотокъ по крышкѣ гроба ея маленькаго сына, и комья мерзлой глины съ сухимъ жестокимъ звукомъ падали въ могилу... Мужъ такъ горько плакалъ и такъ легко утѣшился. Онъ выписалъ свою скрипку, которую забросилъ во времена студенчества, и цѣлыми днями игралъ печальныя мелодіи.

Его горе было такъ красиво... Онъ обсадилъ могилку сына бѣленькими березками, стройную лиственницу посадилъ въ головахъ, а могильный холмъ покрылъ незабудками, жарками, желтыми лиліями, розовыми дикими піонами, сибирскими цвѣтами, которые онъ съ корнемъ приносилъ изъ тайги и луговъ.

Всякій день ходилъ на кладбище и подолгу оставался тамъ, а когда пришла весна—она помнитъ—онъ вернулся съ кладбища и, растроганный, съ дрожащими на глазахъ слезами говорилъ:

— Березки распустились, Варя, и незабудки расцвѣли, и знаешь, Варя, голубенькія онѣ, словно изъ нихъ смотрятъ Витины глазки...

Въ ея горѣ не было ни цвѣтовъ, ни красивыхъ звуковъ. Раненое сердце медленно сочилось кровью, безъ жалобъ, безъ вздоховъ, безъ слезъ, безъ музыки. Ея горе вѣчно стояло у изголовья и стучало въ ея сердце, какъ молотокъ о гробовые гвозди, и она никуда не могла уйти отъ искаженнаго ужасомъ маленькаго ли-

чика, съ мучительнымъ напряженіемъ глотавшаго воздухъ.

Когда мужъ опускалъ смычекъ и, умиротворенный, затихшій, смотрѣлъ на нее печальными глазами, она не могла подавить въ себѣ чувства, близкаго къ ненависти. „Поигралъ и забылъ",—чуть не со злобой думала она.

Въ концѣ концовъ ей сдѣлалось противно все то, что она прежде такъ любила въ мужѣ,—эту неистребимую вѣру и эти порывы, его мягкость и доброту, вѣчную ясность души и то поэтическое настроеніе, которое проникало всего его. Въ особенности – послѣднее. Ей опротивѣла красота его горя. Она знала, что мужъ искрененъ, но ей были противны самый культъ красоты горя, это любованье горемъ, ее раздражали и березки, и цвѣты, и всѣ эти красивыя музыкальныя грусти, эти поэтическія жалобы безъ словъ, элегія Эрнста, баллада Венявскаго, колыбельная пѣсня Неруда... Даже и тогда, когда по ея просьбѣ онъ пересталъ играть дома и уходилъ со скрипкой въ тайгу, ей казалось, что и оттуда эти звуки неотступно преслѣдуютъ ее.

Она и теперь закрыла глаза и нѣкоторое время, казалось, прислушивалась.

А потомъ такъ быстро случилось. Какъ буря прошла... Мужъ заболѣлъ тифомъ... Долгіе дни безпамятства, буйнаго бреда... безконечныя безсонныя ночи, одиночество и безпомощность; ухаживать кромѣ нея было некому, и ближайшая больница и докторъ были за семьсотъ верстъ. Потомъ онъ очнулся лишеннымъ разума человѣкомъ, и волостной фельдшеръ отвезъ его за тысячу верстъ въ сумасшедшій домъ ближайшаго губернскаго города, а она осталась одна съ умирающимъ ребенкомъ на рукахъ.

Снова хрустнули пальцы на рукахъ, и съ исказившагося лица смотрѣли дикіе непонимающіе глаза.

Ея Гриша, ея послѣдняя радость...

У него были мягкіе, какъ пухъ, волосы и ручки теплыя, нѣжныя, какъ бархатъ, такъ крѣпко обнимали ея шею, и милый голосокъ говорилъ: ты не люди,—ты мама...

Какъ кричалъ онъ... Двѣнадцать дней, двѣнадцать ночей непрерывнаго крика, а глаза все расширялись и дѣлались огромными, кожа обтягивалась по костямъ, около рта образовались глубокія морщины, губы складывались въ странную улыбку, а ужасные огромные глаза смотрѣли упорнымъ, жестокимъ взглядомъ...

Снова стучалъ молотокъ по крышкѣ гроба. Къ тѣмъ же березкамъ унесли его. Снѣгъ шелъ въ тотъ день...

Она вцѣпилась зубами въ подушку и долго лежала, время отъ времени вздрагивая своимъ худымъ тѣломъ.

Синій парусъ надулся. Тянулъ холодный вѣтеръ и гналъ тяжелыя, мутныя, съ бѣлыми гребнями, волны. Сѣрыя тучи ползли по вершинамъ утесовъ и длинными языками спускались въ поросшія темнымъ лѣсомъ ущелья. Туманъ вставалъ надъ огромной рѣкой. Вытянувши шеи, съ печальными криками летѣла черезъ рѣку огромная стая дикихъ гусей, холодными крупными слезами истекали льдины на берегу.

— Они уходятъ, Варя! Уходятъ!—торжествовалъ проснувшійся Василій Михайловичъ.

Варвара Павловна сидѣла, прислонившись къ чемодану, съ прежнимъ выраженіемъ усталости и холодной скуки на лицѣ.

Воспоминанія все тянутся, сумрачныя, тоскливыя, неотвязныя...

Черезъ полгода вернулся мужъ съ этимъ безумнымъ смѣхомъ на губахъ, съ этимъ разсѣяннымъ, блуждаю-

щимъ взглядомъ и проснувшейся неукротимой, кричащей тоской по родинѣ, вернулся чужимъ для нея.

Этотъ чужой человѣкъ неотступно стоялъ передъ ней, требовалъ ея вниманія, заботы, отвѣта...

Онъ заставлялъ ее слушать то, что онъ называлъ своей симфоніей.— „Ты слышишь, это яблоня пахнетъ!“— говорилъ онъ, прижавши скрипку къ подбородку и смотря на нее безумными восторженными глазами. Она должна была слушать, какъ яблоня пахнетъ, какъ тополь шумитъ, какъ солнце стоитъ надъ степью. Если она отвѣчала невпопадъ, онъ то сердился, то плакалъ, а потомъ опять шли безконечные разговоры о яблонѣ, соловьѣ, о степи и восторженныя мечты о родинѣ.

А она оставалась одна, одинокая, въ этомъ огромномъ полутунгусскомъ селѣ, среди утесовъ и тайги и безумной симфоніи мужа.

Передъ ней проходили долгіе и тоскливые дни, страшныя безсонныя ночи, когда одиночество во всемъ ужасѣ вставало передъ ней, и ей хотѣлось кричать, чтобы нарушить мертвую тишину, а впереди, тамъ, куда съ такой безумной радостью рвался ея мужъ, выплывали такіе же полные одиночества, темные годы, разрушенныя мечты, раздавленная жизнь и рядомъ съ ней—этотъ чужой ей человѣкъ, которому она нужна, отъ котораго она не можетъ, не имѣетъ права уйти...

Синій парусъ надувается. Шесть долгихъ дней, шесть прозрачныхъ, холодныхъ, бѣлыхъ ночей. Мѣняются гребцы, мѣняются лодки. Огромной пеленою въ десять-пятнадцать верстъ ширины развертывается угрюмая рѣка и, какъ птица съ синими крыльями, ныряетъ по волнамъ лодка. Временами утесы сдвигаются, съ ревомъ и пѣной бьется вода о встающіе со дна громадные камни, какъ стрѣла, летитъ мимо нихъ порогомъ лодка,— тогда бѣлокурый человѣкъ съ синими блестящими гла-

зами порывается встать въ лодкѣ, размахиваетъ своей шапкой и громко кричитъ:

— Они уходятъ, Варя, уходятъ!..

II.

Взволнованно и неувѣренно, сбиваясь съ тона, зазвенѣлъ колокольчикъ, глухо застучали камни шоссе подъ колесами тарантаса, лѣнивой рысью побѣжали телеграфные столбы, придорожные пихты и кедры; медленно плыли вдали, окутанныя синей дымкой майскаго утра, темныя горы и закрытыя туманомъ ущелья... Въ тарантасѣ тихо. Возбужденный и радостный Василій Михайловичъ время отъ времени перегибается черезъ перекладину экипажа, критически осматривая дорогу, сѣрой лентой убѣгавшую впередъ между двумя рядами темныхъ деревьевъ, осматривая мохнатыхъ лошаденокъ и сбрую на нихъ и сидѣвшую на козлахъ фигуру ямщика, словно оцѣнивая, туда ли, куда слѣдуетъ, вьется дорога, бѣгутъ ли лошади, надеженъ ли ямщикъ.

Дальше и дальше. Сѣрая дорога все также вьется впереди и бѣжитъ, куда слѣдуетъ; встряхивая гривами, ровной рысью бѣгутъ мохнатыя лошаденки, увѣренно-радостно посвистываетъ ямщикъ; гряда бѣлыхъ облаковъ, какъ-то удивительно чистыхъ и прозрачныхъ, протянулась въ глубокой высотѣ горячаго неба и тихо плыветъ все впередъ, впередъ и впередъ... А колокольчикъ мѣрно покачивается подъ дугой и громко и увѣренно кричитъ по тайгѣ: ѣдемъ, ѣдемъ, ѣдемъ...

— Самого его сіятельство графа Свистунова изъ Херсона-города важивалъ... — слышится голосъ ямщика.—Подкачу, только что крыльца не сворочу, — звѣри, а не кони. Выйдетъ его сіятельство.—Ну,—скажетъ,—молодецъ мерзавецъ! Чай, кони-то краденые?—

Краденые,—говорю,—ваше сіятельство! На водку меньше трехъ цѣлковыхъ—ни Боже мой!

Какъ перепутанные придорожные кусты, безпорядочно и безсвязно проносятся мысли въ головѣ Василія Михайловича.

„Графъ Свистуновъ!“—съ уваженіемъ думаетъ онъ... Сколько столбовъ осталось вонъ до того утеса,—прикидываетъ онъ въ головѣ.—Что жъ, что краденые, если хорошо везутъ!

— Коники вы, коники!—снова слышится голосъ ямщика.—Привезли вы меня, коники, въ страны холодныя, въ палестины здѣшнія. Эхъ, баринъ милый,—оборачивается ямщикъ къ сѣдоку,—увижу коня настоящаго—душа не терпитъ. Бывало, на своей сторонѣ, на ярмаркѣ, гдѣ увидишь... Поведетъ это онъ на меня глазомъ, да начнетъ этакимъ манеромъ ногами перебирать, а у меня сердце дергаетъ, круги въ глазахъ пойдутъ, не стерплю—украду! Сколько бою принялъ, а украду, милый баринъ, украду... Эхъ вы, голуби, соколики мои!--и пронзительный свистъ, какъ дикій вопль, пронесся по тайгѣ.

Вздрогнули и рванулись лошади, вздрогнули и понеслись телеграфные столбы и деревья, черной пастью глянулъ провалъ глубокаго оврага, зеленой лентой метнулась рѣчка, и колокольчикъ не звенитъ, а пригнувшись къ дугѣ залился и кричитъ, и поетъ: „ѣдемъ, ѣдемъ, ѣдемъ“...

Оленья шапка свалилась въ тарантасъ, бѣлокурые волосы мечутся по вѣтру, синіе расширившіеся глаза блестятъ на поблѣднѣвшемъ лицѣ, и взволнованный голосъ глухо шепчетъ: „надбавь!“

— Над-бавь!—кричитъ ямщикъ.—И-ра-ра-ра!—несется по тайгѣ.—И-ра-ра-ра!--отвѣчаетъ тайга.

Распластавшись въ воздухѣ, словно не касаясь зе-

мли, летятъ пристяжки, чуть покачиваясь несется обросшій шерстью, какъ овца, обезумѣвшій иноходецъ и злобно кусаетъ за шеи отстающихъ пристяжекъ и въ дикой ярости не ржетъ, а какъ безумный звѣрь воетъ и реветъ.

— Р-р-рѣжутъ!—весь перегнувшись къ лошадямъ, изступленно кричитъ ямщикъ.

— Р-р-рѣжутъ!—такъ же изступленно кричитъ ему сѣдокъ.

Какъ зайцы пригнули уши къ шеѣ пристяжки, дикимъ ревомъ заревѣлъ иноходецъ, въ безумной свалкѣ заметалась тайга... Тамъ впереди, внизу, гдѣ виднѣется крутой поворотъ дороги, глянула темная страшная пасть глубокой пропасти,—все ближе и ближе... Дико шарахнулась тройка въ сторону къ нависшей надъ пропастью скалѣ, на мгновеніе, на короткій, какъ переходъ отъ жизни къ смерти, мигъ повисло колесо надъ пропастью... Тарантасъ дрогнулъ и качнулся... Глухимъ гуломъ гудитъ дорога, громкимъ вздохомъ прогремѣлъ мостъ, какъ вспугнутыя птицы взнеслась тройка въ гору; рвется вѣтеръ и свиститъ въ уши; колокольчикъ припалъ къ дугѣ и съ жалкимъ ужасомъ выговариваетъ: „а-а-а“.

Думы думаются, думы плывутъ...

На днѣ экипажа, вытянувшись, съ закрытыми глазами, лежитъ худая и блѣдная усталая женщина. Что-то мечется кругомъ, что-то несется мимо нея, что-то гудитъ и кричитъ и звенитъ, но все это неясными тѣнями, смутнымъ шумомъ доносится въ глубину экипажа. Время отъ времени она открываетъ глаза и долго всматривается въ небо, гдѣ тихо плыветъ все впередъ и впередъ бѣлая гряда перистыхъ облаковъ.

Думы думаются и медленной вереницей тихо плы-

вутъ давнія лица, давнія рѣчи, далекое прошлое, дѣтскія грезы...

Тихое, спокойное, ясное прошлое...

Въ четыре—обѣдъ, она изъ гимназіи, дядя изъ канцеляріи. Обѣдъ вдвоемъ все въ той же квартирѣ на Васильевскомъ Островѣ, въ которой они жили, какъ только она помнитъ себя. Все та же Арина, приставшая къ семьѣ, какъ принадлежность мебели... Нѣсколько словъ о гимназіи, о послѣдней книжкѣ журнала, о новой брошюрѣ, а потомъ своя комната и книга, книга, книга и книга и безконечные часы, проведенные надъ ней въ этой своей комнатѣ, безконечныя думы, передуманныя тамъ. Иногда заходилъ дядя, воспитавшій ее съ дѣтства, старый холостякъ, служившій чиновникомъ и писавшій статьи по спеціальнымъ вопросамъ въ журналахъ, садился на маленькую кушетку у ея стола и развивалъ свою любимую теорію о распутствѣ мысли и объ отсутствіи внутренней дисциплины, составляющихъ, по его мнѣнію, главное зло Россіи.

Она не была повинна ни въ томъ, ни въ другомъ. И у себя, и въ тѣхъ двухъ-трехъ домахъ, гдѣ она бывала, она встрѣчала тотъ же дѣловой суховатый тонъ, то же размѣренное время, ту же дисциплину, о которой такъ много хлопоталъ дядя. Этой дисциплины было много въ самомъ Петербургѣ, въ его „линіяхъ“ и „проспектахъ“, въ темноватыхъ тонахъ однообразно вытянутыхъ, безъ красокъ и рельефовъ, голыхъ каменныхъ домовъ, въ вѣчныхъ сумеркахъ, сѣрой тучей окутывавшихъ холодно-величественный и дѣловито-дисциплинированный городъ „безъ почвы, безъ климата, безъ явленій природы“, какъ любилъ называть его Василій Михайловичъ.

Она выростала одна, сдержанная и замкнутая, какъ всѣ одиноко растущія дѣти, немного скептичная, безъ

кричащихъ порывовъ довольная своимъ одиночествомъ, вырабатывавшая свою дисциплину.

Гимназія кончилась, начались курсы. Рамки жизни раздвигались, вставали вопросы болѣе крупные, болѣе отвѣтственные, кругомъ были новые люди; а интимная жизнь ея текла по старому руслу, такая же ясная, размѣренная.

Тогда-то въ ея обстановку, въ интимную жизнь ворвалось это бѣлокурое безуміе съ синими глазами, съ пѣсней на губахъ, съ мечтой во взглядѣ, съ порывами и восторгами, съ огромнымъ запасомъ вѣры, съ шумной экспансивностью юга. На правахъ какого-то троюроднаго племянника ея дяди онъ чувствовалъ себя совершенно свободно, какъ у себя дома, — приходилъ, когда вздумается, сидѣлъ подолгу, пѣлъ, игралъ на рояли. Вначалѣ ее раздражали его метанья и порывы, растрепанность артистической натуры, какъ раздражала его манера вѣчно задѣвать стулья, ронять стаканы, разливать чай и супъ по скатерти; но вмѣстѣ съ тѣмъ съ его появленіемъ въ застоявшуюся атмосферу квартиры на Васильевскомъ Островѣ ворвалось что-то новое, неизвѣстное ей, самъ югъ, какъ рисовался онъ ей, съ его красками и цвѣтами, солнцемъ и пѣснями,—что-то свѣтлое, горячее...

Онъ такъ быстро рѣшалъ тѣ вопросы, къ которымъ она подходила съ сомнѣніемъ и тревогой, которые она долго вынашивала въ своей душѣ...

Ей вдругъ съ поразительной яркостью вспомнилась одна сцена тамъ на дачѣ, гдѣ Василій Михайловичъ гостилъ у нихъ нѣсколько дней. Она поспорила, кто первый добѣжитъ до рѣки. По знакомой тропинкѣ она добѣжала раньше и торжествующая стояла въ лодкѣ, отпихнувшись отъ берега, когда наверху крутого обрывистаго берега показался ея спутникъ. Ей казалось,

что она какъ сейчасъ видитъ, какъ онъ съ разбѣгу, въ чемъ былъ, бросился въ рѣку и поплылъ къ ней...

Все вспоминается...

Она любила ходить съ нимъ въ оперу,—онъ лучше ея понималъ музыку и умѣлъ объяснять ей. Послѣ—чай у нея на Васильевскомъ... Изъ полуосвѣщенной гостиной доносились въ столовую только что слышанные мотивы, то, что понравилось ей въ театрѣ. Она — поклонница классической музыки—всегда ссорилась за то, что Василій Михайловичъ ничего не игралъ правильно и всюду вносилъ личное настроеніе, но вмѣстѣ съ тѣмъ именно это, его своеобразная манера играть, и нравилось ей. Ясно вспомнился тотъ вечеръ, послѣ Фауста... „Посидите немножко"... остановилъ онъ ее, когда она пришла звать къ чаю. Она присѣла и заслушалась.

Развѣ она помнитъ, что онъ игралъ? Она понимала тогда... Время отъ времени онъ поворачивалъ къ ней строгое, какого она не видала прежде, лицо съ потемнѣвшими глазами и смотрѣлъ на нее... Она кивала головой, его лицо свѣтлѣло, и онъ снова игралъ. Пришелъ дядя также звать къ чаю и также остался въ углу съ книгой въ рукахъ... А звуки носились въ полуосвѣщенной, затихшей комнатѣ, зовущіе, ждущіе. Она такъ понимала, что говорилъ рояль...

Когда они прощались въ передней, онъ задержалъ ея руку въ своей и заглянулъ ей въ глаза долгимъ спрашивающимъ взглядомъ, но ничего не сказалъ...

Онъ сказалъ потомъ, и она сказала... Такъ быстро случилось. Дисциплина не спасла ее,—она также съ разбѣгу, безъ оглядки . . . . . .

. . . . . .

— Тамъ пошаливаютъ...—убѣждаетъ станціонный смотритель.—Ночь темна, дорога худая.

— Эхъ, смотритель! Ночь свѣтла какъ заря, а дорога... ведетъ домой. Съ Богомъ, ребята!

Три мужика, державшіе подъ уздцы полуобъѣзженныхъ лошадей, бросаются въ сторону, въ карьеръ срываются лошади.

Дальше ямщикъ, пой колокольчикъ свои пѣсни!

И колокольчикъ снова поетъ, что пропала угрюмая рѣка, ушли назадъ синія горы, что путники ѣдутъ домой, что-то дурное осталось позади, а впереди выростаетъ свѣтлое, родное...

III.

Тайга воетъ, рѣка реветъ, льдины лѣзутъ на берега и кандальный звонъ, лязгъ цѣпей... Больше ничего,— люди молчатъ, птицы молчатъ.

Красокъ никакихъ... Только струнный оркестръ, скрипки въ унисонъ, а віолончель соло. Что тутъ віолончель пѣть будетъ! Василій Михайловичъ вздрогнулъ. Жалобы и угрозы, угрозы и жалобы...

День и ночь, цѣлую недѣлю стучитъ колесами пароходъ,—все та же сѣрая мутная пелена еще льющейся Оби, безконечные низкіе острова, безчисленные проливы, безбрежная даль...

— Ты ничего не прибавишь въ первую часть?—говоритъ Василій Михайловичъ, облокотясь о бортъ парохода, своей женѣ, кутавшейся въ темный платокъ и, какъ онъ, цѣлыми днями не уходившей съ палубы. Онъ разсказываетъ свою симфонію, которую онъ напишетъ, воротившись въ Россію.

— Какую-нибудь теплую ноту, что-нибудь примиряющее?

Она плотнѣе, съ головой, укуталась въ платокъ и глухо отвѣчала:

— Ничего.

— Я тоже думаю, что это будетъ невѣрное настроеніе.—Онъ задумывается и медленно, подыскивая слова, говоритъ:

— Мнѣ даже хотѣлось бы чѣмъ-нибудь выразить безпомощность, тоску одиночества, — вставить какую-нибудь мелодію. Что-нибудь въ родѣ плача ребенка, затерявшагося въ тайгѣ. Понимаешь,—какъ это было бы хорошо!

Она вздрогнула и быстро отвѣтила:

— Не надо, не надо...

— Ты думаешь,—не надо? Можетъ быть... Я подумаю. Теперь слушай, вторая часть...

Разсказчикъ воодушевляется, пальцы бьютъ по борту, словно то были клавиши рояля.

— Смѣхъ врывается... Веселый смѣхъ, ликующіе радостные звуки. Народу много, дѣтей,—въ особенности дѣтей,—такъ вѣдь никто не смѣется. Флейта входитъ... Смѣхъ растетъ, ширится, становится громче, цимбалы звенятъ, трубы трубятъ, барабаны бьютъ, колокола звонятъ. Въ родѣ марша,—восторгъ такой... А то все уходитъ,—тайга и цѣпи, и становится свѣтло, ярко, ослѣпительно. И кругомъ все смѣхъ, смѣхъ...

Онъ жестикулировалъ руками, говорилъ громко и возбужденно, но скоро затихъ и упавшимъ голосомъ выговорилъ:

— Третья часть все не выходитъ... Косари идутъ на работу и поютъ, жаворонокъ имъ вторитъ, а что они поютъ, не знаю.—Онъ помолчалъ и повторилъ:—Не знаю.

Василій Михайловичъ долго ходилъ кругомъ парохода, опустивши голову.

...— Главное дѣло въ контрастѣ. Въ родѣ пробужденія веселаго язычества послѣ средневѣковщины. И торжество смѣха. Люблю я язычество,—оно такое свѣтлое

и широкое и въ немъ такъ много веселья и радости. А то все мученичество. Гдѣ мученичество, тамъ и мучительство.

— Гдѣ мучительство, тамъ и мученичество...—поправляетъ Варвара Павловна, но онъ нетерпѣливо отмахивается рукой и продолжаетъ говорить:

— Не все ли равно! Всегда вмѣстѣ, а я не хочу ни того, ни другого.—Онъ помолчалъ.—Ни цѣпей, ни слезъ...

...— У насъ смѣху мало, мы смѣяться не умѣемъ. Вѣдь смѣхъ и есть настоящее общественное чувство, одинъ смѣхъ, а горе всегда эгоистическое, антиобщественное настроеніе, уродство, мучительство...

Варвара Павловна оборотилась и внимательно всматривалась въ лицо мужа. Она выглядѣла спокойнѣе и лучше, и ея лицо не казалось такимъ больнымъ и измученнымъ. Послѣ безумной скачки, звону и криковъ ее успокаивалъ мѣрный ровный стукъ пароходныхъ колесъ и ей даже нравилась развертывавшаяся передъ ней однообразная картина безъ рѣзкихъ выступовъ, безъ угловъ—эта сѣренькая, пустынная даль.

...— Ты не понимаешь, что я хочу сказать? Мы сходимся только хоронить мертвыхъ... Зачѣмъ дѣлить горе, да и развѣ можно дѣлить его? Вѣдь всякій горюетъ по-своему, да и одному легче переносить. А если я совсѣмъ не хочу горевать, зачѣмъ ты меня тащишь? Это насиліе, это эгоизмъ, это безнравственно въ общественномъ смыслѣ. Потомъ... — Василій Михайловичъ все возбуждался.—Отъ горя умираютъ, а отъ радости оживаютъ, и радуются люди всѣ одинаково, — смѣются. Смѣхъ и есть настоящее общественное, человѣческое настроеніе. Пришла радость, отворяй ворота, пиръ устраивай, зови весь міръ. А горе держи про себя.

— Горе... какъ ты сказалъ?—переспросила Варвара Павловна.

— Горе про себя, а радость для всѣхъ.

...— Кажется въ Дрезденѣ картина такая... — Онъ раздражался и говорилъ сердитымъ голосомъ.—Лежитъ живой человѣкъ съ распоротымъ животомъ, а рядомъ стоятъ люди и на вертящійся валъ наматываютъ кишки его. Фу, мерзость... Ненавижу я это... Средневѣковщину, вашу достоевщину... Кажется у васъ однихъ, великороссовъ, люди запирались въ сараи и поджигали себя со всѣхъ концовъ.

Василій Михайловичъ снова затихъ, долго смотрѣлъ затуманенными глазами въ безбрежную даль рѣки и растроганнымъ голосомъ тихо говорилъ:

— Вѣдь жизнь и безъ того горька, Варя! У кого нѣтъ своихъ думъ. Помнишь?

„Чомъ васъ вітеръ не розвіявъ,
Якъ въ полі былину,
Чомъ васъ лихо не приспало
Якъ тую дытину?
„Поливали слезы, чомъ не затопили?

— Мало ли тѣхъ, кто журится, нудитъ світомъ, у кого лихо на сердцѣ! Будетъ, будетъ...—заволновался онъ.—Смѣху нужно, радости, веселья.

— Ну, и пусть смѣется, кто можетъ...—Голосъ Варвары Павловны звучалъ рѣзко и сухо, а глаза смотрѣли холодно и презрительно.—Ну, конечно... Риѳмованное горе, подсахаренныя слезы... Какой у васъ Достоевскій? Развѣ лихо—горе, развѣ журьба ваша—тоска? Маленькія слова у васъ, маленькія горя... Понимаете ли вы, что такое настоящее горе, знаете ли вы, что такое тоска,—понимаешь ли ты, что такое тоска, тоска?—выкрикивала она.

— Что ты говоришь? Что ты говоришь?

Она опомнилась. Лицо мужа сморщилось, какъ отъ физической боли и разсерженнымъ и жалующимся го-

лосомъ, въ которомъ слышались слезы, онъ повторялъ:

— Зачѣмъ ты говоришь это? Что такое тоска? Зачѣмъ тоска? Не хочу я тоски. Не хочу я тоски...

— Ты прости меня, Вася...—говорила Варвара Павловна въ каютѣ.—Я не знаю, какъ сорвалось у меня. Мнѣ взгрустнулось, я все забыть не могу... Вѣдь ты правъ, — горе про себя, а радость для всѣхъ. У васъ здоровѣе чувство, вѣдь вы раціоналисты... И ласки у васъ больше, и теплѣе и мягче... Ахъ, если бы я смѣяться могла...

Ея глаза смотрѣли ласково и голосъ звучалъ мягко и искренно.

IV.

— Вѣдь мы въ Россіи, Варя, въ Россіи! Ты понимаешь это? Говорятъ, въ тройкѣ поэзія,—поѣздъ, вотъ поэзія! Ты чувствуешь, какъ мы несемся? Вспомни, какъ мы ѣхали,—лодка, лошади, пароходъ, и теперь поѣздъ. Все шибче, шибче... Смотри, какъ мы несемся!

Василій Михайловичъ всталъ и долго смотрѣлъ въ открытое окно вагона, какъ убѣгаетъ назадъ длинная изогнутая линія рельсъ, какъ несутся мимо ели и пихты, смутно рисуются вдали, прорѣзавшія горизонтъ, волнистыя линіи сопокъ. Ему сдѣлалось смѣшно, что еще недавно онъ боялся этихъ горъ и этихъ темныхъ деревьевъ.

— Ну-ка лови! Чорта лысаго...—Онъ громко разсмѣялся. Пассажиры вздрогнули, но Василій Михайловичъ оглядѣлся кругомъ съ такой веселой благожелательной улыбкой, что многіе также улыбнулись.—Ты слышишь, Варя, какъ рельсы поютъ?—говорилъ онъ, укладываясь на жесткую лавочку третьеклассного вагона.—„Тутъ я, тутъ я, ѣдемъ, ѣдемъ“...—Онъ закрылъ глаза

и улыбаясь прислушивался. А рельсы пѣли удивительно.. Вотъ совершенно явственно поетъ Ноденъ свою арію въ Трубадурѣ... —Василій Михайловичъ открываетъ ротъ и тихо, слышнымъ только ему самому, голосомъ подпѣваетъ. А вотъ,—„разскажите вы ей“ даже еще лучше слышно. И ничего не стоитъ услыхать все, что хочешь, только нужно прислушаться. Арія изъ Пророка... Даже не одну музыку—голоса всякіе, сцены. Вотъ Ермолова зоветъ народъ въ „Овечьемъ Источникѣ“.

Онъ вытягивается во всю длину лавки, поправляетъ подушку и снова закрываетъ глаза. Вагонъ тихо покачивается. Такъ удобнѣе слушать. Цѣлыя оперы... Раздается звонокъ, это антрактъ. Опять звонокъ, взвивается занавѣсъ и снова идетъ дѣйствіе... Ему хочется посмотрѣть, какъ бѣгутъ деревья, какъ смотрятъ горы, но голова никакъ не можетъ отдѣлиться отъ подушки и антрактъ ужасно длиненъ, колокольчикъ все звенитъ и стучатъ по дорогѣ копыта лошадей, и онъ никакъ не можетъ вслушаться, что поютъ рельсы,—только откуда-то издалека, замирая, доносится: „тутъ я, тутъ я, ѣдемъ, ѣдемъ, тутъ, тутъ“...

Пароходъ пришелъ въ Тюмень за нѣсколько часовъ до отхода поѣзда. Василій Михайловичъ обнаружилъ необыкновенную дѣятельность. Онъ сбѣгалъ въ городъ, остригся, купилъ себѣ сѣрую шляпу и сѣрое лѣтнее пальто и вернулся рѣшительнымъ франтомъ. На вокзалѣ онъ не имѣлъ ни минуты покоя и его все восхищало — удушливый дымъ каменнаго угля, несшійся отъ паровозовъ, звонки, бѣготня артельщиковъ, суетливая хлопотливость пассажировъ. Имѣлъ интимный разговоръ съ буфетчикомъ насчетъ движенія публики, съ удовольствіемъ узналъ, что съ навигаціей публики всегда бываетъ „куда больше“, и охотно сообщилъ, что и онъ пріѣхалъ бы раньше, да все рѣка Ангара не пускала.

Послѣ отправился бродить по разбѣгавшимся во всѣ стороны рельсамъ, гдѣ сновали попыхивавшіе дымкомъ паровозы, разыскалъ тотъ, который долженъ везти ихъ поѣздъ,—новенькій блестящій паровозъ; поссорился было съ кочегаромъ насчетъ здѣшнихъ мѣстъ и харьковскихъ, но потомъ помирился, когда тотъ призналъ, что тамошнія мѣста лучше здѣшнихъ, и разстался совершеннымъ пріятелемъ, когда кочегаръ далъ слово хорошенько подкормить коня и везти какъ слѣдуетъ. Уходя, Василій Михайловичъ даже похлопалъ рукой блестящій бокъ стального коня.

Онъ спалъ глубокимъ крѣпкимъ сномъ, какъ не спалъ за все время дороги. Въ Екатеринбургѣ, гдѣ приходилось мѣнять поѣздъ, его разбудили съ большимъ трудомъ; сонный и ничего не понимающій перешелъ онъ въ новый вагонъ, легъ на первую попавшуюся лавочку и тотчасъ же снова уснулъ какъ убитый.

Проснулся онъ поздно ночью, когда въ вагонѣ горѣли свѣчи, проснулся отъ дѣтскаго плача, раздававшагося въ томъ углу, гдѣ сидѣла жена его.

— Ку-у-клу Мишка за окошко бросилъ... —хныкалъ кто-то.

— Какую куклу?

— Съ гла-азами... Лежитъ—спитъ, поставишь—смотритъ... крестна дала, Окуневска барыня...

Василій Михайловичъ поднялся и началъ всматриваться въ еле освѣщенный уголъ. Уткнувши голову въ колѣни жены, стояла дѣвочка лѣтъ семи-восьми и плакала, а надъ ней наклонилась Варвара Павловна и утѣшала дѣвочку, тихо разглаживая бѣлесоватые спутанные волосы.

— Вотъ подожди, пріѣдемъ въ Казань, я тебѣ куплю куклу еще лучше.

— А есть въ томъ городу такія-то куклы!—сомнѣвается дѣвочка.—Съ глазами?

Она подняла голову, на минуту закрыла глаза и снова открыла.

— Этакъ?

— Такъ, такъ...—успокаиваетъ Варвара Павловна.

— Я ее, тетенька, въ укладку спрячу,—говоритъ утѣшившаяся дѣвочка.—А тятькѣ скажу, чтобы онъ Мишку за волосья оттаскалъ. Пущай не озорничаетъ...

Дѣвочка вскарабкалась на лавочку рядомъ съ Варварой Павловной и скоро заснула.

Василій Михайловичъ проснулся съ какимъ-то страннымъ ощущеніемъ. Внутри было пусто и холодно, сердце тревожно билось, голова слегка кружилась. Что-то словно оборвалось; онъ съ удивленіемъ оглядывался на спящій вагонъ, и плачъ дѣвочки странно волновалъ его. Онъ сжалъ руками голову и долго и напряженно думалъ. Что-то хотѣлось вспомнить, что-то уяснить себѣ...

Дѣвочка спала. Вагонъ покачивался и глухо перезванивалъ. Мимо окна цѣлыми снопами летѣли искры отъ паровоза; темными уродливыми силуэтами, то ярко вспыхивая, то снова погружаясь въ тьму, неслись деревья.

Чуть освѣщенный уголъ вагона смутно темнѣлъ. Прорвавшаяся сквозь закрытый фонарь полоса свѣта падала на головку спящей дѣвочки и на лежавшую на ней руку Варвары Павловны. Онъ долго, съ изумленіемъ, словно видѣлъ въ первый разъ, разсматривалъ худые тонкіе пальцы, узкія плечи съ безсильно свѣсившимися руками, всю усталую фигуру жены, сидѣвшей съ закрытыми глазами въ углу вагона.

Василій Михайловичъ вздрогнулъ и острой болью кольнуло его въ сердце. Чувство глубокой жалости и

безконечной грусти и еще чего-то, въ чемъ онъ не могъ дать себѣ отчета, поднималось и росло въ немъ. Тихо ступая на носкахъ, онъ перешелъ въ уголъ вагона, на мгновеніе отдернулъ занавѣску фонаря и снова закрылъ. Въ свѣтѣ фонаря на него глянуло худое, словно незнакомое ему лицо, глубоко запавшіе, окруженные темными кругами и мелкими морщинами глаза, посѣдѣвшіе волосы и тонкія блѣдныя губы, сложенныя печально и жалобно. Не отдавая себѣ отчета, онъ наклонился и прильнулъ губами къ бѣлѣвшей на головѣ дѣвочки маленькой рукѣ жены.

Варвара Павловна вздрогнула и открыла глаза.

— Что съ тобой?

Онъ всматривался въ ея лицо, словно изучалъ его, и молчалъ.

— Что съ тобой?

— Я не знаю,—медленно отвѣтилъ онъ.—Прости, что разбудилъ. Я все смотрѣлъ, когда ты спала, и думалъ, отчего у тебя такое блѣдное лицо и сѣдые волосы и усталые глаза.

Она испуганно и недоумѣвающе вглядывалась въ поблѣднѣвшее растроганное лицо мужа и вслушивалась въ давно не слышанный тонъ его голоса.

— Устала отъ дороги, вотъ и все,—попробовала она улыбнуться.—Вотъ подожди, пріѣду,—отъѣмся.

— Словно я не видалъ тебя давно, давно...—не слушая, также медленно говорилъ онъ,—да и, кажется, ничего не видѣлъ. Я не знаю, что со мной... Неловко какъ-то, пусто. Словно я бѣжалъ куда-то и упалъ въ яму,—холодную, темную яму и ты ушла отъ меня.

Онъ помолчалъ и тихо выговорилъ:

— Ты не ушла отъ меня?

Она слышала и молчала. Онъ заговорилъ еще тише.

— Можно тебѣ предложить одинъ вопросъ, большой вопросъ?

— О нѣтъ, нѣтъ... — съ испугомъ остановила его Варвара Павловна.—Я ничего не знаю, не предлагай мнѣ никакихъ вопросовъ. Я устала и не могу ни о чемъ думать. Мнѣ только отдохнуть хочется. Пожалуйста, Вася!..

Она замѣтила удрученное выраженіе лица мужа и тихо и ласково докончила:

— Я вѣдь ничего не говорю, Вася... Я сказала только, что ничего не знаю.

Онъ снова поцѣловалъ ея руку, вернулся къ своему окну и долго сидѣлъ, не двигаясь.

Вставало блѣдное, холодное утро. Съ блестѣвшими на вѣтвяхъ каплями отъ ночного тумана, деревья стояли тихія и усталыя, надъ ущельями и рѣчными долинами еще висѣлъ туманъ, изъ-за дальнихъ ощетинившихся горъ розовѣло небо и зеленыя верхушки ближнихъ елей чуть свѣтились.

Василій Михайловичъ сидѣлъ у открытаго окна вагона. Въ его головѣ не было ни соловья, ни яблони, ни симфоніи, глаза его были ясны и грустны, лицо спокойно и задумчиво.

Онъ думалъ о томъ, что тамъ внизу подъ туманомъ, какъ встанетъ солнце и какой будетъ день, что встрѣтитъ его впереди за этой стѣной темнаго лѣса...

А зеленыя верхушки все розовѣли, и рельсы звенѣли такъ грустно...

V.

На Волгѣ шумно. Свѣтлый день разгорается надъ рѣкой. Тяжело загребая воду широкими лопастями колесъ и оставляя за собой длинныя борозды разбѣ-

гающихся волнъ, медленно двигаются вверхъ могучіе буксирные пароходы. Длинными вереницами тянутся за ними огромныя темныя баржи съ хлѣбомъ; съ развѣвающимися на мачтахъ флагами на цѣлую версту растянулась флотилія маленькихъ, глубоко сидящихъ въ водѣ желѣзняковъ; медленно ползетъ, грузно упираясь въ воду широкой грудью, развалистая бѣляна съ блестящими на солнцѣ бунтами мочала, съ бѣлыми, какъ снѣгъ, домиками изъ липовыхъ бревенъ.

Съ короткимъ стукомъ колесъ и веселыми окриками торопливо бѣгутъ сверху порожняки; быстро разсѣкая воду могучей грудью великолѣпно несется, какъ блестящій бѣлый дворецъ, пассажирскій пароходъ...

Они встрѣчаются, долго кричатъ, словно окликающіе другъ друга въ шумной толпѣ улицы люди, долго машутъ другъ другу бѣлыми флагами, переговариваются въ рупоръ и снова расходятся; а между ними снуютъ одинокія лодочки и неуклюжія косныя, словно пѣшеходы, перебѣгающіе улицу между быстро несущимися экипажами...

Свѣтло и весело въ Троицынъ день на широкой улицѣ Волги.

Зеленыя березки красиво выдѣляются на фонѣ блестящихъ свѣжими красками пароходовъ, зелеными березками убраны темныя баржи, бѣлые домики бѣлянъ, переполненныя праздничной толпой пристани. На палубѣ длинной баржи, рядомъ съ увитой гирляндами изъ березовыхъ вѣтвей рубкой, самоваръ медленно дымится тонкой струйкой синяго дыма; а на кормѣ, спустивши за бортъ надъ водой голыя ноги, молодой парень въ розовой топорщущейся рубашкѣ съ густо намасленными и расчесанными волосами играетъ на гармоникѣ и выцвѣтшими на солнцѣ глазами смотритъ на широкую улицу, на синее небо, въ свѣтлую даль...

А берега тихо плывутъ... Плывутъ зеленѣющіе свѣжей листвой дубовые лѣса, плывутъ раскинувшіеся по склонамъ горъ сады съ нѣжно-розовыми и бѣло-молочными пятнами облитыхъ цвѣтомъ вишенъ и яблонь, мелькаютъ вдали старыя дворянскія усадьбы, умирающія подъ шумъ вѣчно-юной рѣки и немолчный ревъ волжскихъ пароходовъ. Изрѣдка блеснетъ золотой крестъ сельской церкви и далекимъ отзвукомъ пронесется по рѣкѣ радостный звонъ колоколовъ. А на вершинѣ высокой горы, вдвинувшейся въ рѣку, то показываясь на гребнѣ, то снова скрываясь за нимъ, словно вѣнчая гору ярко-цвѣтной короной, кружится пестрый хороводъ. Вотъ сорвался съ крутого берега и повисъ надъ рѣкой долгій, протяжный мотивъ далекой пѣсни...

Крикливой толпой, перегоняя другъ друга и кидаясь за крошками хлѣба, который бросаютъ имъ пассажиры, носятся кругомъ парохода бѣлоснѣжныя чайки. У борта парохода съ кускомъ хлѣба въ рукѣ стоитъ Варвара Павловна и оживленно слѣдитъ, какъ красивыми зигзагами носятся чайки, быстро падаютъ въ рѣку и снова взносятся и слѣдятъ за ней жадными любопытными глазами. Рядомъ съ ней стоитъ маленькая дѣвочка и держитъ въ одной рукѣ кусокъ хлѣба, а въ другой—куклу, которая и спитъ и смотритъ, купленную ей въ Казани Варварой Павловной. Молоденькая чайка съ маленькимъ клювомъ и острыми зоркими глазками, красиво распластавшись въ воздухѣ своимъ бѣлымъ тѣломъ, подлетѣла снизу и вырвала весь кусокъ изъ рукъ дѣвочки. Она пугливо отскочила отъ борта и охватила колѣни Варвары Павловны.

— Что, Настя, испугалась?—улыбаясь спросила Варвара Павловна.

— Ишь какая вострая...—оправдывается Настя.—А глàзы-те, глàзы-те у ее, тетенька!

Варвара Павловна очень измѣнилась за дорогу. Она загорѣла и выглядѣла свѣжѣе и здоровѣе. Особенно красила ее улыбка. Морщины разглаживались, немного холодное лицо молодѣло и дѣлалось милымъ и нѣжнымъ, и вся она въ эту минуту съ своей худенькой, дѣвичьей фигурой въ свѣтлой лѣтней кофточкѣ, съ непокрытой головой, съ раскраснѣвшимся на солнцѣ и улыбающимся лицомъ казалась молодой, изящной и красивой.

Сзади нея на лавочкѣ сидѣлъ Василій Михайловичъ, осунувшійся, затихшій и грустный. Съ той ночи въ вагонѣ онъ не переставалъ всматриваться въ лицо жены; съ безмолвнымъ участіемъ и съ выраженіемъ тревоги въ глазахъ онъ слѣдилъ за ней, заботился объ ея покоѣ и удобствахъ, устраивалъ на пароходѣ, носилъ и раскладывалъ вещи, избѣгая вопросовъ и длинныхъ разговоровъ, отвѣчая только на ея вопросы. То чувство пустоты и проснувшейся тревоги не покидало его и прежнее острое возбужденіе смѣнилось апатіей и усталостью. Его глаза щурились отъ яркаго солнца и сверкавшей рѣки, ему было не по себѣ среди этой массы оживленныхъ пассажировъ, наполнявшихъ пароходъ, и суетливое движеніе Волги утомляло его. Ему начинало думаться, что онъ чужой среди этого шума и блеска, что онъ изжилъ все и отставленнымъ инвалидомъ ѣдетъ неизвѣстно куда и неизвѣстно зачѣмъ, никому и ничему не нужный, ни на что не годный. Какой-то неопредѣленный страхъ и смутная тоска поднимались въ немъ, словно ожиданіе чего-то неотвратимаго, предчувствіе какого-то огромнаго несчастія, которое должно обрушиться на него.

Его глаза внимательно слѣдили за измѣнившимся возбужденнымъ лицомъ жены.

— Устала стоять...—говорила Варвара Павловна, са-

дясь на скамейку.—Отъ чаекъ отстать нельзя. Онѣ такія милыя...

— Да... Только какъ онѣ рвутъ другъ у друга. И нахальныя какія...—сказалъ, чтобы что-нибудь сказать, Василій Михайловичъ.

— Не нахальныя онѣ, а жадныя... жить жадныя,— летать, бороться, кричать...—Она смотрѣла на чайку, словно застывшую въ воздухѣ и только тихо трепетавшую бѣлыми крыльями.

— Ты не мечталъ въ дѣтствѣ птицей сдѣлаться?

— Нѣтъ...—Василій Михайловичъ помолчалъ и улыбнулся —Я чабаномъ хотѣлъ быть.

— А я птицей... Не чайкой,—цаплей.—Она тоже улыбалась и медленно говорила.—Помню, цапля летѣла. Одна,—высоко, высоко... И такъ кричала... Мнѣ не сидится—проговорила она, вставая,—походимъ.

Они пошли кругомъ парохода. Василій Михайловичъ слѣдилъ за ея глазами, смотрѣвшими на высокій зеленѣвшій берегъ.

— Хочешь, я тебѣ скажу, о чемъ ты сейчасъ думаешь?—заговорилъ онъ.—Какъ хорошо было бы не ѣхать въ эту молчаливую, выжженную степь, а остаться здѣсь, вотъ въ такой усадьбѣ,—онъ указалъ глазами на виднѣвшійся въ полугорѣ старый барскій домъ съ уходящимъ вдаль паркомъ,—смотрѣть, какъ чайки носятся, слушать, какъ поютъ пароходы, плещетъ въ бурю рѣка... Да, вѣдь?

— О, нѣтъ,—коротко отвѣтила она.

— О чемъ же ты думаешь?

— Ни о чемъ. То-есть не о томъ, что будетъ, а о томъ, что есть.

— Я не понимаю.

— Все равно... А ты о чемъ думаешь? О будущемъ?

— И о будущемъ...—не сразу отвѣтилъ онъ.—Мнѣ оно представляется такимъ смутнымъ, тяжелымъ... Слов-

но я зачисленъ въ запасъ. Или представь себѣ свѣтское общество: является человѣкъ въ костюмѣ прошлаго вѣка и начинаетъ говорить о новостяхъ дня,- о madame Жанлисъ, о графѣ Калліостро,—такъ и я. Все мнѣ чужимъ представляется.

Она, оказалось, вслушивалась въ то, что происходило внутри ея и, отвѣчая на свои собственные вопросы, говорила:

— Это не то... Все это пустяки. Дѣло не въ томъ, какъ жить и что будетъ, а въ томъ, есть ли жизнь. Жизнь есть ли,—повторила она.

Онъ смотрѣлъ удивленно на ея задумавшееся лицо и сказалъ:

— Я опять не понимаю.

— Ну, просто жизнь,--хочется ли жить... Есть ли потребность движенія, борьбы, вообще жадность жизни... Вотъ какъ у чаекъ этихъ...

Варвара Павловна говорила тише и медленнѣе, и сѣрый тонъ скуки и равнодушія снова ложился на ея лицо. Разговоръ оборвался, она молча повернулась и ушла въ свою каюту, а Василій Михайловичъ проводилъ ее долгимъ тревожнымъ взглядомъ и остался одинъ.

Кругомъ носились чайки и плыли зеленые берега, и все было такъ печально.

VI.

Пароходъ долго грузился у маленькой безлюдной пристани. Спускался вечеръ, синѣло небо, темнѣла рѣка. Съ затопленныхъ луговъ, съ разлившихся озеръ поднялась голубоватая дымка и окутала рѣку. Засвѣтились звѣзды, неясныя, блѣдныя, загорѣлись красные и зеленые огни пароходовъ, закачались, какъ колеблющіяся звѣзды, фонари на высокихъ мачтахъ баржей. Зажглись бакены и

свѣтлыми точками разбѣжались по рѣкѣ; ярко разгорается костеръ на плоту, приставшемъ на ночь къ берегу, недалеко отъ пристани, и странно фантастически освѣщаются красныя лица рабочихъ около котелка. Горы потемнѣли и легли на рѣку темными извилистыми линіями.

Звуки несутся по рѣкѣ. Словно изнемогая отъ усилій, вырывается ревущій басъ буксира-великана, звонкій теноръ отвѣчаетъ ему сверху, торжественно властнымъ баритономъ прозвучалъ пассажирскій пароходъ, словно передразнивая его; такимъ же баритономъ запѣлъ маленькій, какъ лодка, пароходикъ, но сорвался и запѣлъ жалкой и смѣшной фистулой; гдѣ-то вдали, какъ встревоженный улей пчелъ, глухо гудитъ старческій разбитый басъ.

Вечеръ спускался, темнѣли горы, зыбь побѣжала по рѣкѣ... Вотъ дрогнувшимъ голосомъ засвисталъ соловей и, словно испугавшись, замолкъ. Съ высоты, почти изъ-подъ самой вершины горы, ему отвѣтилъ другой соловей; тишина вздрогнула, и изъ густой заросли, покрывавшей горы, понеслись властно зовущіе, напряженно ждущіе крики...

Василій Михайловичъ сидѣлъ одинъ на передней площадкѣ парохода. Онъ ни о чемъ не думалъ, ничѣмъ не тревожился, ни о чемъ не спрашивалъ, — онъ весь отдался очарованію тихо плывущей, сладкой вѣсенней ночи. Пароходъ мѣрно покачивался; какъ тихая сказка журчала бившаяся о пароходъ рѣка, временами волна теплаго, застоявшагося воздуха долетала съ горы и несла съ собой запахъ цвѣтущихъ яблонь, черемухи, рябины, тотъ прѣсный, сладкій ароматъ, отъ котораго глубоко вздыхаетъ грудь. Сердце тихо и ровно билось, голова туманилась, смутной толпой тѣснились обрывки какихъ-то безсвязныхъ мыслей, отяжелѣвшія вѣки опу-

скались и снова поднимались. Василій Михайловичъ на минуту открываетъ глаза и на мгновеніе предъ нимъ встаетъ на плоту облитой яркимъ пламенемъ костра высокій человѣкъ, мелькаетъ поднятое къ небу большое бородатое лицо и крѣпко прижатые ко лбу пальцы...

Ему почудилось, что все ушло назадъ и впереди встаетъ что-то ослѣпительно яркое, отчего исчезли темныя горы и стальнымъ оттѣнкомъ зыблющаяся рѣка. Онъ открылъ глаза и поднялъ голову. Впереди, въ туманѣ голубой дымки прямо на него шла яркая, блещущая всѣми цвѣтами звѣзда. Она вырисовывалась все ярче, дѣлалась все ослѣпительнѣе... Словно ажурный, тонко вырѣзанный и прозрачный, тихо плылъ мимо огромный пассажирскій пароходъ. Въ залитомъ электричествомъ залѣ сквозь открытыя окна виднѣлось большое общество. Съ парохода неслась музыка. „Не для меня придетъ весна“... слышался голосъ. Въ полной народа гостиной парохода можно было различить коротко остриженную черную голову пѣвца и наклонившуюся надъ піанино молодую женскую фигуру.

Тихо-тихо, замедливши ходъ, но не останавливаясь у пристани, совсѣмъ близко проплылъ мимо сверкающій пароходъ, унося съ собой блескъ огней и яркую человѣческую жизнь...

„И сердце радостью забьется не для меня, не для меня...“, донесся съ парохода послѣдній звукъ.

Василій Михайловичъ не сразу понялъ, сонъ это или дѣйствительность, — такъ все это было необыкновенно—и долго провожалъ глазами все уходившую въ голубую дымку звѣздную мачту, но у него похолодѣло въ сердцѣ и онъ весь сжался и замеръ. Онъ не замѣтилъ, какъ двѣ руки обвились вокругъ шеи и кто-то

тихо сползъ на полъ къ его ногамъ и съ плачемъ шепталъ:

— Я не хочу умирать... Я жить хочу! Вася, милый мой, любимый, я жить хочу...—Худенькое тѣло въ судорожныхъ рыданіяхъ билось на колѣняхъ его и тонкіе пальцы впились въ рукавъ его пальто, а напряженный, глухой голосъ повторялъ:

— Жить, жить, жить...

Онъ цѣловалъ руки жены, цѣловалъ мокрые отъ слезъ глаза; она замирала, тихо вздрагивая, и лучистые, блестѣвшіе слезами глаза смотрѣли кротко и печально, а надорванный голосъ тихо и жалобно повторялъ:

— Мнѣ отдохнуть бы немного. Забыть... Забыть...

Звѣзды свѣтились неясныя, блѣдныя, сладко пахли яблоня и черемуха, тихія сказки шептала рѣка, а тотъ ближній соловей пѣлъ такъ робко, такъ неувѣренно.

Конецъ.

Въ товариществѣ „ЗНАНІЕ“ поступили въ продажу:

ШЕЛЛИ.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ ВЪ ПЕРЕВОДѢ К. Д. БАЛЬМОНТА

Новое трехтомное переработанное изданіе.

Вышелъ ТОМЪ ПЕРВЫЙ. *Содержаніе.*

1. Лирика: 186 стихотвореній.
2. Царица Мабъ. Поэма.
3. Примѣчанія Шелли къ «Царицѣ Мабъ».
4. Демонъ міра. Поэма.
5. Аласторъ. Поэма.

Геліогравюра Дюжардена, изображающая Шелли.

Пояснительныя примѣчанія К. Д. Бальмонта.

Цѣна 2 р.

Вышелъ ТОМЪ ВТОРОЙ. *Содержаніе:*

1. Возмущеніе Ислама (Лаонъ и Цитна). Поэма.
2. Царевичъ Атаназъ. Отрывокъ.
3. Строки, написанныя среди Евганейскихъ холмовъ.
4. Розалинда и Елена. Современная эклога.
5. Юліанъ и Маддало. Бесѣда.
6. Освобожденный Прометей. Лирическая драма.
7. Ченчи. Трагедія.

Пояснительныя примѣчанія К. Д. Бальмонта.

Цѣна 2 р.

Печатается ТОМЪ ТРЕТІЙ. *Содержаніе:*

1. Маскарадъ анархіи. Поэма.
2. Письмо къ Маріи Джисборнъ. Въ стихахъ.
3. Волшебница Атласа. Поэма.
4. Эпипсихидіонъ. Поэма.
5. Адонаисъ. Элегія.
6. Эллада. Лирическая драма.
7. Отрывки неоконченной драмы.
8. Карлъ Первый. Драматическіе отрывки.
9. Торжество жизни. Поэма.
10. Повѣствовательные отрывки.
11. Статьи.

Пояснительныя примѣчанія К. Д. Бальмонта.

Очеркъ жизни Шелли.

Выписывающіе изъ склада товарищества «ЗНАНІЕ» за пересылку не платятъ. Просятъ обращаться исключительно по адресу: Контора т-ва «ЗНАНІЕ». Спб., Невскій, 92.

Дозвол. ценз. Спб., 27 августа 1903 г. Типографія Н. Н. Клобукова. Лиговская ул., 31.

Въ товариществѣ „ЗНАНІЕ" поступили въ продажу:

1. Эсхилъ. **СКОВАННЫЙ ПРОМЕТЕЙ** . . . . . — р. 30 к.
2. Софоклъ. **ЭДИПЪ-ЦАРЬ** . . . . . — » 40 »
3. Софоклъ. **ЭДИПЪ ВЪ КОЛОНѢ** . . . . . — » 40 »
4. Софоклъ. **АНТИГОНА** . . . . . — » 40 »
5. Эврипидъ. **МЕДЕЯ** . . . . . — » 40 »
6. Эврипидъ. **ИППОЛИТЪ** . . . . . — » 40 »

Примѣчаніе: Всѣ шесть трагедій переведены съ греческаго Д. С. Мережковскимъ. Въ стихахъ. При каждой—портретъ автора.

7. Платонъ. **ПИРЪ** . . . . . — » 60 »

Философская поэма. *Иллюстраціи:* снимки съ бюстовъ Платона, Сократа, Аристофана, Алкивіада; картины пира по древне-греческимъ вазамъ; снимки со статуй и рельефовъ; снимокъ съ картины „Пиръ" Фейербаха.

8. Байронъ. **МАНФРЕДЪ** . . . . . — » 40 »
9. Шелли. **ОСВОБОЖДЕННЫЙ ПРОМЕТЕЙ** . . . . . — » 50 »
10. Шелли. **ЧЕНЧИ** . . . . . — » 50 »
11. Лонгфелло. **ПѢСНЬ О ГАЙАВАТѢ** . . . . . 2 » — »

Переводъ И. А. Бунина. Въ стихахъ. *Роскошно-иллюстрированное* изданіе: около **400** рисунковъ въ текстѣ; портретъ Лонгфелло и **22** большихъ рисунка на отдѣльныхъ таблицахъ.

12. Лонгфелло. **ПѢСНЬ О ГАЙАВАТѢ** . . . . . — » 80 »

Дешёвое изданіе: тотъ-же переводъ, тѣ-же **400** рис. въ текстѣ, **22** таблицы и портретъ Лонгфелло; только бумага и форматъ другіе.

13. Красинскій. **ИРИДІОНЪ** . . . . . — » 60 »
14. Бьёрнсонъ. **ПЕРЧАТКА** . . . . . — » 40 »
15. Гауптманъ. **РОЗА БЕРНДЪ** . . . . . — » 50 »
16. Золя. **УГЛЕКОПЫ** . . . . . 1 » — »

Выписывающіе изъ склада товарищества «ЗНАНІЕ» за пересылку не платятъ. Просятъ обращаться исключительно по адресу: Контора т-ва «ЗНАНІЕ». Спб., Невскій, 92.

Stanford University Libraries
3 6105 124 449 989

PG
3460
E47A15
v. 1

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

JUL 2 4 1975